UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA

BOOK CARD

Please keep this card in book pocket

PARTIAL TITLE

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3350
.S86

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.

Б III 4181.
PG3350
.586

Пушкинъ

Pushkin

БИБЛІОТЕКА

В. Я. СТОЮНИНА

3482

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТР.

I. Что дала природа 1

II. Что дало дѣтство 8

Домашнее воспитаніе. Дѣтскія впечатлѣнія.

III. Что дала школьная жизнь 13

Царскосельскій Лицей. Привѣтствіе Куницына. Литературное направленіе. Царскосельскіе сады. Маяновскій. Галичъ и лицейскія пиршества. Воспитаніе фантазіи Пушкина. Литературныя вліянія. Сатирическіе опыты. Энгельгардтъ и его отношеніе къ Пушкину (46). Первая любовь. Отношеніе къ товарищамъ. Мысль о военной службѣ. Идеалъ поэта. Вліяніе профессоровъ. Юношескій скептицизмъ. Выпускъ изъ лицея.

IV. Что дало общество 70

Столичная жизнь. Чаянія молодого поколѣнія. Правительственный классъ. Родная семья. Отношеніе къ отечеству. Связь съ либеральными кружками и съ арзамасскимъ обществомъ. Вліяніе Жуковскаго. Общества Катенина, Оленина, Чаадаева. Отношеніе къ Карамзину. Рукописная литература. Экспромты Пушкина. Идеальный образъ поэта. Русланъ и Людмила (97). Отношеніе правительства къ Пушкину.

стр.

V. На югѣ 105

Счастливыя случайности. Генералы Инзовъ и Раевскій, Кавказъ и Крымъ. Знакомство съ поэзіей Байрона. Кишиневъ. Дуэли и любовныя увлеченія. Работа поэтической фантазіи. Томительное душевное состояніе. Стихотворенія «Война» (122). «Я пережилъ свои желанья» (123). Самообразованіе. Село Каменка. Идеальный Вадимъ. Байронизмъ. Бессарабская степь. Овидій (136). Наполеонъ (138). Патріотизмъ поэта. Взглядъ на новую русскую исторію. Кавказскій плѣнникъ (148). Личность поэта. Бахчисарайскій фонтанъ (152). Демонъ (155). Русскій скептицизмъ. Цыганы (158). Образъ Алеко и призракъ свободы. Эпилоги къ поэмамъ. Историческая почва. Критическіе отзывы. Романтизмъ. Вопросъ о народности. Князь Вяземскій. Одесская жизнь. Графъ Воронцовъ. Нравственное состояніе Пушкина. Чиновникъ и поэтъ. Столкновеніе съ властью. Доносъ Скобелева. Перемѣна мѣстожительства.

VI Въ себѣ Михайловскомъ 207

Отношеніе къ семьѣ. Полицейскій надзоръ. Стихотв. «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» (214). Самостоятельный взглядъ на поэзію. Отношеніе къ цензурѣ. Чтеніе и поэтическіе образы Борисъ Годуновъ (236). Личность поэта. Производительность фантазіи. Село Тригорское. Пущинъ. Кернъ. Чувство неволи. Планъ бѣгства. Неудача. 14 декабря 1825 г. Хлопоты объ освобожденіи. Образъ пророка (278). Пушкинъ свободенъ.

VII. Скитальческая жизнь 280

Царь и поэтъ. Шефъ жандармовъ. Записка о русскомъ воспитаніи (289). Защита литературной собственности. Идеалъ царя. Стихотвор. «Ангелъ» (296). Столичное общество. Стихотвореніе «Поэтъ» (300). Сцена «Фаустъ и Мефистофель» (301). Стихотв. «Предчувствіе» (307). Случай съ стихотвор. «Андрей

СТР.

Шенье». Стихотвореніе «Воспоминаніе» (308) и «Даръ напрасный (309). Митрополитъ Филаретъ. Личное нравственное совершенствованіе поэта. Отношеніе къ предкамъ. Связь поэзіи Пушкина съ собственными потребностями. Работа фантазіи надъ образомъ Петра Великаго. «Полтава» (315). Путешествіе на Кавказъ. Пребываніе въ русскомъ войскѣ въ Арменіи. Полицейскія безпокойства. Стихотвор. Калмычкѣ, Кавказъ, Монастырь на Казбекѣ, Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ, «Брожу ли я» (322). Образъ Тазита и Евгенія Онѣгина (324). Русская журналистка. Литературная газета Смерть Дельвига. Стихотвор. «Поэтъ, не дорожи любовію народной» (334). Стихотв. «Отвѣтъ анониму» (336). Тягость полицейскаго надзора. Сватовство. Производительность фантазіи въ Болдинѣ.

VIII. Женатая жизнь 347

Хлопоты объ изданіи газеты и о званіи исторіографа Польское возстаніе. Стихотвор. «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина» (352). Гражданскія убѣжденія поэта. Статья о Радищевѣ. Стихотвор. «Анчаръ» (360). Положеніе поэта къ великосвѣтскомъ обществѣ. Пушкинъ — камеръ-юнкеръ. Необезпеченная жизнь. Заботы о деньгахъ. Записки о Пугачевѣ. «Мѣдный всадникъ» (374). Архивныя занятія. Мысль объ отставкѣ. Долги. Стихотв. «Пиръ Петра Перваго» (386). Изданіе Современника. Отношеніе къ Бѣлинскому. Стихотв. «На выздоровленіе Лукулла» (398). Нервное напряженіе. Свѣтскія сплетни. Дантесъ и Геккеренъ. Дуэль. Болѣзнь и смерть.

I.

Что дала природа.

Пятое десятилѣтіе идетъ со смерти поэта Пушкина. Уже слѣдующее за нимъ поколѣніе почти сходитъ со сцены. Оно прилежно занималось изученіемъ его поэтическихъ произведеній, сдѣлало имъ теоретическую оцѣнку, даже съ нѣкоторой борьбой ввело ихъ въ школы, какъ средство для эстетическаго и нравственнаго развитія своихъ дѣтей, усердно собирало матеріалы для его біографіи; но оно сдѣлало еще далеко не все, что́ нужно бы было сдѣлать: у насъ нѣтъ полной біографіи Пушкина, не сдѣлано и полной исторической оцѣнки его дѣятельности: она не изучена какъ фактъ, въ связи съ предыдущими и послѣдующими фактами. Болѣе всѣхъ потрудился г. Анненковъ: его книги „Матеріалы для біографіи и оцѣнки произведеній Пушкина“ и „Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ Александровскую эпоху“ составляютъ капитальные труды; но тѣмъ не менѣе наша литература все же остается безъ біографіи Пушкина, а исторія лите-

ратуры безъ надлежащей исторической его оцѣнки, хотя въ наши учебники исторіи и вносится статья о Пушкинѣ. Г. Бартеневъ также много потрудился въ память Пушкина обильнымъ собраніемъ матеріаловъ для его біографіи, и если не поспѣетъ исполнить своего обѣщанія — составить полное жизнеописаніе поэта, то значительно облегчитъ трудъ будущаго біографа. Въ послѣднее время П. А. Ефремовъ своими библіографическими работами, при новомъ изданіи сочиненій Пушкина, оказалъ исторіи русской литературы большую услугу. Въ настоящей книгѣ и я не берусь представить полную біографію поэта, а хочу сдѣлать только историческую характеристику времени Пушкина въ связи съ его литературной дѣятельностью, представить эту геніальную личность такъ, какъ она создается въ воображеніи отъ изученія извѣстныхъ фактовъ его жизни.

Прежде всего въ Пушкинѣ мы видимъ натуру артистическую. Ея типическія черты въ немъ выразились особенно полно. Отличительное свойство этой натуры есть преобладающее, врожденное стремленіе къ изящному; въ ней всѣ впечатлѣнія отъ жизни перерабатываются въ художественные образы; всѣ идеи, надъ которыми работаетъ умъ, переходятъ въ чувство и вызываютъ творческую дѣятельность фантазіи.

Сильная впечатлительность есть какъ бы основаніе артистической натуры; отсюда способность быстро поддаваться чувствамъ, всѣмъ увлекаться до страсти, переходить отъ увлеченія къ новому увле-

ченію, съ которыми въ то же время могутъ уживаться и сильныя, глубокія чувства. Артистическая натура иногда кажется легкомысленною оттого, что одни впечатлѣнія легко уступаютъ мѣсто другимъ, которыя быстро овладѣваютъ душою и дѣлаются въ ней какъ бы господствующими, но не надолго: имъ снова готова и смѣна. Но они не забываются, время отъ времени снова возникаютъ и въ чувствѣ, и въ фантазіи и преобразуются, какъ бы очищенныя, въ поэтическій образъ. Эта смѣна не мѣшаетъ преслѣдовать и одинъ и тотъ же образъ, одну и ту же идею, которые могутъ быть главнымъ содержаніемъ духовной жизни. Петрарка вѣчно мечталъ о своей Лаурѣ, но это не мѣшало ему увлекаться и другими женщинами. Данте молился на свою Беатриче, хотя не закрывалъ глазъ и передъ другими красавицами.

Артистическая натура любитъ жизнь не въ отвлеченной мысли, не въ теоріи, а въ чувствахъ, въ реальномъ представленіи. Жить по теоріи она не можетъ; впечатлѣнія безпрестанно увлекаютъ ее за тѣ предѣлы, которые другими называются предѣлами благоразумія; она отдается вполнѣ жизни, въ какомъ бы видѣ та ни представлялась. О ней можно сказать то же, что̀ Пушкинъ сказалъ о нѣкоторыхъ минутахъ жизни поэта:

Изъ всѣхъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Артистическая натура легко впадаетъ въ крайности, за которыя часто приходится платиться стра-

даніями и несчастіями. Но грязь жизни не пристаетъ къ ней, хотя минутами эта жизнь и можетъ казаться неприглядною. Ее спасаютъ тѣ художественные образы, которые вырабатываются въ глубинѣ души и которые вызываютъ ее къ другимъ и высшимъ стремленіямъ. Обстоятельства жизни направляютъ артистическую натуру или къ постоянной мечтательности, или къ раздраженію. или къ восторгамъ; горе и радость представляются ей въ преувеличенномъ видѣ: довольно пустого обстоятельства, чтобъ она воспламенилась гнѣвомъ, довольно и простого дружескаго участія, чтобы она утѣшилась.

Наблюдательность, замѣтная въ произведеніяхъ ея фантазіи, мало приноситъ ей пользы въ практической жизни. Артистическую натуру обыкновенно упрекаютъ въ непрактичности и въ неразсчетливости. Она рѣдко успѣваетъ въ практическихъ предпріятіяхъ, хотя нерѣдко увлекается ими; ея блестящіе разсчеты въ началѣ дѣла потомъ оказываются невѣрными.

Эти типическія черты въ иныхъ натурахъ усиливаются, въ иныхъ ослабляются уже по вліянію другихъ, особенныхъ свойствъ, которыя найдутся въ каждой личности.

Что касается Пушкина, то, кромѣ того, мы должны его назвать еще натурой геніальной. У нея есть также свои типическія черты, и въ этомъ случаѣ между всѣми геніальными личностями есть высшее духовное родство. До Пушкина русская исторія представляетъ намъ двухъ несомнѣнно геніальныхъ

людей—Петра Великаго и Ломоносова. Поставимъ рядомъ съ ними Пушкина, и онъ ничего не проиграетъ отъ сравненія. Во всѣхъ нихъ мы замѣчаемъ не только необыкновенныя природныя силы души, какъ быстрый, все охватывающій умъ, страстность, но и особенную способность направлять всѣ эти силы на то дѣло, которое намѣчено какъ задача жизни. Геній не можетъ довольствоваться тѣснымъ кругомъ дѣятельности: къ ней его вызываютъ потребности всего народа, которыя, можетъ быть, большинствомъ и не сознаны, но угаданы даровитѣйшей натурой изъ его среды. Геній видитъ не только то, что́ есть въ жизни и чѣмъ другіе должны довольствоваться; онъ хочетъ видѣть и то, чего въ ней пока нѣтъ, но что̀ должно быть, для того чтобы дать ей новыя жизненныя силы и двинуть ее впередъ. Онъ проникается новымъ идеаломъ и всегда такимъ, который создается изъ впечатлѣній дѣйствительной жизни и является какъ отзывъ на истинную ея потребность. Полная увѣренность въ его жизненности въ страстной натурѣ генія обращается въ такую силу, которая обыкновенно удивляетъ всѣхъ. Она проявляется и въ борьбѣ противъ препятствій, и въ собственныхъ созданіяхъ, и даже въ неудачахъ. Геній упоренъ въ своихъ идеяхъ и замыслахъ, и въ то же время гордъ въ сознаніи своего призванія. Но онъ же считаетъ себя и слугою народа, только изъ личностей не создаетъ себѣ кумировъ.

Всѣхъ этихъ чертъ никто не будетъ отрицать ни въ Петрѣ Великомъ, ни въ Ломоносовѣ. Ихъ мы

находимъ и въ Пушкинѣ. Его геніальная натура сдѣлала рѣзче всѣ тѣ черты, которыя составляютъ натуру артистическую. Память его необыкновенная, остроуміе—изумительное, сила творчества—неизмѣримая; его обширный умъ освѣщалъ ему цѣль и значеніе искусства, которому онъ отдавался какъ истинный артистъ. Поэзія была исключительной сферой его дѣятельности; но съ нею онъ связалъ высшія задачи жизни. Въ поэзіи онъ нашелъ одну изъ общественныхъ силъ которая должна пробуждать лучшія чувства въ народѣ, слѣдовательно и нравственно образовывать и вызывать возвышенныя стремленія духа. Онъ угадывалъ, что черезъ поэзію можно проводить въ разрозненные классы народа сознаніе единства, въ которомъ и заключается нравственная народная сила. Его страстность давала ему силы и въ трудахъ, и въ борьбѣ, выпавшей ему на долю. Онъ ясно сознавалъ свое высокое призваніе, и честно относился къ нему, и гордо смотрѣлъ на враговъ своего дѣла. Благодаря силѣ своего духа, онъ во всемъ оригиналенъ, и въ трудахъ, и въ мысляхъ, и въ обыкновенной жизни, и въ юношескихъ шалостяхъ, и въ любви, и въ гнѣвѣ, и даже какъ жертва чужой силы. Его многіе не любили, многіе осуждали, многіе боялись, но всѣ уважали эту самостоятельную и открытую личность.

Въ геніальной артистической натурѣ Пушкина была еще одна исключительная особенность, которую онъ самъ считалъ зломъ для себя и за которую ему приходилось дорого платиться, это—не-

счастное наслѣдство, доставшееся ему отъ его прадѣда по матери, арабская кровь, которая превратила въ вулканъ пылкій темпераментъ геніальной натуры. Она кипѣла, бурлила и клокотала, особенно когда ему казалось, что затрогивалась его честь. Обыкновенно благоразумный въ спокойныя минуты, все представляющій себѣ ясно въ минуты творчества, онъ терялъ разсудокъ въ приливѣ страсти: она переходила у него въ бѣшеные порывы, и онъ дѣлалъ безразсудства, если кто-нибудь изъ друзей не успѣвалъ охладить его рѣзкими словами и даже бранью. Поэтъ сознавалъ въ себѣ этотъ недостатокъ, но никогда не могъ съ нимъ справиться. Въ эти минуты борьба съ собою безъ чужой помощи для него была невозможна. Арабская кровь нарушала миръ его души, раздвояла его, ставила въ противорѣчія съ самимъ собою. Она составила его судьбу. Подобно трагическому герою, онъ боролся съ нею и наконецъ палъ ея жертвою. Къ нему можно примѣнить его собственныя слова о геніи: „Геній имѣетъ свои слабости, которыя утѣшаютъ посредственность, но печалятъ благородныя сердца, напоминая имъ о несовершенствѣ человѣчества; независимость и самоуваженіе одни могутъ насъ возвысить надъ мелочами жизни и надъ бурями судьбы“.

Такая-то вулканическая натура была поставлена среди народа въ тотъ историческій моментъ государственной его жизни, когда его можно было сравнить съ крыловскимъ возомъ, въ который впряжены лебедь, ракъ и щука. Въ виду всего этого

развитіе, жизнь и труды нашего поэта дѣлаются особенно интересны.

II.

Что дало дѣтство.

Двѣнадцати лѣтъ [1]) Пушкинъ, москвичъ по рожденію, отдѣлился отъ своей семьи и вступилъ въ тѣсный кругъ сверстниковъ, который сдѣлался предметомъ особенныхъ заботъ самого императора и лучшихъ воспитателей. Царскосельскій лицей сталъ славенъ именемъ Пушкина. Какое именно семейное воспитаніе получилъ мальчикъ—этотъ біографическій вопросъ для всякаго другого былъ бы очень важенъ, но въ отношеніи натуры пушкинской—что̀ онъ могъ бы объяснить намъ? Такая натура не поддается никакимъ воспитательнымъ теоріямъ, никакимъ планамъ. Ее воспитываютъ природа и впечатлѣнія отъ окружающей жизни, часто неуловимыя для воспитателя. Можетъ быть, даже и лучше, что родители нашего поэта въ свѣтской праздности и въ разсѣянной жизни не обращали особеннаго вниманія на воспитаніе сына, и еще лучше, что онъ не попалъ въ руки ученаго педагога, который бы вздумалъ воспитывать его по какой-либо односторонней теоріи. У такихъ дѣтей первое проявленіе геніальныхъ силъ нерѣдко

[1]) Родился 26 мая 1799 г., поступилъ въ лицей въ 1811 г.

принимаютъ за вредные задатки пороковъ и начинаютъ противодѣйствовать имъ и безъ нужды вызываютъ на борьбу. Аристократическая русская семья въ началѣ настоящаго столѣтія стояла на почвѣ космополитизма, которая противопоставлялась почвѣ народной или мужицкой. Другого значенія не имѣло слово народный. Если космополитизмъ съ одной стороны отрывалъ русскихъ людей отъ народной почвы и обезличивалъ ихъ, то съ другой стороны онъ приносилъ большую пользу, какъ извѣстный моментъ нашего историческаго развитія: онъ воспитывалъ въ духѣ европейскаго просвѣщенія, онъ былъ связью Россіи съ Европою, онъ способствовалъ выясненію общечеловѣческихъ стремленій, которыя спасаютъ народы отъ гибельнаго застоя и даютъ имъ историческое значеніе. Какъ ни пуста была жизнь русскаго аристократическаго круга, проходившая въ мотовствѣ на манеръ французско-придворной, но въ ней ходили прогрессивныя идеи, въ ней таились живыя сѣмена, которыя разносились на иную, народную почву и тамъ стали давать не пустоцвѣты. Пушкинъ въ своей семьѣ былъ воспитанъ космополитомъ среди французскихъ гувернеровъ и гувернантокъ, которые, впрочемъ, едва справлялись съ его пламенной и неподатливой натурой. Соображая всѣ условія этой московско-космополитической среды, мы должны сказать, что въ нихъ было много случайно-благопріятнаго для развитія нашего поэта. Хотя роднымъ его языкомъ въ дѣтскіе годы былъ скорѣе языкъ французскій, но онъ имѣлъ случаи

усвоить себѣ и русскій изъ самыхъ чистыхъ источниковъ, какъ простыя бесѣды любимой его бабушки и народные разсказы его простодушной няни: инстинктъ отечественнаго языка не былъ въ немъ подавленъ тѣмъ воспитаніемъ, которое въ другихъ семействахъ совсѣмъ уничтожало эту главную связь ребенка съ своимъ народомъ. Другое обстоятельство, обыкновенно не одобряемое теоріей правильнаго воспитанія, послужило также на пользу нашему поэту: преждевременное чтеніе такихъ книгъ, которыя пишутся вовсе не для дѣтей, вызываетъ безъ нужды раннее духовное развитіе, ослабляетъ обыкновенныя умственныя силы вмѣстѣ съ физическими, смѣшиваетъ понятія при недостаткѣ ясныхъ представленій и производитъ хилые организмы; въ Пушкинѣ же оно только разбудило его сильный природный умъ, и нисколько не ослабило физическихъ его силъ. Свободный доступъ мальчика къ богатой отцовской библіотекѣ [1]),

[1]) Отецъ его, Сергѣй Львовичъ, по словамъ его внука Павлищева, получилъ современное французское образованіе, предавался главнымъ образомъ изученію французской литературы, писалъ французскіе стихи, даже повѣсти въ стихахъ, былъ искусный актеръ-любитель, каламбуристъ и вообще свѣтскій человѣкъ. (См. Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива). По словамъ барона Корфа, лицейскаго товарища Пушкина, Сергѣй Львовичъ въ существѣ былъ человѣкомъ самымъ пустымъ, безполезнымъ, безтолковымъ и особенно безмолвнымъ рабомъ своей жены. Она была женщина не глупая, но эксцентрическая, вспыльчивая, до крайности разсѣянная и особенно дурная хозяйка. Домъ ихъ представлялъ всегда какой-то хаосъ и вѣчный недостатокъ во всемъ, начиная отъ денегъ и до послѣдняго стакана.

наполненной преимущественно произведеніями французскихъ писателей XVII—XVIII столѣтій, вызвалъ къ дѣятельности творческую его фантазію, которая и стала выражаться во французскихъ стихахъ и въ дѣтскихъ сценическихъ представленіяхъ. Правда, всѣ эти раннія дѣтскія попытки къ творчеству тотчасъ же были и осмѣяны окружающими лицами, что̀ очень огорчало ребенка-поэта, но не подавляло вызванныхъ въ немъ стремленій: къ такимъ огорченіямъ нужно было привыкнуть для будущаго времени. Послужило развитію духовныхъ силъ мальчика и частое присутствіе его среди взрослыхъ — гостей его отца Сергѣя Львовича, присутствіе, которое для большинства обыкновенныхъ дѣтей не всегда бываетъ полезно. Но въ кругу гостей бывали такіе писатели, какъ Карамзинъ, Дмитріевъ, Жуковскій, которые, конечно, говорили о литературѣ, читали стихотворенія, критиковали, сыпали эпиграммами, на что̀ тогда была большая мода, не скупились на острыя слова, чѣмъ любилъ щеголять самъ Сергѣй Львовичъ, а еще болѣе братъ его, Василій Львовичъ. Такимъ образомъ мысль будущаго русскаго поэта съ дѣтскихъ поръ связывалась съ литературою, съ свободною критикою, съ острымъ, насмѣшливымъ словомъ. Здѣсь-то сильно развились его остроуміе и насмѣшливость, которыхъ потомъ боялись многіе изъ его товарищей.

Въ эти же годы Пушкинъ слышалъ семейныя преданія и разсказы о своихъ предкахъ, о древности своего рода, о новыхъ фамиліяхъ, оттѣснив-

шихъ старыя, что̀ выводило его на живую историческую почву и впослѣдствіи обращалось въ матеріалы для его фантазіи. Это было связью, соединявшею его съ историческимъ прошлымъ и удержавшею его фантазію отъ безпочвенной мечтательности, къ которой были склонны тогдашніе молодые поэты подъ вліяніемъ романтизма и мистическаго настроенія.

Въ лѣта дѣтства Пушкинъ принялъ и первыя впечатлѣнія отъ деревенской жизни, близъ Москвы, въ двухъ верстахъ отъ села Вязема, принадлежавшаго Борису Годунову. По свидѣтельству г. Анненкова, тамъ и теперь пересказываютъ преданія о несчастномъ царѣ, указываютъ на вырытые имъ пруды, на построенную имъ колокольню. Такимъ образомъ, еще въ дѣтствѣ воображеніе Пушкина представляло себѣ этого царя, надъ которымъ впослѣдствіи поработала его фантазія.

Но странно то, что воспоминаній о своемъ дѣтствѣ Пушкинъ очень мало оставилъ въ своей поэзіи, несмотря на то, что онъ любилъ воскрешать прошлое [1]): дѣтскія впечатлѣнія, какъ мы видѣли, пробуждали и направляли духовныя его силы, но надъ ними взяли верхъ впечатлѣнія слѣдующей

---

[1]) Наиболѣе подробное воспоминаніе находимъ въ одномъ лицейскомъ стихотвореніи 1816 года.

Мнѣ видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
Съ заборами, въ рѣкѣ волнистой
Съ мостомъ и рощею тѣнистой
Зерцаломъ водъ отражено и проч.

поры, первой юности, жизни лицейской. Эта жизнь такъ сильно врѣзалась въ памяти поэта и оставила столько впечатлѣній, которыми потомъ занималась его творческая фантазія, что на ней нельзя не остановиться подольше.

III.

Что дала школьная жизнь.

Поводомъ къ открытію лицея въ царскосельскомъ дворцѣ, въ той его части, которую занимали малолѣтніе великіе князья Николай и Михаилъ Павловичи, была мысль императора Александра — воспитать своихъ братьевъ общественно, т.-е. въ кругу молодыхъ людей, ихъ сверстниковъ. Но эту мысль императоръ держалъ про себя, а публично было выражено намѣреніе „образовать юношество, особенно предназначенное къ важнымъ частямъ службы государственной и составляемое изъ отличнѣйшихъ воспитанниковъ знатныхъ фамилій“. Это намѣреніе оправдывается только первоначальной мыслью государя, которая, впрочемъ, не исполнилась [1]): великіе князья не по-

[1]) По словамъ императора Николая Павловича, этому помѣшалъ разрывъ съ Наполеономъ; но намъ остается неяснымъ, какая связь могла тутъ быть съ Наполеономъ, тѣмъ болѣе, что лицей былъ открытъ въ 1811 г., а полный разрывъ съ Наполеономъ произошелъ черезъ годъ (см. Историч. очеркъ лицея 1861 г.).

ступили въ число лицеистовъ. Но намѣреніе само по себѣ должно показаться страннымъ: какъ будто можно воспитывать государственныхъ людей съ самаго дѣтства. Оно пошло въ разладъ съ дѣйствительностью при самомъ началѣ: въ числѣ воспитанниковъ оказалось очень много далеко не изъ знатныхъ фамилій; курсъ ученія, ограниченный шестью годами, не могъ быть поставленъ на ту высоту, которая бы согласовалась съ важными частями службы: онъ сталъ ниже университетскаго. Такая исключительность должна была вредно повліять на духъ воспитанниковъ: въ нихъ развивалось крайнее самомнѣніе; они невольно стали смотрѣть на себя, какъ на людей особенныхъ, выдѣленныхъ и возвышенныхъ изъ общаго круга, предназначенныхъ для высшей службы: отсюда должна была развиться излишняя самоувѣренность, непріятная заносчивость въ обращеніи со всѣми другими, не принадлежащими къ той же корпораціи. Въ этомъ впослѣдствіи дѣйствительно упрекали большинство лицеистовъ, которые на самомъ дѣлѣ, какъ чиновники, оказывались ничѣмъ не лучше другихъ, получившихъ высшее образованіе. Этого упрека нельзя устранить даже отъ Пушкина, по крайней мѣрѣ въ первые годы послѣ выпуска изъ лицея, хотя мысль о чиновничьей карьерѣ никогда не занимала его.

Лицей скорѣе можно было сравнить съ московскимъ университетскимъ благороднымъ пансіономъ, существовавшимъ съ 1783 года съ цѣлью доставлять дворянскимъ дѣтямъ пристойное и надежное

воспитаніе, и между прочимъ „доставлять тѣлу возможную крѣпость, толь нужную къ должному отправленію съ успѣхомъ государственной службы“, или, иначе, образовать хорошихъ чиновниковъ. И онъ съ успѣхомъ дѣлалъ свое дѣло почти тридцать лѣтъ; онъ уже могъ гордиться именами поэта Жуковскаго, Ал. Тургенева и др., какъ впослѣдствіи царскосельскій лицей сталъ гордиться именемъ Пушкина. Одинакій ихъ типъ былъ скоро признанъ и оффиціально, когда благородному пансіону въ 1818 году даны права царскосельскаго лицея. Но несмотря на это, по духу своихъ воспитанниковъ они всегда рѣзко различались.

Въ числѣ тридцати мальчиковъ, поступившихъ въ лицей при его основаніи, кто изъ казенныхъ и частныхъ учебныхъ заведеній, кто съ домашнимъ воспитаніемъ, Пушкинъ рѣзко отличался отъ всѣхъ какъ своей наружностью, такъ и нравомъ. Черноволосый, кудрявый, съ быстрымъ взглядомъ, съ полу-арабскимъ типомъ, рѣзвый, вспыльчивый, даже съ порывами бѣшенства, неуступчивый и задорный, насмѣшливый, съ ѣдкимъ, остроумнымъ словомъ, онъ въ то же время обратилъ на себя вниманіе товарищей своею начитанностью, большимъ запасомъ разныхъ отрывочныхъ знаній, которыя хранила его необыкновенная память изъ прочитанныхъ книгъ, умѣньемъ бойко объясняться по-французски и понимать французскія книги [1]).

[1]) Вѣроятно оно и послужило поводомъ къ школьному прозвищу поэта французъ.

Это превосходство надъ товарищами выказалось само собою безъ всякаго намѣренія Пушкина, который добивался больше превосходства въ дѣтскихъ играхъ и шалостяхъ, чѣмъ въ познаніяхъ. Ко всему этому скоро узнали, что этотъ же мальчикъ знакомъ съ знаменитыми писателями, Карамзинымъ, Дмитріевымъ, Жуковскимъ, и даже самъ пишетъ стихи. Это обстоятельство должно было еще болѣе возвысить маленькаго шалуна и привлечь къ нему особенно тѣхъ, которые наиболѣе любили стихи и пробовали въ ихъ сочиненіи свои собственныя силы. Они сблизились съ нимъ и замѣтили, что за его задорностью, насмѣшливостью и вспыльчивостью скрывается доброе и нѣжное сердце, которое только не сразу и не всѣмъ раскрывается. Въ числѣ ихъ былъ тринадцатилѣтній Илличевскій, поступившій въ лицей изъ петербургской гимназіи, гдѣ въ немъ развилась любовь къ стихотворству. Онъ переписывался съ своимъ бывшимъ товарищемъ, гимназистомъ Фусомъ (впослѣдствіи секретаремъ академіи наукъ); въ этихъ письмахъ [1]) мы находимъ очень интересныя строки о Пушкинѣ и о лицейской жизни въ первые годы. Такъ, черезъ пять мѣсяцевъ послѣ поступленія въ лицей онъ писалъ: „что касается до моихъ стихотворческихъ занятій, я въ нихъ успѣлъ чрезвычайно, имѣя товарищемъ одного молодого человѣка, который, живши между лучшими стихотворцами, пріобрѣлъ много въ поэзіи знаній и вкуса, и, читая

[1]) «Русск. Архивъ» 1864, № 10.

мои прежніе стихи, вижу въ нихъ непростительныя ошибки. Хотя у насъ, правду сказать, запрещено сочинять, но мы съ нимъ пишемъ украдкою".

Трудно сказать, изъ какихъ педагогическихъ соображеній былъ сдѣланъ этотъ запретъ, но впрочемъ не надолго. Въ другомъ письмѣ, черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, Илличевскій съ удовольствіемъ сообщаетъ своему пріятелю: „скажу тебѣ новость: намъ позволили теперь сочинять, и мы начали періоды, вслѣдствіе чего посылаю тебѣ двѣ мои басни и желаю, чтобы онѣ тебѣ понравились". Скоро затѣмъ число лицейскихъ стихотворцевъ увеличилось Дельвигомъ, Кюхельбекеромъ, которые также пользовались совѣтами Пушкина. Такимъ образомъ авторитетъ его въ стихотворствѣ былъ признанъ товарищами въ первый же годъ лицейской жизни. Черезъ того же Илличевскаго мы узнаемъ, какъ сложилась эта жизнь при самомъ началѣ. „Что же касается до нашего лицея, пишетъ онъ, увѣряю тебя, нельзя быть лучше: учимся въ день только семь часовъ и то съ перемѣнами, которыя по часу продолжаются; на мѣстахъ никогда не сидимъ; кто хочетъ — учится, кто хочетъ—гуляетъ; уроки, сказать правду, не весьма велики; въ праздное время гуляемъ, а нынче же начинается лѣто: снѣгъ высохъ, трава показывается, и мы съ утра до вечера въ саду, который лучше всѣхъ лѣтнихъ петербургскихъ. Ведя себя скромно, учась прилежно, нечего бояться. Притомъ родители насъ посѣщаютъ

довольно часто, а чѣмъ рѣже свиданіе, тѣмъ оно пріятнѣе“ [1]).

Въ просьбѣ Сергѣя Львовича о принятіи его сына въ лицей обозначено, что мальчикъ „пріобрѣлъ первыя свѣдѣнія въ грамматическихъ познаніяхъ россійскаго и французскаго языковъ, ариѳметики, географіи, исторіи и рисованіи“ [2]). Черезъ годъ учителя аттестовали его такъ [3]), какъ часто аттестуются ученики, которымъ блестящія способности мѣшаютъ быть прилежными: изъ-за небрежнаго отношенія ихъ къ научнымъ занятіямъ въ нихъ часто не замѣчаютъ даже настоящихъ ихъ способностей. Такъ преподаватель латинскаго и русскаго языка Кошанскій, тогда еще молодой педагогъ, не призналъ въ немъ замѣчательной памяти, отмѣтивъ: „больше имѣетъ понятливости, нежели памяти; больше вкуса къ изящному, нежели прилежанія къ основательному, почему малое затрудненіе можетъ остановить его, но не удержать, ибо онъ, побуждаемый соревнованіемъ и чувствомъ собственной

[1]) Въ другомъ письмѣ, писанномъ въ 1815 г., онъ говорилъ: «Наше Царское Село въ лѣтніе дни есть Петербургъ въ миніатюрѣ. И у насъ есть вечернія гулянья, въ саду музыка и пѣсни, иногда театры. Всѣмъ этимъ обязаны мы графу Толстому—богатому и любящему удовольствія человѣку. По знакомству съ хозяиномъ и мы имѣемъ входъ въ его спектакли; ты можешь понять, что это наше первое и единственное удовольствіе...» Прибавимъ къ этому, что театральная труппа Толстого была составлена изъ его крѣпостныхъ людей. Первая актриса Наталья особенно восхищала юношей. Пушкинъ даже посвятилъ ей стихотвореніе.

[2]) Историч. очеркъ лицея. Приложеніе V.

[3]) Тамъ же. Приложеніе VIII.

пользы, желаетъ сравняться съ первыми воспитанниками; успѣхи его въ латинскомъ довольно хороши, въ русскомъ не столько тверды, сколько блистательны". Напротивъ, учитель нѣмецкаго языка, Гауеншельдъ, у котораго Пушкину пришлось начинать съ азбуки, призналъ въ немъ большую память и остроуміе, но не видѣлъ никакихъ успѣховъ въ своемъ предметѣ. Зато Пушкину ничего не стоило вполнѣ удовлетворить французскаго учителя Будри, и безъ всякаго прилежанія явиться въ его глазахъ отличнымъ ученикомъ; но отъ вниманія француза ускользнула живость ума юнаго поэта, которой онъ не находилъ въ немъ, хотя его сужденіе признавалъ здравымъ и успѣхи его считалъ замѣчательными. Въ слѣдующемъ году гувернеры писали объ его нравственныхъ качествахъ: „легкомысленъ, вѣтренъ, неопрятенъ, нерадивъ, впрочемъ, добродушенъ, усерденъ, учтивъ, имѣетъ особенную страсть къ поэзіи (Чириковъ); мало постоянства и твердости въ его нравѣ, словоохотенъ, остроуменъ: примѣтно въ немъ и добродушіе, но вспыльчивъ съ гнѣвомъ, легкомысленъ (Пилецкій)". Затѣмъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ преподаватель исторіи и географіи Кайдановъ записалъ: при маломъ прилежаніи оказываетъ очень хорошіе успѣхи, и сіе должно приписать однимъ только прекраснымъ его дарованіямъ; въ поведеніи рѣзвъ, но менѣе противу прежняго". Только аттестація учителя математики Карцева была, какъ и слѣдовало ожидать, совершенно не въ пользу маленькаго поэта: „слабъ и успѣховъ примѣтныхъ не оказалъ". Какъ ясно

во всей этой характеристикѣ заявляетъ себя еще юная артистическая натура, въ которой уже успѣло пробудиться стремленіе къ изящному, въ которой уже высказывается сочувствіе ко всему, что́ питаетъ воображеніе, и чувствуется какая-то враждебность къ отвлеченной цифрѣ и буквѣ: поэту трудно углубляться въ математическія вычисленія. Съ другой стороны, кажущееся легкомысліе, непостоянство, вѣтренность есть слѣдствіе сильной впечатлительности, благодаря которой юноша безпрестанно переходитъ отъ идеи къ идеѣ, отъ чувства къ чувству. Отсюда быстрыя, неожиданныя сближенія разныхъ впечатлѣній, а съ тѣмъ вмѣстѣ и остроуміе, наконецъ словоохотливость. И добродушіе кроется въ этой натурѣ, значитъ, способность къ братству, къ товариществу. Нельзя не замѣтить въ той же аттестаціи и задатковъ геніальной натуры— въ этихъ успѣхахъ безъ труда, въ этой особенной страсти къ одному предмету, въ этомъ проявленіи сильнаго характера въ соревнованіи съ лучшими изъ чувства собственной пользы. Наконецъ, тутъ же сказывается и африканская кровь въ вспыльчивомъ гнѣвѣ.

По запискамъ нѣкоторыхъ изъ товарищей Пушкина, написаннымъ уже въ зрѣлые ихъ годы, мы можемъ заключить, что классное ученье не было основано на строгихъ педагогическихъ началахъ и велось не лучше, какъ и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, а можетъ быть, въ иныхъ отношеніяхъ и хуже: оно было скороспѣлое, болѣе на память, много познаній, но отрывочныхъ и поверхностныхъ;

отъ непереработаннаго элементарнаго обученія быстро переходилось къ высшему, философскому. Отзывы ихъ о самомъ Куницынѣ не согласуются съ тѣмъ восторженнымъ отношеніемъ къ нему Пушкина, какое высказывалось имъ впослѣдствіи при воспоминаніи о лицеѣ. Куницынъ считался профессоромъ нравственныхъ наукъ, въ кругъ которыхъ входили энциклопедія права, политическая экономія и финансы. Но такъ какъ эти науки предназначались для высшихъ классовъ на два послѣдніе года, то въ первые годы пока поручена ему была логика, которая въ своей схоластической формѣ и твердилась на память. Куницынъ поступилъ въ лицей молодымъ человѣкомъ, только-что вернувшимся изъза границы, гдѣ изучалъ политическія науки. Конечно, либеральное направленіе, которымъ тогда отличалась вся образованная русская молодежь, было усвоено и имъ; но онъ не могъ назваться опытнымъ педагогомъ: онъ готовился быть профессоромъ для зрѣлыхъ юношей, а между тѣмъ ему были въ началѣ поручены еще мальчики; онъ долженъ былъ сдѣлаться элементарнымъ учителемъ. Но, какъ видно, Куницынъ имѣлъ вліяніе на направленіе мысли Пушкина. За нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти поэтъ вспоминалъ о немъ въ стихотвореніи, написанномъ для обычнаго лицейскаго праздника 19 октября:

Вы помните, когда возникъ лицей,
Какъ царь открылъ для насъ чертогъ царицынъ—
И мы пришли, и встрѣтилъ насъ Куницынъ
Привѣтствіемъ межъ царственныхъ гостей.

Мы отчасти знакомы съ этимъ привѣтствіемъ, и должны сказать, что оно не соображено съ возрастомъ тѣхъ мальчиковъ, для которыхъ былъ открытъ царицынъ чертогъ. Оно скорѣе имѣло въ виду обратить на себя вниманіе царственныхъ гостей и особенно либеральнаго императора. Переполненное ссылками на различныхъ иностранныхъ писателей, оно своею реторичностью едва-ли было понятно маленькимъ слушателямъ. Въ основаніе ораторъ взялъ оффиціальную цѣль, предназначенную новому училищу—образовать юношей изъ знатныхъ фамилій для важныхъ частей государственной службы. Здѣсь онъ соединяетъ идеалъ гражданина и воина съ идеаломъ государственнаго человѣка. Показать существо гражданскихъ обязанностей онъ предоставляетъ исторіи. „Но познанія ваши должны быть несравненно обширнѣе, прибавляетъ онъ, ибо вы будете имѣть непосредственное вліяніе на благо цѣлаго общества... Государственный человѣкъ долженъ имѣть обширныя познанія, знать первоначальныя причины благоденствія и упадка государствъ... Успѣхи въ войнѣ приготовляются нынѣ во время мира. Знать государственныя пользы, предвидѣть препятствія къ достиженію оныхъ со стороны сосѣдственныхъ народовъ, исчислить поступки враговъ, открывать ихъ намѣренія, подрывать ихъ тайныя пружины, на дѣйствія которыхъ они наиболѣе полагаются—въ семъ состоитъ истинная тактика, достойная государственнаго человѣка и воина. Соединивъ сіи свѣдѣнія, вы содѣлаетесь способными къ тому и другому роду государственной

службы... Но главнымъ основаніемъ вашихъ познаній должна быть истинная добродѣтель... Жалкимъ образомъ обманется тотъ изъ васъ, кто, опираясь на знаменитость своихъ предковъ, вознерадѣетъ о добродѣтеляхъ, увѣнчавшихъ имена ихъ безсмертіемъ... Среди сихъ пустынныхъ лѣсовъ, внимавшихъ нѣкогда побѣдоносному россійскому оружію, вамъ повѣданы будутъ славныя дѣла героевъ, поражавшихъ враждебные строи. На сихъ зыбкихъ равнинахъ вамъ показаны будутъ яркіе слѣды вашихъ родоначальниковъ, которые стремились на защиту царя и отечества; окруженные примѣрами добродѣтели, вы ли не воспламенитесь къ ней любовью?... Вы ли не устрашитесь быть послѣдними въ вашемъ родѣ? Вы ли захотите смѣшаться съ толпою людей обыкновенныхъ, пресмыкающихся въ неизвѣстности и каждый день поглощаемыхъ волнами забвенія? Нѣтъ, да не развратитъ мысль сія вашего воображенія. Любовь къ славѣ и отечеству должна быть вашимъ руководителемъ!..“

Поняли ли эту рѣчь маленькіе воспитанники, мы не знаемъ, но она во всякомъ случаѣ должна была натолкнуть ихъ на высокомѣрныя мысли: они въ самомъ дѣлѣ могли вообразить о себѣ, что они существа необыкновенныя, передъ которыми всѣ другіе пресмыкающаяся толпа, которые предназначены быть государственными людьми и отъ которыхъ будетъ зависѣть благо цѣлаго общества. Пушкинъ, какъ наиболѣе развитый и знакомый съ реторической рѣчью по прежнему чтенію, могъ скорѣе другихъ принять къ сердцу это будущее назначе-

ніе лицеïскихъ питомцевъ, тѣмъ болѣе, что слова Куницына согласовались и съ свидѣтельствомъ, выданнымъ изъ герольдіи для представленія въ лицей, что Александръ Пушкинъ „происходитъ отъ древняго дворянскаго рода Пушкиныхъ, коего гербъ внесенъ въ общій дворянскихъ родовъ гербовникъ и высочайше утвержденъ“. По крайней мѣрѣ мы знаемъ, что гордая мысль Пушкина о древности своего рода никогда не подавлялась никакимъ либерализмомъ. Взглядъ на свою исключительную привилегированность дѣйствительно развивался въ воспитанникахъ лицея, что̀ видно изъ письма Илличевскаго отъ 27-го іюля 1814 года: „У насъ въ Царскомъ Селѣ завелось теперь новое училище подъ именемъ пансіона при императорскомъ лицеѣ, гдѣ за каждаго воспитанника платятъ по 1.000 руб. Отличнѣйшіе изъ нихъ будутъ поступать въ лицей, итакъ, разсуди самъ, какъ трудно теперь къ намъ попасть“.

Классное сухое ученіе мало занимало умъ воспитанниковъ; юная мысль болѣе даровитыхъ изъ нихъ искала пищи въ томъ, что̀ занимало воображеніе. Они составляли въ родѣ литературныхъ бесѣдъ, въ которыхъ каждый долженъ былъ показать изобрѣтательность въ занимательныхъ разсказахъ. Затѣмъ перешли къ изданію рукописныхъ журналовъ, гдѣ помѣщались преимущественно стихи собственнаго издѣлія. Впрочемъ, въ такой формѣ литературныя занятія еще задолго велись и въ московскомъ благородномъ пансіонѣ. Очень вѣроятно, что онъ могъ послужить образцомъ и для лицея,

тѣмъ болѣе, что между ними была нѣкоторая живая связь: двое изъ учениковъ благороднаго пансіона поступили въ число лицеистовъ; самъ профессоръ Кошанскій преподавалъ тамъ же до своего поступленія въ лицей. Вообще въ тогдашнихъ нашихъ училищахъ было развито стремленіе къ литературнымъ занятіямъ, такъ какъ это былъ, можетъ быть, единственный самодѣятельный и живой трудъ въ школьномъ образованіи. Такъ и Илличевскій явился въ лицей изъ петербургской гимназіи съ собственными стихотворными опытами. Отсюда объясняется тотъ фактъ, что многіе изъ нашихъ даровитыхъ общественныхъ дѣятелей на разныхъ поприщахъ государственной службы дѣлались сначала литераторами, примыкая къ тому или другому журналу и даже мечтая о славѣ писателя, но потомъ бросали эти труды, какъ скоро ступали твердою ногою на служебномъ поприщѣ. Мы можемъ указать на Сперанскаго, Блудова, Дашкова, какъ наиболѣе извѣстныхъ. Правда, тутъ была и невыгодная сторона: юноши безъ всякаго поэтическаго дарованія и вкуса тянулись за даровитыми, вымучивали изъ себя стихи и риѳмы и имъ жертвовали слишкомъ много времени во вредъ учебнымъ занятіямъ; журналы наполнялись бездарными стихами безъ всякой пользы для литературы. Такими впослѣдствіи оказались и многіе изъ лицеистовъ. Но артистическая натура Пушкина здѣсь нашла свою сферу. Въ ней талантъ его быстро заявилъ себя. Юная публика сразу оцѣнила его и ободряла похвалами.

Но прежде чѣмъ заняться первыми поэтическими опытами Пушкина, взглянемъ, какія впечатлѣнія давала ему окружающая жизнь и какъ воспитывалась его фантазія.

Воспитаніе въ лицеѣ было вполнѣ закрытое: воспитанники не отпускались къ родителямъ ни на праздники, ни на каникулы. Ихъ міръ ограничивался царскосельскими садами, гдѣ, по выраженію нашего поэта, онъ и „расцвѣталъ безмятежно". Эти сады имѣютъ особенное значеніе въ развитіи его генія. Въ нихъ на пространствѣ нѣсколькихъ верстъ соединились природа и искусство: вѣковыя рощи, луга, пруды, длинныя прямыя и широкія аллеи, которыя пересѣкаются въ разныхъ направленіяхъ, сходятся и расходятся, узкія извилистыя дорожки и тропинки, мосты и мостики черезъ ручейки, живописные берега огромнаго пруда, похожаго на озеро, бесѣдки, шалаши, гроты, искусственныя развалины, съ высоты которыхъ представляются пустынныя окрестности, цвѣтники со множествомъ разнообразныхъ цвѣтовъ, китайская деревня съ театромъ, собачье кладбище съ шутливыми затѣйливыми эпитафіями на могильныхъ камняхъ, наконецъ, два огромныхъ дворца, изъ которыхъ одинъ съ большими и роскошными залами, бывшее жилище Елизаветы и Екатерины II, свидѣтель шумной, веселой, богатой жизни дворовъ прошедшаго столѣтія, свидѣтель великолѣпныхъ праздниковъ, пиршествъ, побѣдныхъ торжествъ дѣятельной и умной императрицы. Надъ всѣмъ этимъ потрудились и руки садовника, и искусный

умъ архитектора, и талантъ художника. Вотъ что представляли царскосельскіе сады:

Въ сѣдомъ туманѣ дальній лѣсъ;
Чуть слышится ручей, бѣгущій въ сѣнь дубравы,
Чуть дышетъ вѣтерокъ, уснувшій на листахъ,
И тихая луна, какъ лебедь величавый,
Плыветъ въ сребристыхъ облакахъ.
Плыветъ и блѣдными лучами
Предметы освѣтила вдругъ,
Алеи древнихъ липъ открылись предъ очами,
Проглянули и холмъ и лугъ...
Съ холмовъ кремнистыхъ водопады
Стекаютъ бисерной рѣкой.
Тамъ въ тихомъ озерѣ плескаются Наяды
Его лѣнивою волной.
А тамъ въ безмолвіи огромные чертоги,
На своды опершись, несутся къ облакамъ.
Не здѣсь ли мирны дни вели земные боги...

Такъ представлялъ царскосельскіе сады нашъ шестнадцатилѣтній поэтъ передъ другимъ поэтомъ Державинымъ, уже готовымъ сойти въ могилу; а спустя много лѣтъ онъ вспоминалъ:

Въ тѣ дни, въ таинственныхъ долинахъ
Весной при кликахъ лебединыхъ,
Близъ водъ сіявшихъ въ тишинѣ,
Являться муза стала мнѣ.

—

Еще исполнены великою женою
Ея любимые сады
Стоятъ населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами боговъ,
И славой мраморной, и мѣдными хвалами
Екатерининыхъ орловъ.

Эти мраморная слава и мѣдныя хвалы даютъ особенное значеніе царскосельскимъ садамъ. Памятники русскихъ побѣдъ, которыя одерживали надъ врагами екатерининскіе полководцы, дѣйствовали на юное воображеніе и вызывали чувство народной славы, связывая настоящее съ историческими фактами недавняго прошлаго, о которомъ еще слышались живые разсказы, едва успѣвшіе перейти въ преданія. Для пылкой фантазіи такія впечатлѣнія также имѣютъ воспитательное значеніе. За неимѣніемъ исторіи, они только и могли пробуждать патріотическое чувство въ молодомъ поколѣніи; а въ тѣ времена оно питалось лишь военною славою Россіи. Такимъ именно характеромъ отличалось наше патріотическое чувство еще въ XVIII столѣтіи. Оно было односторонне, чуждое всей массѣ народа, хотя военная слава и покупалась ея силами и жертвами; но пользоваться ея выгодами могло только одно сословіе, которое еще съ XVII столѣтія удержало за собою значеніе военно-служилое. Этотъ патріотизмъ возбуждался только въ столкновеніи съ внѣшними врагами Россіи, связывался только съ идеей ея матеріальной силы и государственнаго могущества, и потому долженъ назваться патріотизмомъ государственнымъ или политическимъ. Ему недоставало той нравственной силы, которая связываетъ всѣ сословія въ одинъ народъ общими интересами. Но тогда вся масса народа была безправною, въ унизительномъ рабскомъ состояніи. Къ ней служилое, оно же и помѣщичье, сословіе относилось

такъ, какъ обыкновенно господа относятся къ рабамъ,—съ полнымъ презрѣніемъ Какими же особенными выгодами могла она пользоваться отъ военной славы, добытой ея силами; отъ нея никакого облегченія она не получала, и, конечно, никакого патріотизма въ ней не могло и быть. Настоящая любовь къ отечеству можетъ развиваться только въ сердцѣ человѣка свободнаго и въ средѣ свободной, зато и лучшій плодъ отъ нея—любовь ко всему народу, а не барское высокомѣріе. За неимѣніемъ такой любви въ то время патріотизмомъ называлось государственное чувство, вызываемое побѣдами и дворянскими стремленіями къ военной славѣ, вмѣстѣ съ оскорбительными отзывами о своихъ врагахъ. Но и этотъ патріотизмъ, по крайней мѣрѣ хоть нѣсколько, возвышалъ духъ человѣка и наводилъ на мысль, что можно гордиться народнымъ именемъ передъ иностранцами. Онъ все же связывалъ нѣкоторыхъ хоть какими-нибудь связями, если не съ народомъ, то хоть съ страной и государственной исторіей.

Въ этомъ духѣ воспитывали царскосельскіе сады и фантазію Пушкина:

Протекшіе вѣка мелькаютъ предъ очами,
И въ тихомъ восхищеньи духъ.
Онъ видитъ, окруженъ волнами [1]),
Надъ твердой, мглистою скалой
Вознесся памятникъ. Шпряяся крылами,
Надъ нимъ сидитъ орелъ младой.
И цѣпи тяжкія и стрѣлы громовыя

[1]) Среди большого царскосельскаго пруда.

Вкругъ грознаго столпа трикраты обвились,
Кругомъ подножія, шумя, валы сѣдые
Въ блестящей пѣнѣ улеглись.
Въ тѣни густой угрюмыхъ сосенъ
Воздвигся памятникъ простой.
О, сколь онъ для тебя, Кагульскій брегъ, поносенъ
И славенъ родинѣ драгой!
Безсмертны вы во-вѣкъ, о, росски исполины,
Въ бояхъ воспитаны средь бранныхъ непогодъ;
О васъ, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдетъ молва изъ рода въ родъ.
О, громкій вѣкъ военныхъ споровъ,
Свидѣтель славы россіянъ,
Ты видѣлъ, какъ Орловъ, Румянцевъ и Суворовъ,
Потомки грозные славянъ,
Перуномъ Зевсовымъ побѣду похищали.
Ихъ смѣлымъ подвигамъ, страшась, дивился міръ;
Державинъ и Петровъ героямъ пѣснь бряцали
Струнами громозвучныхъ лиръ.

Могъ впослѣдствіи Пушкинъ вспоминать и впечатлѣнія отъ великихъ событій 1812 года, которыя также связывались съ Царскимъ Селомъ:

Дуновенья бурь земныхъ
И насъ нечаянно касались;
И мы средь пиршествъ молодыхъ
Душою часто омрачались...

—

Вы помните, текла за ратью рать [1]);
Со старшими мы братьями прощались,
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шелъ мимо насъ... И племена сразились.
Русь обняла кичливаго врага,

[1]) Въ то время большая московская дорога изъ Петербурга шла черезъ Царское Село.

И заревомъ московскимъ озарились
Его полкамъ готовые снѣга.
Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ
Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался:
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался!
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ онъ,
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы!
Вы помните, какъ оживились вдругъ
Сіи сады, сіи живыя воды
Гдѣ проводилъ онъ славный свой досугъ.

На самомъ дѣлѣ молодыя пиршества, о которыхъ упоминаетъ поэтъ, были нѣсколько позже, послѣ смерти перваго директора лицея, Малиновскаго. Онъ умеръ въ мартѣ 1814 года. Затѣмъ два года не назначали директора, а лицеемъ управляли разныя лица; они безпрестанно смѣнялись и менѣе всего заботились о разумномъ нравственномъ воспитаніи. Праздnаго времени у воспитанниковъ было много, а придумать, чѣмъ занять его, никто не взялъ на себя труда. Малиновскій находилъ для нихъ разныя развлеченія и удовольствія, съ цѣлью развивать ихъ эстетическое чувство и отвлекать юныя мысли отъ порочныхъ стремленій. Послѣ него уже сами воспитанники стали думать о своихъ развлеченіяхъ. „Открылись безпорядки, говорится въ „Историческомъ очеркѣ лицея“: гувернеры не исполняли своего дѣла и среди воспитанниковъ показалась распущенность“. Это послѣднее слово объясняется записками нѣкоторыхъ изъ товарищей Пушкина, если даже принять за произведеніе одной фантазіи тогдашнія стихотворенія нашего поэта. Безъ особенныхъ усилій лицеисты

завоевали себѣ свободу въ широкихъ размѣрахъ. Между ними начались молодыя пиршества, въ которыхъ вино играло, разумѣется, не послѣднюю роль. Они нашли себѣ покровительство въ профессорѣ Галичѣ, впослѣдствіи прослывшемъ за ученаго философа. Онъ былъ призванъ изъ Петербурга для замѣны заболѣвшаго Кошанскаго. Этотъ философъ оказался изъ эпикурейской секты и поспѣшилъ посвятить въ нее своихъ юныхъ слушателей, изъ которыхъ инымъ еще не минуло и шестнадцати лѣтъ. Онъ уступалъ имъ свою комнату въ стѣнахъ лицея, и здѣсь-то раздавался звонъ рюмокъ и стакановъ, веселые крики и пѣсни и разныя эротическія стихотворенія, недоступныя печати. Галичъ предсѣдательствовалъ на этихъ собраніяхъ. Судя по стихотворнымъ посланіямъ къ нему Пушкина, съ нимъ лицеисты обращались за панибрата:

Защитникъ нѣги и прохладъ,
Мой добрый Галичъ, vale!
Ты Эпикуровъ младшій братъ,
Душа твоя въ бокалѣ.
Главу вѣнками убери—
Будь нашимъ президентомъ... [1]).

---

[1]) Въ 1834 г. въ своихъ запискахъ Пушкинъ написалъ слѣдующія о немъ строки: «Я встрѣтилъ добраго Галича и очень ему обрадовался. Онъ былъ нѣкогда моимъ профессоромъ, ободрялъ меня на поприщѣ, мною избранномъ. Онъ заставилъ меня написать для экзамена 1814 г. мои *Воспоминанія о Царскомъ Селѣ*». (Русск. Арх. 1880 № 2). Эти-то воспоминанія Пушкинъ и читалъ на экзаменѣ въ присутствіи Державина, посѣтившаго лицей изъ Петербурга. Разсказъ объ этомъ слу-

Отъ пиршествъ молодые люди переходили къ любовнымъ приключеніямъ. Зная натуру Пушкина, мы можемъ заключить, что онъ со страстью отдавался всѣмъ этимъ увлеченіямъ, хотя онъ и говоритъ въ одномъ стихотвореніи:

> Угодникъ Бахуса, а трезвый межъ друзьями,
> Бывало пѣлъ вино водяными стихами...

Удерживать его было некому, а артистическая его натура должна была увлекать его въ самую глубь жизни, какую только представляла найденная свобода. Ученый ищетъ отвлеченной истины, стараясь какъ можно глубже проникнуть въ предметъ: артистъ по природѣ ищетъ истины въ живыхъ впечатлѣніяхъ отъ жизни, и чѣмъ страстнѣе его натура, тѣмъ глубже онъ проникаетъ въ жизнь, думая найти истину на днѣ. Притомъ же надо имѣть въ виду, что воображеніе Пушкина черезъ раннее и неразборчивое чтеніе уже давно наполнилось разными эротическими и вакхическими пѣснями и сценами; оно было давно настроено къ этому эпикуреизму, прежде чѣмъ онъ могъ въ дѣйствительности вкусить его сладость. Страсти его были разбужены и, такъ сказать, потревожены не самою жизнью, а воображеніемъ. Почва была подготовлена, отъ жизни ожидались только случаи

чаѣ находимъ въ отрывочныхъ запискахъ Пушкина (см. въ его сочиненіяхъ, ч. V). На него же поэтъ указываетъ въ Евгеніи Онѣгинѣ:

> Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
> И въ гробъ сходя благословилъ.

для увлеченій и соблазновъ. И вотъ они явились. Но что развращаетъ и губитъ другого, то составляетъ матеріалъ для артистической фантазіи генія-поэта. Его спасаетъ дѣятельность духа, въ которомъ принятыя отъ жизни впечатлѣнія перерождаются въ образы, а они привлекаютъ вниманіе поэта и на время отвлекаютъ его отъ внѣшняго міра; онъ сосредоточивается, углубляется въ себя, вдумывается въ созданіе своей фантазіи и уступаетъ потребности духа выразить эти непроизвольно сложившіеся образы въ матеріальной формѣ, т.-е. отдѣлить ихъ отъ себя и дать имъ особенное бытіе. Во всей этой работѣ поэтъ, какъ бы во второй разъ переживъ свои страстныя увлеченія, охлаждается къ нимъ и ждетъ, когда жизнь представитъ ему что-нибудь новое, а безъ жизни нѣтъ у него и поэзіи.

Фантазія Пушкина съ дѣтства воспиталась на преданіяхъ XVIII столѣтія. Она усвоила себѣ классическіе образы изъ французской поэзіи, съ которыми съ давнихъ временъ свыклась европейская поэзія. Зевсъ, Фебъ-Аполлонъ, Минерва, Венера, Вакхъ или Бахусъ, Амуръ или Эротъ, Фавны или Сатиры, Морфей, Зефиръ и прочіе всѣ боги, богини и нимфы греко-римской миѳологіи составляли готовые образы для поэзіи. Фантазія поэтовъ въ нихъ находила извѣстную идеализацію и, комбинируя ихъ между собою, выражала впечатлѣнія отъ жизни. Наши стихотворцы-риторы и поэты XVIII столѣтія приняли всѣ эти образы и манеру творчества у западныхъ поэтовъ, хотя съ русской

жизнью у этихъ образовъ не было ни исторической, ни народной связи: они были совершенно чужды и непонятны огромному большинству, не воспитанному на чужой поэзіи и на чужихъ вѣрованіяхъ. Для такой поэзіи у насъ не было питательной почвы. Она отзывалась холодной схоластической ученостью, требовала безполезныхъ познаній и даже большой памяти отъ читателей, которымъ нужно было заучить всѣ миѳологическія подробности, чтобы понимать смыслъ предлагаемыхъ стиховъ и почувствовать ихъ эстетическое вліяніе. Вотъ отчего наша поэзія была далека отъ жизни и была доступна только меньшинству, чрезъ воспитаніе примкнувшему къ космополитизму.

Юная фантазія Пушкина на первыхъ порахъ вращалась въ этомъ же самомъ мірѣ: представляла себѣ поэта, окруженнаго парнасскими богинями, которымъ давались разныя имена, вмѣстѣ съ Аполлономъ, граціями и харитами; поэтъ являлся въ воображеніи не иначе, какъ съ лирою въ рукахъ и съ пѣснью, вдохновленною извнѣ какою-то высшею силою. Любовь рисовалась въ образѣ крылатаго и шаловливаго мальчика, Амура или Эрота, вооруженнаго стрѣлами; бракъ въ видѣ осмѣяннаго Гименея съ фонаремъ. Въ этихъ-то готовыхъ образахъ Пушкинъ и выражалъ свои впечатлѣнія отъ юной жизни.

Лицейскіе сады представляли довольно классическихъ статуй и бюстовъ съ ихъ строгой красотой и правильными типами. Эта красота должна была имѣть вліяніе на фантазію поэта, воспитывая

его эстетическій вкусъ и вызывая любовь къ простотѣ и пластичности, чѣмъ дѣйствительно отличается искусство Пушкина. Такъ уже въ зрѣлые годы онъ вспоминалъ дѣйствіе этихъ образовъ:

И часто я украдкой убѣгалъ
Въ великолѣпный мракъ чужого сада,
Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ;
Тамъ нѣжила меня деревъ прохлада,
Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ,
И праздно мыслить было мнѣ отрада.
Любилъ я свѣтлыхъ водъ и листьевъ шумъ,
И бѣлые въ тѣни деревъ кумиры,
И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ думъ.
Все, мраморные циркули и лиры,
И свитки въ мраморныхъ рукахъ,
И длинныя на ихъ плечахъ порфиры—
Все наводило сладкій нѣкій страхъ
Мнѣ на сердце: и слезы вдохновенья
При видѣ ихъ рождались на глазахъ...

Хотя юный поэтъ читалъ многихъ писателей древнихъ и новыхъ, иностранныхъ и русскихъ, но особенное сочувствіе выказывалъ тѣмъ, которые были ближе къ его собственнымъ вкусамъ и страстямъ—Анакреону, Вольтеру, Парни и Батюшкову. Перваго онъ называетъ своимъ учителемъ, мудрецомъ сладострастія и ставилъ его какъ бы въ образецъ жизни:

Смертный—вѣкъ твой привидѣнье:
Счастье рѣзвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся,
Чаще кубокъ наливай,
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай.

Вольтеръ въ его глазахъ злой крикунъ Фернейскій:

Поэтъ въ поэтахъ первый,
Онъ Фебомъ былъ воспитанъ,
Издѣтства сталъ піитъ;
Всѣхъ больше перечитанъ,
Всѣхъ менѣе томитъ...
Онъ все—вездѣ великъ
Единственный старикъ...

Парни для нашего поэта—другъ, врагъ труда, заботъ, печали, а Батюшковъ—россійскій Парни, въ котораго пѣвецъ Тіискій (Анакреонъ) влилъ свой нѣжный духъ—

Философъ нѣжный и піитъ,
Парнасскій счастливый лѣнивецъ,
Харитъ изнѣженный любимецъ,
Наперсникъ милыхъ Аонидъ...

Подражая имъ, Пушкинъ поэтизировалъ свои страстныя увлеченія. Всѣ эротическіе поэты были для него

Любезные пѣвцы,
Сыны безпечности лѣнивой,
Давно вамъ отданы вѣнцы
Отъ музы праздности счастливой!
Но не блестящіе вѣнцы,
Поэзіи трудолюбивой
На верхъ Фессальскія горы
Вели васъ тайные извивы...
И я, неопытный поэтъ,
Небрежныхъ вашихъ риѳмъ наслѣдникъ,
За вами крадуся во слѣдъ.

На эротическихъ стихотвореніяхъ Пушкинъ выработалъ себѣ легкій, игривый стихъ и нѣкото-

рую пластичность выраженій, чѣмъ и прельщалъ товарищей своихъ молодыхъ пиршествъ. Интересно видѣть, какъ въ фантазіи Пушкина еще въ первыхъ его опытахъ складывался образъ самаго поэта, который впослѣдствіи выразился въ такомъ художественномъ совершенствѣ. Называя себя юношей-мудрецомъ (конечно, эпикурейскимъ), питомцемъ нѣгъ и Аполлона, онъ рисуетъ себя въ такихъ картинахъ.

Въ пещерахъ Геликона
Я нѣкогда рожденъ,
Во имя Аполлона
Тибуломъ окрещенъ,
И свѣтлой Ипокреной
Съ-издѣтства напоенный,
Подъ кровомъ вешнихъ розъ
Поэтомъ я возросъ.
Веселый сынъ Эрмія
Ребенка полюбилъ,
Въ дни рѣзвости златыя
Мнѣ дудку подарилъ.
Знакомясь съ нею рано,
Дудилъ я безпрестанно;
Нескладно хоть игралъ,
Но музамъ не скучалъ.

—

Дана мнѣ лира отъ боговъ,
Поэту даръ безцѣнный,
И муза вѣрная со мной:
Хвала тебѣ, богиня!
Тобою красенъ домикъ мой
И дикая пустыня.
На слабомъ утрѣ дней златыхъ
Пѣвца ты осѣнила,
Вѣнкомъ изъ миртовъ молодыхъ

Чело его покрыла,
И горнимъ свѣтомъ озарясь,
Влетала въ скромну келью
И чуть дышала преклонясь
Надъ дѣтской колыбелью.

Изъ этихъ легкихъ начальныхъ эскизовъ впослѣдствіи выработался чудный образъ „Музы“ Пушкина въ извѣстномъ стихотвореніи

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила...

Въ старые годы наши поэты любили поэтизировать лѣнь, соединяя съ нею нѣгу и блаженство жизни. Это согласовалось съ тѣмъ взглядомъ на поэзію, какой у насъ существовалъ въ XVIII столѣтіи. Ее не считали за дѣло, она была бездѣлье на досугѣ. Артистическая натура требовала покоя и уединенія, чтобы углубиться въ себя, всмотрѣться въ тѣ образы, какіе создавала фантазія. Внутренняя, незримая ея работа уже отвлекала и отвращала отъ всякаго другого труда. Она-то и принималась за лѣнь. Но это также было дѣло, только понятное и доступное очень немногимъ. Съ нимъ соединялось и наслажденіе, которымъ такъ дорожили поэты. Въ стихахъ Пушкина также воспѣвается лѣнь. Онъ часто называетъ себя поэтомъ безпечнымъ и лѣнивымъ. Въ посланіи къ Дельвигу онъ проситъ:

Еще хоть годъ одинъ
Позволь мнѣ полѣниться
И нѣгой насладиться:
Я, право, нѣги сынъ.

Въ стихотвореніи „Сонъ“ онъ призываетъ лѣнь:

Приди, о, лѣнь, приди въ мою пустыню!
Тебя зовутъ прохлада и покой:
Въ одной тебѣ я зрю свою богиню,
Готово все для гостьи молодой...
Царицей будь, я плѣнникъ нынѣ твой!
Учи меня, води моей рукой,
Все, все твое: вотъ краски, кисть и лира...

Въ другомъ стихотвореніи юный поэтъ говоритъ о себѣ, что онъ въ лѣности сравнится лишь съ богами.

Въ стихотвореніи къ „Моей чернильницѣ“ (1821 г.) онъ обращается къ ней со словами:

Тебя я посвятилъ
Занятіямъ досуга
И съ лѣнью примирилъ:
Она — твоя подруга.

Здѣсь уже видится лѣнь артистическая, т.-е. внутренняя работа надъ поэтическимъ образомъ, для посторонняго же взгляда бездѣлье.

Интересно указать, что уже въ первыхъ опытахъ Пушкина высказался тотъ взглядъ на поэзію, который впослѣдствіи сдѣлался у него какъ бы основнымъ взглядомъ и который онъ такъ горячо отстаивалъ, защищая свободу поэта. Въ посланіи къ Батюшкову онъ говоритъ:

Поэтъ! Въ твоей предметы волѣ...
Все, все позволено поэту!..

Увлекаясь эротическими поэтами и подражая имъ, Пушкинъ иногда поддавался и вліянію дру-

гихъ писателей. Какую пользу стремились извлекать изъ чтенія поэтовъ молодые поэты-лицеисты, видно изъ письма Илличевскаго къ пріятелю отъ 14 декабря 1814 года: „Достигаютъ ли до нашего уединенія вновь выходящія книги? спрашиваешь ты меня. Можешь ли въ этомъ сомнѣваться...

И можетъ ли ручей сребристый,
По свѣтлому песку катя кристаллъ свой чистый
И тихою волной ласкаясь къ берегамъ,
Течь безъ источника по рощамъ и лугамъ...
И можетъ ли поэтъ, неопытный и юный,
Чуть-чуть бренча на лирѣ тихострунной,
Не подражать другимъ? Ахъ, никогда!

„Никогда! Чтеніе питаетъ душу, образуетъ, развиваетъ способности; по сей причинѣ мы стараемся имѣть всѣ журналы и впрямь получаемъ: „Пантеонъ“, „Вѣстникъ Европы“, „Русскій Вѣстникъ“ и пр. Такъ, мой другъ, и мы также хотимъ наслаждаться свѣтлымъ днемъ нашей литературы, удивляться цвѣтущимъ геніямъ Жуковскаго, Батюшкова, Крылова, Гнѣдича. Но не худо иногда подымать завѣсу протекшихъ временъ, заглядывать въ книги отцовъ отечественной поэзіи, Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитріева; тамъ лежатъ сокровища, изъ коихъ каждому почерпать должно. Не худо иногда вопрошать пѣвцовъ иноземныхъ (у нихъ учились предки наши), бесѣдовать съ умами Расина, Вольтера, Делиля и, заимствуя у нихъ красоты неподражаемыя, переносить ихъ въ свои стихотворенія“.

Въ собственныхъ стихахъ (особенно „Городокъ“)

Пушкинъ указываетъ на многихъ писателей, русскихъ и французскихъ, которые занимали его. Онъ раздѣлялъ симпатіи и антипатіи молодого поколѣнія, которое высказывалось въ тогдашнихъ журналахъ. Ставя себѣ въ образецъ однихъ, онъ относился съ обыкновенной своей остротой и насмѣшкой къ другимъ. Но мы не будемъ указывать на всѣ заимствованія и подражанія начинающаго впечатлительнаго поэта [1]), а только вмѣстѣ съ нимъ представимъ себѣ читающаго юношу въ поэтической обстановкѣ:

Люблю я въ лѣтній день
Бродить одинъ съ тоскою,
Встрѣчать вечерню тѣнь
Надъ тихою рѣкою,
И съ сладостной слезою
Въ даль сумрачну смотрѣть;
Люблю съ моимъ Марономъ,
Подъ яснымъ небосклономъ,
Близъ озера сидѣть,
Гдѣ лебедь бѣлоснѣжный,
Оставя злакъ прибрежный,
Любви и нѣги полнъ,
Съ подругою своею,
Закинувъ гордо шею,
Плыветъ во злакѣ волнъ.

Но лицеисты питались не однѣми книгами; въ ихъ рукахъ были и другія сочиненія, „презрѣвшія печать“, какъ выразился Пушкинъ, „враги парнасскихъ узъ“. Въ то время такихъ рукописей ходило

[1]) См. статью г. Гаевскаго, Лицейскія стихотворенія Пушкина въ «Современникѣ» 1863 г. № 7 и 8.

много, благодаря крайней строгости цензуры. Между ними были и весьма циническіе стихи извѣстнаго Баркова, котораго Пушкинъ назвалъ небольшимъ бояриномъ Парнасскихъ высотъ и удалымъ наѣзникомъ пылкаго Пегаса. Имъ нѣкоторое время также увлекался Пушкинъ и самъ увеличилъ число сочиненій, презрѣвшихъ печать.

Многосторонній талантъ Пушкина еще на школьной скамьѣ высказывался во всемъ. Такъ, судя по нѣсколькимъ сатирическимъ его стихотвореніямъ, можно бы было даже заключить, что настоящее его призваніе — сатира. Вотъ, напримѣръ, подражая римскимъ сатирикамъ, онъ рисуетъ временщика Ветулія, въ которомъ нельзя не видѣть намековъ на Аракчеева:

На быстрой колесницѣ,
Вѣнчанный лаврами, въ блестящей багряницѣ,
Спесиво развалясь, Ветулій молодой
Въ толпу народную летитъ по мостовой.
Смотри, какъ всѣ предъ нимъ смиренно спину клонятъ,
Смотри, какъ ликторы народъ несчастный гонятъ,
Льстецовъ-сенаторовъ, прелестницъ длинный рядъ,
Умильно вслѣдъ за нимъ стремитъ усердный взглядъ;
Ждутъ, ловятъ съ трепетомъ улыбки, глазъ движенья,
Какъ будто дивнаго боговъ благословенья...
О, Ромуловъ народъ, скажи, давно-ль ты палъ?
Кто васъ поработилъ и властью оковалъ?
Квириты гордые подъ иго преклонились...
Пускай безстыдный Клитъ, слуга вельможъ, Корнелій,
Торгуютъ подлостью и съ дерзостнымъ челомъ
Отъ знатныхъ къ богачамъ ползутъ изъ дома въ домъ!
Я сердцемъ Римлянинъ! кипитъ въ груди свобода.
Во мнѣ не дремлетъ духъ великаго народа...
Воспомнивъ старину за дѣдовскимъ фіаломъ,

Свой духъ воспламеню жестокимъ Ювеналомъ,
Въ сатирѣ праведной порокъ изображу
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажу...

Въ этой сатирѣ уже видно, что у юноши-поэта сталъ развиваться нравственный идеалъ человѣка, съ которымъ соединялось представленіе гражданина. Правда, въ фантазіи онъ еще не успѣлъ переработаться въ идеалъ художественный, и выражается довольно отвлеченно, но онъ уже стоитъ на опредѣленной почвѣ и долженъ привлечь вниманіе біографа, въ виду будущаго дальнѣйшаго развитія нашего поэта. Къ числу сатирическихъ стиховъ Пушкина слѣдуетъ отнести и эпиграммы. Эта форма злой насмѣшки надъ личностью была въ нашей тогдашней литературѣ въ большомъ употребленіи. Эпиграммы Пушкинъ могъ слышать еще въ домѣ своего отца изъ устъ Дмитріева и своего дяди Василія Львовича. Много эпиграммъ ходило и въ рукописяхъ, „презрѣвшихъ печать“. Въ лицейской литературѣ эпиграммы также господствовали.

Пушкинъ замышлялъ и большое сатирическое сочиненіе. Илличевскій пишетъ къ пріятелю въ началѣ 1816 г.: „Пушкинъ пишетъ теперь комедію въ 5 дѣйствіяхъ въ стихахъ, подъ названіемъ Философъ; планъ довольно удачный и начало, т.-е. 1-е дѣйствіе, до сихъ поръ только написанное, обѣщаетъ нѣчто хорошее; стихи и говорить нечего; а острыхъ словъ сколько хочешь! Дай-то Богъ ему терпѣнія и постоянства, что̀ рѣдко бываетъ въ молодыхъ писателяхъ: они то же, что̀ мотыльки, которые не долго на одномъ цвѣткѣ покоятся, ко-

торые такъ же прекрасны и такъ же, къ несчастью, непостоянны; дай Богъ ему кончить, это—первый большой ouvrage, начатый имъ,—ouvrage, которымъ онъ хочетъ открыть свое поприще по выходѣ изъ лицея. Дай Богъ ему успѣха—лучи славы его будутъ отсвѣчиваться и въ его товарищахъ"...

Эти послѣднія слова показываютъ, какъ соученики Пушкина уже смотрѣли на него на школьной скамейкѣ. Но на этотъ разъ желаніе Илличевскаго не исполнилось: товарищъ его не выказалъ постоянства; комедія была брошена, даже не сохранилось и того, что̀ было написано.

Въ началѣ 1816 года кончилось время лицейскаго междуцарствія или анархіи, какъ назвалъ Пушкинъ время послѣ смерти директора Малиновскаго до назначенія новаго начальника. Оно продолжалось почти два года. Новому директору Энгельгардту пришлось исправлять многое во всѣхъ частяхъ. На лицеистовъ съ первой же встрѣчи онъ произвелъ хорошее впечатлѣніе. „Если можно судить по наружности, писалъ Илличевскій, то Энгельгардтъ человѣкъ не худой. Мы всѣ желаемъ, чтобъ директоръ былъ человѣкъ прямой, чтобъ не былъ къ однимъ Engel (ангелъ), къ другимъ hart (суровый)". Молодые люди, какъ видно, хорошо понимали, какая черта въ особенности должна быть развита въ истинномъ педагогѣ. И они получили то, чего желали. Сочувствуя стремленіямъ молодого поколѣнія, онъ въ то же время хорошо понималъ и вредъ крайнихъ увлеченій. Явившись уже не среди школьниковъ, а среди мо-

лодыхъ людей, перешедшихъ къ высшему изученію наукъ, онъ дружески сблизился съ ними и прежде всего постарался отвлечь ихъ отъ прежнихъ шумныхъ и не всегда приличныхъ забавъ, вызванныхъ потребностью развлеченій и отчужденностью отъ общества въ замкнутой жизни. Онъ ввелъ ихъ въ кругъ своей семьи, гдѣ они нашли женское общество, котораго до сихъ поръ недоставало имъ,. и въ немъ всѣ забавы и удовольствія, какія можно найти въ образованномъ обществѣ. Жизнь молодыхъ людей измѣнилась: въ директорѣ они нашли честнаго руководителя пылкой юности, понявшаго обязанности воспитателя. Но надо сказать, что Пушкинъ произвелъ на него самое тяжелое впечатлѣніе. По всей вѣроятности, у него были въ рукахъ стихи нашего поэта, съ тѣмъ нескромнымъ и иногда циническимъ содержаніемъ, которое обыкновенно очень нравится юношамъ. Конечно, педагогъ счелъ нужнымъ обратить на автора свое особенное вниманіе, и много разъ откровенно бесѣдовалъ съ нимъ; а Пушкинъ, по своей прямотѣ, не таилъ отъ него своихъ мыслей, навѣянныхъ отовсюду, но еще не передуманныхъ и не перечувствованныхъ, какъ обыкновенно бываетъ въ ранніе юношескіе годы. Уже черезъ два мѣсяца у Энгельгардта оказалось столько наблюденій, что онъ нашелъ возможнымъ сдѣлать оцѣнку нѣкоторымъ своимъ воспитанникамъ: въ умѣ Пушкина онъ не видѣлъ ни проницательности, ни глубины, и назвалъ его совершенно поверхностнымъ французскимъ умомъ. „Это еще са-

мое лучшее, что̀ можно сказать о Пушкинѣ, прибавилъ онъ. Его сердце холодно и пусто; въ немъ нѣтъ ни любви, ни религіи, можетъ быть, оно такъ пусто, какъ никогда не бывало юношеское сердце. Нѣжныя юношескія чувства унижены въ немъ воображеніемъ, оскверненнымъ всѣми эротическими произведеніями французской литературы, которыя онъ при поступленіи въ лицей зналъ почти наизусть, какъ достойное пріобрѣтеніе первоначальнаго воспитанія".

Такая невѣрная характеристика наводитъ нѣкоторыхъ біографовъ Пушкина на отрицаніе педагогической проницательности въ Энгельгардтѣ. Но и это отношеніе къ педагогу тоже несправедливо: намъ легко видѣть ошибки въ сужденіи о человѣкѣ, жизнь и труды котораго мы вполнѣ знаемъ. Но у Энгельгардта на виду было только то, что̀ должно было удивить и поразить каждаго въ юношѣ, которому не минуло даже семнадцати лѣтъ. Онъ не угадалъ, что передъ нимъ геніальная артистическая натура, въ которой все перегораетъ, очищается и дѣлается золотомъ. Вотъ въ чемъ его ошибка. Но не всѣ ли такія натуры воспитываются особеннымъ путемъ, на которомъ обыкновенныя натуры часто погибаютъ. Въ виду тѣхъ фактовъ, какіе были въ дѣйствительности, Энгельгардтъ и не могъ сдѣлать другой оцѣнки, и вѣрно впослѣдствіи самъ порадовался, когда замѣтилъ свою ошибку. Пушкинъ вообще не любилъ весь высказываться даже и своимъ пріятелямъ: самое главное и существенное содержаніе

его души всегда утаивалось, и высказывалось только въ поэтическихъ образахъ. Понятно, нашъ юный поэтъ не могъ не замѣтить, что директоръ зорко слѣдитъ за нимъ (и какъ педагогъ долженъ былъ дѣлать это), конечно, ему приходилось выслушивать увѣщанія, наставленія и совѣты, а можетъ быть, и что-нибудь оскорбительное для своего самолюбія. Все это объясняетъ то отчужденіе Пушкина отъ семейства и общества Энгельгардта, о чемъ впослѣдствіи свидѣтельствовали его товарищи. Въ то же время они съ удовольствіемъ и благодарностью признавали ту нравственную пользу, какую имъ принесло это общество въ ихъ затворнической жизни.

Но вотъ настала минута, когда сердце поэта наполнилось тѣмъ нѣжнымъ и юношескимъ чувствомъ, какого Энгельгардтъ не находилъ въ немъ. Оно очистилось отъ всего того, что, по взгляду директора, было пріобрѣтеніемъ первоначальнаго воспитанія. Преждевременное стремленіе его къ любви, вызванное воображеніемъ, оскверненнымъ, какъ выразился Энгельгардтъ, вычитанными эротическими сценами, смѣнилось истинно романтической любовью. Онъ полюбилъ сестру своего товарища Бакунина (впослѣдствіи замужемъ за Полторацкимъ), которая съ своимъ семействомъ жила въ Царскомъ Селѣ, и испыталъ, что есть еще другая любовь, съ которой соединяются и сладкія мечтанія, и уныніе, и грусть, и страданія,—любовь, которая въ то же время возвышаетъ и очищаетъ душу юноши и не допускаетъ ничего нечистаго и чувственнаго.

Нашъ поэтъ переродился: новыя струны зазвучали въ его сердцѣ. Но онъ назвалъ свою любовь несчастливой, и во всѣхъ поэтическихъ его мечтаніяхъ слышится голосъ грусти и унынія. Правда, и въ прежнихъ стихотвореніяхъ Пушкина иногда на мгновенье прорывается грустное чувство, которое Бѣлинскій назвалъ единственнымъ Пушкинскимъ элементомъ за это время, тогда какъ во всемъ прочемъ онъ видитъ одно подражаніе; но преобладающимъ чувствомъ оно явилось въ стихахъ, навѣянныхъ ему романтическою его любовью; нѣкоторые изъ нихъ могутъ назваться прекрасными по теплотѣ чувства, по выработанному и точному стиху и по оригинальности выраженій:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый мигъ въ увядшемъ сердцѣ множитъ
Всѣ горести несчастливой любви,
И тяжкое безуміе тревожитъ.
Но я молчу; не слышенъ ропотъ мой.
Я слезы лью... мнѣ слезы утѣшенье;
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находитъ наслажденье.
О, жизни сонъ! лети, не жаль тебя!
Исчезни въ тьмѣ пустое привидѣнье!
Мнѣ дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру—любя!..

А вотъ что встрѣчаемъ въ современныхъ отрывочныхъ запискахъ влюбленнаго юноши: „Я счастливъ былъ! Нѣтъ, я вчера не былъ счастливъ; по утру я мучился ожиданіемъ, съ неописаннымъ волненіемъ, стоя подъ окошкомъ, смотрѣлъ на

снѣжную дорогу—ее не видно было! Наконецъ, я потерялъ надежду, вдругъ нечаянно встрѣчаюсь съ нею на лѣстницѣ... сладкая минута!

Онъ пѣлъ любовь, но былъ печаленъ гласъ.
Увы! онъ зналъ любви одну лишь муку.

Жуковскій.

Какъ она мила была! Какъ черное платье пристало къ милой Б... Я былъ счастливъ 5 минутъ".

Вскорѣ она, предметъ мечтаній поэта, переселилась вмѣстѣ съ своимъ семействомъ въ Петербургъ, и онъ узналъ горесть разлуки:

Когда пробилъ послѣдній счастью часъ,
Когда въ слезахъ надъ бездной я проснулся
И трепетный уже въ послѣдній разъ
Къ рукѣ твоей устами прикоснулся,
Да, помню все! я сердцемъ ужаснулся;
Но заглушилъ несносную печаль...

Чистое юношеское чувство перешло въ уныніе

Мой милый другъ, разстался я съ тобою,
Душой уснувъ, напрасно я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною,
Я все тебя, далекій другъ, ищу.
Одну тебя вездѣ воспоминаю,
Одну тебя въ невѣрномъ вижу снѣ;
Задумаюсь — невольно призываю,
Заслушаюсь — твой голосъ слышенъ мнѣ.
И ты со мной, о, лира, пріуныла,
Наперсница души моей больной?
Твоей души печаленъ звонъ глухой,
И лишь тоски ты голосъ не забыла, —

О, вѣрная, грусти, грусти со мной!
Пускай твои небрежные напѣвы
Изобразятъ унынiе любви,
И слушая бряцанiя твои,
Пускай вздохнутъ задумчивыя дѣвы! [1]).

Вотъ гдѣ задатки тѣхъ чудныхъ элегій Пушкина, въ какихъ впослѣдствiи такъ артистически и такъ граціозно выражались чувства, охватывавшія его пылкое сердце. Уже въ зрѣлые годы Пушкинъ вспоминалъ эту первую романтическую любовь, которая, ожививъ его сердце, навсегда осталась въ памяти:

Замѣтилъ я черты живыя
Прелестной дѣвы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманомъ пылкихъ сновъ,

[1]) «Легко было бы распознать свѣтлую, изящную сторону натуры Пушкина, — говоритъ его біографъ г. Анненковъ въ упрекъ Энгельгардту, — даже и по чистымъ платоническимъ элегіямъ его... Онѣ ходили по рукамъ и могли бы заставить хорошаго воспитателя задуматься о многосодержательномъ, измѣнчивомъ и впечатлительномъ характерѣ своего воспитанника, а также, можетъ быть, и приспособиться къ нему. Но до обдуманныхъ, нравственныхъ и педагогическихъ мѣръ лицейское начальство было далеко». Защищая Энгельгардта, мы скажемъ, что ему были неизвѣстны элегіи Пушкина, такъ какъ онѣ были написаны уже послѣ той оцѣнки, какую сдѣлалъ воспитатель. Въ рукахъ же у него могли быть такія стихотворенія, какъ Тѣнь Баркова и подобныя. Разумѣется, послѣдующіе труды Пушкина должны были измѣнить и мнѣніе о немъ Энгельгардта, иначе онъ не вступился бы такъ горячо за поэта передъ императоромъ, когда тому грозила суровая ссылка.

Вездѣ искалъ ея слѣдовъ,
Весь день минутной встрѣчи ждалъ
И счастье тайныхъ мукъ узналъ.

Но, по словамъ Бѣлинскаго, грусть Пушкина—всегда грусть души мощной и крѣпкой: онъ никогда не расплывается въ грустномъ чувствѣ—оно всегда звенитъ у него, но не заглушая гармоніи другихъ звуковъ души и не допуская его до монотонности. Такъ и на этотъ разъ мечтательный поэтъ нашелъ себѣ бодрость въ дружеской связи съ товарищами:

Играйте, пойте, о, друзья!
Утратьте вечеръ скоротечный:
И вашей радости безпечной
Сквозь слезы улыбнуся я!

—

Мнѣ кажется, на жизненномъ пиру
Одинъ съ тоской явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на часъ и одинокъ умру.
И не придетъ другъ сердца незабвенный
Въ послѣдній мигъ мой томный взоръ сомкнуть,
И не придетъ на холмъ уединенный
Въ послѣдній разъ любовію вздохнуть!
Ужель моя пройдетъ пустынно младость?
Иль мнѣ чужда счастливая любовь?
Ужель умру, не вѣдая что́ радость?
Зачѣмъ же жизнь дана мнѣ отъ боговъ?
Чего мнѣ ждать? Въ рядахъ забытый воинъ,
Среди толпы затерянный пѣвецъ—
Какихъ наградъ я въ будущемъ достоинъ
И счастія какой возьму вѣнецъ?..
Но что! Стыжусь! Нѣтъ, ропотъ—униженье!
Нѣтъ, праведно боговъ опредѣленье!
Ужель лишь мнѣ не вѣдать ясныхъ дней?

Нѣтъ, и въ слезахъ сокрыто наслажденье,
И въ жизни сей мнѣ будетъ утѣшенье—
Мой скромный даръ и счастіе друзей!

И друзья первые оцѣнили поэтическій даръ своего товарища: на ихъ глазахъ онъ быстро развивался, и при всей своей неопытности они имѣли поводъ возлагать на него свои пылкія надежды. Они даже украдкою посылали его стихи въ редакціи журналовъ и видѣли, что тамъ ихъ не только печатаютъ, но и присылаютъ за нихъ благодарность. Но еще выше въ ихъ мнѣніи сталъ Пушкинъ, когда на ихъ глазахъ и тогдашніе прославленные русскіе писатели протянули ему руку: въ лицеѣ перебывали многіе изъ нихъ проѣздомъ черезъ Царское Село, навѣщая Пушкина, конечно, не какъ поэта, но какъ сына своего пріятеля, Сергѣя Львовича. „Признаться, - писалъ Илличевскій, — до самаго вступленія въ лицей я не видѣлъ ни одного писателя, но въ лицеѣ видѣлъ я Дмитріева, Державина, Жуковскаго, Батюшкова, Василія Пушкина, Хвостова, Нелединскаго, Кутузова, Дашкова“ [1]). Они слушали первые опыты

[1]) Въ томъ же письмѣ къ Фусу онъ пишетъ: «Какъ же ты пропустилъ случай видѣть нашего Карамзина, безсмертнаго исторіографа отечества? Стыдно, братецъ, ты бы могъ по крайней мѣрѣ увидѣть его хоть на улицѣ... Ты хочешь знать, видалъ ли я его когда-нибудь... Нѣтъ, любезный другъ, и я не имѣлъ счастія видѣть его и не находилъ къ тому ни разу случая. Мы надѣемся, однакожъ, что онъ посѣтитъ нашъ лицей, а надежда наша основана не на пустомъ: онъ знаетъ Пушкина и имъ весьма много интересуется! Поспѣшай же, о, день отрадъ!»...

юноши, котораго иные знали еще ребенкомъ, хвалили, ободряли его. Пушкинъ оставилъ даже восторженный разсказъ, какъ старикъ Державинъ еще въ 1815 году „замѣтилъ его и благословилъ, сходя въ гробъ". Записалъ онъ въ томъ же году день, когда Жуковскій подарилъ ему свои сочиненія. Вотъ и Карамзинъ обращаетъ вниманіе на его талантъ и поручаетъ ему, по просьбѣ Нелединскаго-Мелецкаго, написать пѣснь для праздника, который устраивала въ Павловскѣ императрица Марія Ѳеодоровна, по случаю пріѣзда жениха великой княжны Анны Павловны, принца Оранскаго. Пушкинъ быстро написалъ нѣсколько куплетовъ и угодилъ всѣмъ. Пѣснь была пропѣта въ присутствіи всѣхъ лицеистовъ на павловскомъ праздникѣ. Авторъ получилъ отъ императрицы въ подарокъ часы. Можно представить, какъ много выигрывалъ начинающій поэтъ въ глазахъ своихъ товарищей, питавшихъ благоговѣйное уваженіе къ литературнымъ авторитетамъ. Но такой натурѣ, какъ пушкинская, нужны были новыя впечатлѣнія, а съ ними и новыя увлеченія: въ послѣдній годъ однообразная лицейская жизнь, съ натянутымъ отношеніемъ къ начальнику, стала томить его; вѣроятно, на это же отношеніе намекаетъ онъ въ своихъ стихахъ, упоминая о какой то злобной клеветѣ. И вотъ, отзывчатый на всякую новизну, онъ увлекается новою дружбою и новыми друзьями уже внѣ лицея. Въ Царскомъ Селѣ постоянно стоялъ гвардейскій гусарскій полкъ. Въ послѣдній годъ тѣ лицеисты, которые готовились въ воен-

ную службу, ходили въ полковой манежъ обучаться кавалерійской верховой ѣздѣ. Между ними былъ и Пушкинъ, мечтавшій быть кавалеристомъ. Тамъ онъ познакомился и скоро подружился съ молодыми гусарскими офицерами, которые полюбили его какъ веселаго и остроумнаго собесѣдника и поэта, автора нескромныхъ стихотвореній, застольныхъ пѣсенъ и острыхъ эпиграммъ. Пушкинъ не разъ принималъ участіе въ ихъ разгулѣ и, конечно, съ полнымъ увлеченіемъ. Между ними особенно сблизился онъ съ Зубовымъ, Каверинымъ и Чаадаевымъ. Первые два имѣли значеніе въ жизни Пушкина, какъ лихіе товарищи веселыхъ пирушекъ, а Чаадаевъ своимъ образованіемъ и серьезнымъ взглядомъ на жизнь имѣлъ потомъ большое вліяніе на умственное развитіе и направленіе мысли нашего поэта. Плодомъ этого знакомства были два стихотворенія „Усы“ и „Слеза“, которыя Илличевскій назвалъ гусарскими, рекомендуя ихъ своему пріятелю, какъ прекрасныя пьесы. Такъ расходились стихи Пушкина даже въ рукописяхъ не только въ Царскомъ Селѣ, но и въ Петербургѣ.

Время выпуска изъ лицея близилось. Всѣ задумывались о своей карьерѣ или о родѣ службы—вопросъ очень важный для молодого человѣка: внѣ службы тогда еще не было никакого дѣла. Пушкинъ сначала воображалъ себя гусаромъ и не скоро могъ разстаться съ этой мыслью. Еще за два года до выпуска онъ писалъ Галичу:

Близокъ, близокъ грозный часъ,
Когда послышу славы гласъ,
Покину кельи кровъ пріятный,
Татарскій сброшу свой халатъ.
Простите, дѣвственныя музы,
Прости, пріютъ младыхъ отрадъ!
Надѣну узкіе рейтузы,
Завью въ колечки гордый усъ,
Заблещетъ пара эполетовъ,
И я, питомецъ важныхъ музъ,
Въ числѣ воюющихъ корнетовъ.

Но отъ своей мечты Пушкинъ скоро долженъ былъ отказаться. Отецъ его объявилъ, что не можетъ содержать его въ кавалеристахъ, по ограниченности своего состоянія, и сдѣлалъ уступку только для пѣхотной службы. Дядя же, Василій Львовичъ, былъ даже и противъ этого и настаивалъ на вступленіи на службу статскую. Пушкину не нравилось это: онъ чувствовалъ, что чиновничья дѣятельность, которую онъ смѣшивалъ съ писарской, совсѣмъ не по его натурѣ. На всѣ дядины убѣжденія и примѣры, въ которые входилъ и Дмитріевъ — „милостію Бога министръ и сладостный пѣвецъ“, Пушкинъ отвѣчалъ:

Неужто важныхъ музъ любовникъ
Не можетъ нѣжный быть пѣвецъ
И вмѣстѣ гвардіи полковникъ?

При этомъ онъ высказываетъ, чѣмъ прельщала его гусарская жизнь:

Что восхитительнѣй, живѣй
Войны, сраженій и пожаровъ,
Кровавыхъ и пустыхъ полей,

Бивака, рыцарскихъ ударовъ,
И что завиднѣй краткихъ дней
Не слишкомъ мудрыхъ усачей,
Но сердцемъ истинныхъ гусаровъ?
Они живутъ въ своихъ шатрахъ
Вдали забавъ, и нѣгъ, и грацій,
Какъ жилъ безсмертный трусъ Горацій
Въ Тибурскихъ сумрачныхъ лѣсахъ;
Не знаютъ свѣта принужденья,
Не вѣдаютъ, что́ скука, страхъ,
Даютъ обѣды и сраженья,
Поютъ и рубятся въ бояхъ...

Какъ видно, поэзія воина-поэта Дениса Давыдова имѣла вліяніе на его фантазію. Нельзя ли и въ этомъ выборѣ рода службы также видѣть артистическую натуру? Но ужъ если обстоятельства не позволяли быть гусаромъ, то у фантазіи оставался еще одинъ плѣнительный образъ: „намъ, питомцамъ Феба и забавы, друзьямъ мирной праздности, Богъ создалъ уединеніе и свободу“. Одинъ образъ поэта представлялся Пушкину, а тамъ, гдѣ числиться на службѣ, ужъ было все равно: поэтъ не умножитъ числа трудящихся чиновниковъ. Ободряемый восхищеніемъ и похвалами товарищей, привѣтствіемъ извѣстныхъ и авторитетныхъ писателей, Пушкинъ рано вполнѣ сознавалъ свое истинное призваніе и въ своей фантазіи, воспитанной на классическихъ образахъ, представлялъ себѣ поэта, какъ вдохновеннаго жреца искусства. Такъ, незадолго до выпуска изъ лицея онъ писалъ Дельвигу:

Въ уединеніи ты счастливъ: ты поэтъ.
Наперснику боговъ не страшны бури злыя:

Надъ нимъ ихъ промыселъ высокій и святой;
Его баюкаютъ Камены молодыя
И съ перстомъ на устахъ хранятъ его покой.
О, милый другъ, и мнѣ богини пѣснопѣнья
Еще въ младенческую грудь
Вліяли искру вдохновенья
И тайный указали путь:
Я мирныхъ звуковъ наслажденье
Младенцемъ чувствовать умѣлъ
И лира стала мой удѣлъ...

Рѣшившись вполнѣ отдаться поэзіи, юноша обращается какъ бы за посвященіемъ въ это жречество ни къ кому другому, какъ къ Жуковскому—лучшему представителю тогдашней русской поэзіи по чистотѣ и высотѣ ея образовъ. Одинъ этотъ выборъ уже много говоритъ въ пользу поэтическихъ стремленій созрѣвавшаго генія:

Благослови, поэтъ! Въ тиши парнасской сѣни
Я съ трепетомъ склонилъ предъ музами колѣни,
Опасною тропой съ надеждой полетѣлъ,
Мнѣ жребій вынулъ Фебъ—и лира мой удѣлъ!
Страшусь, неопытный, безславнаго паренья,
Но пылкаго смирить не въ силахъ я влеченья.
Не грозный приговоръ на гибель внемлю я...
И ты, природою на пѣсни обреченный,
Не ты-ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной?
Могу-ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвнымъ я стоялъ, и молнійной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?
Нѣтъ, нѣтъ, рѣшился я безъ страха въ трудный путь!
Отважной вѣрою исполнилася грудь.
Творцы безсмертные, питомцы вдохновенья!
Вы цѣль мнѣ кажете въ туманахъ отдаленья.

Лечу къ безвѣстному отважною мечтой,
И мнится, геній вашъ промчался надо мной!

Рано началъ Пушкинъ вдумываться въ жизнь поэта. Такъ, еще въ 1814 г. въ стихотвореніи „Другу-стихотворцу“ онъ представляетъ незавидную судьбу поэта въ обстановкѣ жизни:

Мнишь ли, что къ тебѣ рѣкой уже текутъ,
За то, что ты поэтъ, несмѣтныя богатства,
Что ты уже берешь на откупъ государства,
Въ желѣзныхъ сундукахъ червонцы хоронишь
И, лежа на боку, покойно ѣшь и спишь?
Не такъ, любезный другъ, писатели богаты:
Судьбой имъ не даны ни мраморны палаты,
Ни чистымъ золотомъ набиты сундуки—
Лачужка подъ землей, высоки чердаки.
Вотъ пышны ихъ дворцы, великолѣпны залы...
Катится мимо ихъ фортуны колесо.
Родился нагъ и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо.
Камоенсъ съ нищими постелю раздѣляетъ,
Костровъ на чердакѣ безвѣстно умираетъ,
Руками чуждыми могилѣ преданъ онъ;
Ихъ жизнь—рядъ горестей, гремяща слава—сонъ!

Въ слѣдующемъ году въ посланіи Дельвигу Пушкинъ представлялъ, что̀ ждетъ его, будущаго писателя:

Я буду принужденъ
Съ журналами сражаться,
Съ газетой торговаться!..
Помилуй, Аполлонъ!

Въ посланіи къ Жуковскому Пушкинъ представляетъ себѣ ту борьбу, какую неизбѣжно придется вести ему съ разными литературными партіями, съ бездарною завистью и злобою:

Бѣда, кто въ свѣтъ рожденъ съ чувствительной душой,
Кто тайно могъ плѣнить красавицъ нѣжной лирой,
Кто смѣло просвисталъ шутливою сатирой,
Кто выражается правдивымъ языкомъ,
И русской глупости не хочетъ бить челомъ!
Онъ врагъ отечества, онъ сѣятель разврата,
И рѣчи сыплются дождемъ на супостата...
Гоненія терпѣть ужель и мой удѣлъ?
Что нужды? Смѣло вдаль дорогою прямою.
Ученью руку давъ, поддержанный тобою,
Ихъ злобы не страшусь; мнѣ твердый Карамзинъ,
Мнѣ ты примѣръ—что крикъ безумныхъ сихъ дружинъ...

Итакъ, осемнадцатилѣтній юноша рѣшилъ свое призваніе и сдѣлалъ выборъ, которому и не измѣнилъ до конца жизни; онъ не предчувствовалъ борьбы, какую ему придется вести не съ литературными партіями, а съ теченіемъ русской общественной жизни, обратившимся для него въ судьбу. Лицейская слава досталась ему легко, безъ терній; но много ихъ попало въ вѣнецъ той славы, за которую внуки ставятъ ему памятникъ.

Наконецъ настало и время выпуска. Пушкинъ простился съ своими товарищами стихотвореніемъ, которое указываетъ на своеобразный умъ поэта. Обыкновенно отъ такихъ школьныхъ, товарищескихъ прощаній вѣетъ сентиментальностью; у Пушкина, наоборотъ, вышла пьеса болѣе сатирическая. Онъ нѣсколько насмѣшливо представляетъ службу, которая ожидаетъ товарищей:

Каждый смотритъ на дорогу
Въ волненьи юныхъ пылкихъ думъ.
Иной подъ киверъ спрятавъ умъ,
Уже въ воинственномъ нарядѣ

Гусарской саблею махнулъ;
Въ крещенской утренней прохладѣ
Красиво мерзнетъ на парадѣ,
А грѣться ѣдетъ въ караулъ.
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатнаго въ прихожей
Покорнымъ плутомъ зритъ себя...

Рядомъ съ этой службой поэтъ не ставитъ собственнаго настоящаго дѣла, которое должно совершаться въ глубинѣ поэтической души, невидимо ни для кого — онъ всегда скрывалъ эту работу. Онъ только представилъ тѣ выгоды, которыя дастъ ему свободная его жизнь:

Лишь я, судьбѣ своей послушный,
Счастливой нѣги вѣрный сынъ,
Душой безпечный, равнодушный,
Въ постели задремалъ одинъ;
Равны мнѣ писаря, уланы,
Равны мнѣ каски, кивера;
Не рвусь я грудью въ капитаны
И не ползу въ ассессора.
Друзья, немного снисхожденья!
Оставьте пестрый мнѣ колпакъ;
Пока его за прегрѣшенье
Не промѣнялъ я на шишакъ;
Пока лѣнивому возможно,
Не опасаясь грозныхъ бѣдъ,
Еще рукой неосторожной
Въ іюлѣ распахнуть жилетъ.

Только въ стихахъ къ Пущину и Кюхельбекеру Пушкинъ говоритъ о вѣчномъ дружескомъ союзѣ и о вѣрности „святому братству“. Этотъ обѣтъ онъ сохранилъ всю жизнь: его школьные товарищи

какъ бы срослись съ его фантазіей; память о нихъ всегда вызывала въ немъ самыя теплыя чувства, которыя и переходили въ его поэзію.

Едва ли кто тогда спрашивалъ, готовы ли юноши для той цѣли, для которой былъ основанъ лицей; дала ли имъ наука все то, для чего они предназначались? Кажется, къ нимъ можно отнести слова, которыя сказалъ князь Вяземскій о самомъ себѣ: они знали многое, чего можно было бы и не знать, а многое не знали, что̀ необходимо [1]). Это мы заключаемъ изъ позднѣйшихъ отзывовъ товарищей Пушкина, въ особенности же графа Корфа. Въ высшемъ курсѣ ученіе не могло быть основательно уже по тому одному, что ученики были дурно подготовлены элементарно въ низшемъ. На Пушкина, какъ на поэта, могъ бы дѣйствовать профессоръ словесности, Кошанскій, который въ первые годы дѣйствительно жилъ съ нимъ въ дружбѣ, замѣтивъ въ немъ страсть къ поэзіи Но затѣмъ вмѣсто него, какъ мы уже говорили, нѣкоторое время занимался съ учениками Галичъ, и Пушкинъ отбился отъ рукъ. Кошанскій, явившись снова на каѳедрѣ, хотѣлъ держать его на риторикѣ и строго отнесся къ его вакхическимъ стихамъ, а Пушкинъ не хотѣлъ слѣдовать его схоластическимъ правиламъ, ставя себѣ въ образецъ пластичность стиха Батюшкова и звучность поэтическаго стиха Жуковскаго. На профессорскія порицанія онъ отвѣчалъ стихомъ:

[1]) Автобіографія кн. Вяземскаго въ полн. собр. его сочиненій т. I, стр. IX.

Я знаю самъ свои пороки;
Не нужны мнѣ, повѣрь, уроки
Твоей учености сухой...
А ты, мой скучный проповѣдникъ,
Умѣрь ученый пыла гнѣвъ,
Поди, кричи, брани другого
И брось лѣнивца молодого,
Объ немъ тихонько пожалѣвъ.

И молодой лѣнивецъ разошелся съ своимъ профессоромъ: геній поэта самъ искалъ себѣ пути и упорно заявилъ свой протестъ противъ того, что̀ уже отживало свой вѣкъ. О Кошанскомъ поэтъ не вспоминалъ и впослѣдствіи. Зато завидное воспоминаніе досталось на долю Куницына. Уже въ 1825 году Пушкинъ, одинокій, въ деревенскомъ захолустьѣ, посвящая стихотвореніе друзьямъ въ память выпуска изъ лицея, восторженно восклицаетъ:

Куницыну дань сердца и вина!
Онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень...
Поставленъ имъ краеугольный камень,
Имъ чистая лампада возжена...

Это искреннее признаніе поэта, уже успѣвшаго испытать много въ жизни и чувствительно пострадать за свои либеральныя увлеченія, должно увѣковѣчить имя Куницына, къ памяти котораго и мы отнесемся съ благодарностью. Мы не хотимъ при этомъ брать въ разсчетъ отзывовъ нѣкоторыхъ товарищей Пушкина, которые не признавали за Куницынымъ такой заслуги. Развѣ не случается, что одни и тѣ же слова учителя въ однихъ уче-

никахъ не находятъ себѣ отголоска, а въ сердцахъ другихъ, болѣе впечатлительныхъ или развитыхъ, западаютъ глубоко, просвѣтляютъ всю душу и даютъ какъ бы толчекъ въ развитіи по извѣстному направленію. И ученикъ навсегда остается благодаренъ своему учителю.

Куницынъ читалъ политическую экономію по началамъ Адама Смита, право по Канту, Шмальцу, Гуфеланду, Клейну и др.; русское гражданское право излагалось по методѣ, принятой въ коммиссіи составленія законовъ, въ самомъ сокращенномъ видѣ—только общія коренныя постановленія, которыхъ познаніе, докладывалъ Куницынъ, нужно для каждаго благовоспитаннаго человѣка, готовящагося къ высшимъ государственнымъ должностямъ. Записки Куницына по систематическому обозрѣнію политическихъ наукъ и естественному праву были потомъ напечатаны; но скоро затѣмъ, по распоряженію министра, были отобраны отъ воспитанниковъ съ изъясненіемъ причины: „по разсмотрѣнію въ Главномъ Управленіи училищъ книги „Естественное право“, сочиненіе Куницына, найдено нужнымъ по принятымъ въ сей книгѣ за основаніе ложнымъ началамъ и выводимому изъ нихъ весьма вредному ученію, противорѣчащему истинамъ христіанства и клонящемуся къ испроверженію всѣхъ связей семейственныхъ и государственныхъ, книгу сію, какъ вредную, запретить повсюду къ преподаванію по ней и при томъ принять мѣры къ прекращенію во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ преподаванія естественнаго права по

началамъ толь разрушительнымъ, каковы оказались въ книгѣ Куницына“ [1]).

Это осужденіе нельзя принять буквально: мы знаемъ, какъ судило Главное Управленіе училищъ подъ вліяніемъ изувѣра Магницкаго. На самомъ дѣлѣ ученіе Куницына согласовалось съ тѣмъ либеральнымъ направленіемъ, котораго держался самъ императоръ Александръ и которое настраивало молодые умы. Но, судя по словамъ Энгельгардта, Куницынъ былъ либералъ только на словахъ, а не на дѣлѣ: такихъ либераловъ въ то время было много; у нихъ идеи существовали только въ принятыхъ книжныхъ фразахъ, а не перерабатывались въ твердыя убѣжденія, не проникались чувствомъ. Отсюда такіе люди въ своихъ поступкахъ руководствовались не своими идеями, а старыми семейными или дворянскими привычками. Къ нимъ-то и относятся стихи партизана Дениса Давыдова:

А глядишь, нашъ Мирабо
Стараго Гаврила
За измятое жабо
Хлещетъ въ усъ да въ рыло...

Вотъ что писалъ Энгельгардтъ къ бывшему воспитаннику лицея Кюхельбекеру въ мартѣ 1823 г. за нѣсколько мѣсяцевъ до своей отставки: „Вообще безразсудно и вредно провозглашать необыкновенныя истины въ толпѣ тамъ, гдѣ нѣтъ важной цѣли, для достиженія коей стоило бы, въ случаѣ нужды, самимъ собою пожертвовать. Впрочемъ, не всегда

[1]) Историч. очеркъ имп. лицея, стр. 125.

тѣ люди, которые, по техническому выраженію, смѣло говорятъ, точно то думаютъ, что̀ говорятъ. Куницынъ на каѳедрѣ безпрестанно говорилъ противъ рабства и за свободу, а между тѣмъ несчастныхъ своихъ рабовъ держалъ хуже собакъ и до полусмерти бивалъ. Куницынъ на каѳедрѣ насмѣхался надъ піэтизмомъ, а послѣ нѣкотораго времени (вѣроятно, послѣ оффиціальной невзгоды надъ нимъ) каждое воскресенье въ церкви князя Голицына (министра просвѣщенія) всю обѣдню на колѣняхъ простаивалъ. Обыкновенно эти grands parleurs hardis (смѣлые краснобаи), какъ моська въ баснѣ: имъ совсѣмъ не до дѣла, а только до того, чтобъ про нихъ сказали: ай, моська, смѣло говоритъ“ [1]).

У насъ нѣтъ никакого основанія заподозрить Энгельгардта въ клеветѣ или недоброжелательствѣ.

Слова его для насъ важны: они показываютъ, куда направлялъ Куницынъ мысль своихъ слушателей, которые, конечно, не знали, что у него слово и дѣло не одно и то же. Многое изъ ученія его перешло въ чувство Пушкина и имѣло вліяніе на развитіе его характера. Въ этомъ случаѣ ученикъ сдѣлался вольнолюбивѣе своего учителя. Что касается до религіознаго вольнодумства, которымъ Пушкинъ отличался въ молодости, то здѣсь было вліяніе не насмѣшекъ Куницына надъ піэтизмомъ, а Вольтера, которымъ Пушкинъ еще съ дѣтства зачитывался. Впрочемъ, это вольнодумство и въ

[1]) Русск. Стар. 1875 г., т. II, стр. 366.

Пушкинѣ было больше на словахъ, чѣмъ въ убѣжденіи, что̀ очень часто бываетъ въ молодые годы. Въ томъ удостовѣряетъ насъ склонность поэта къ суевѣрію, которая выказывалась не только въ его поступкахъ, но и въ поэзіи и которая могла быть лишь остаткомъ отъ дѣтскихъ лѣтъ. Суевѣріе же не можетъ ладить съ искреннимъ безвѣріемъ. Слѣдующія слова Пушкина, написанныя имъ въ 1830 г., имѣютъ для насъ значеніе въ вопросѣ объ его вольнодумствѣ и суевѣріи. Говоря объ одномъ случаѣ изъ жизни Байрона, онъ прибавляетъ: „если въ этомъ случаѣ вмѣшивалось отчасти и суевѣріе, то все-таки видно, что вѣра внутренняя перевѣшивала въ душѣ Байрона скептицизмъ, выказанный имъ мѣстами въ своихъ твореніяхъ. Можетъ быть даже, что скептицизмъ сей былъ только временнымъ своенравіемъ ума, иногда идущаго вопреки убѣжденію внутреннему, вѣрѣ душевной“. Это же самое мы можемъ отнести и къ самому Пушкину. Геній дѣйствительно своенравный умъ. И у него религіозность только на время затаилась въ сердцѣ, зато впослѣдствіи она развивалась въ немъ, какъ чувство, во всей чистотѣ, безъ всякихъ корыстныхъ разсчетовъ.

Несмотря на восторженныя отношенія Пушкина къ Куницыну, едва ли профессоръ былъ доволенъ учебными занятіями своего почитателя. Такъ въ отмѣткахъ за 1816 годъ мы находимъ у Пушкина самые слабые баллы по всѣмъ предметамъ, кромѣ россійской поэзіи и французской реторики, за которыя выставлены высшіе бал-

лы [1]); прилежаніе и поведеніе отмѣчены также низшимъ балломъ. Въ аттестатѣ же, который Пушкинъ получилъ при выпускѣ, успѣхи въ латинской словесности, въ государственной экономіи и финансахъ названы весьма хорошими, въ россійской и французской словесности, также въ фехтованіи—превосходными, въ другихъ же предметахъ—хорошими, за исключеніемъ исторіи, географіи, статистики, математики и нѣмецкаго языка, въ которыхъ, какъ можно догадываться, не было сдѣлано никакихъ успѣховъ. О нихъ только упомянуто, что Пушкинъ занимался ими. Также осталось безъ всякаго отзыва поведеніе, тогда какъ въ аттестатахъ большинства воспитанниковъ и оно имѣло свою отмѣтку. Впечатлительная и живая натура поэта не подчинялась школьной дисциплинѣ, по которой обыкновенно судятъ о поведеніи. Не могъ онъ жить по той узкой мѣркѣ, которая тогда назначалась для оцѣнки благонравія. И общество впослѣдствіи не давало ему за поведеніе хорошей отмѣтки.

Но у Пушкина выработался свой взглядъ на поведеніе:

Всему пора, всему свой мигъ,
Смѣшонъ и вѣтреный старикъ,
Смѣшонъ и юноша степенный.
Пока живется намъ, живи...
Усердствуй Вакху и любви

[1]) Въ то время въ лицеѣ высшимъ балломъ была 1, а низшимъ 4. Нѣкоторые біографы Пушкина, имѣя въ виду настоящее значеніе этихъ цифръ въ нашихъ училищахъ, удивлялись, что Пушкинъ вмѣстѣ съ Дельвигомъ получали изъ поэзіи по 1.

И черни презирай роптанье:
Она не вѣдаетъ, что дружно можно жить
Съ Киферой, съ Портикомъ и съ книгой и съ бокаломъ,
Что умъ высокій можно скрыть
Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ.

Научное образованіе Пушкина, какъ мы видимъ, было очень поверхностное и мало основательное, что̀ онъ созналъ и самъ въ скоромъ времени, вѣрно выразившись въ стихѣ:

Мы всѣ учились понемногу
Чему-нибудь и какъ-нибудь,
Такъ воспитаньемъ, слава Богу,
Не мудрено у насъ блеснуть.

Онъ все-таки стоялъ не ниже большинства тѣхъ молодыхъ людей, которые вступали въ жизнь изъ разныхъ заведеній. Но лицей, тѣмъ не менѣе, остался навсегда дорогъ Пушкину.

Намъ цѣлый міръ чужбина,
Отечество намъ Царское Село,

говорилъ онъ уже черезъ восемь лѣтъ послѣ выхода изъ лицея. А еще черезъ нѣсколько лѣтъ, когда въ душѣ поэта накопилось много горечи отъ жизни, когда борьба съ нею сдѣлалась едва выносимою, онъ какъ бы искалъ успокоенія, вспоминая о своемъ юношескомъ пріютѣ:

Воспоминаньями смущенный,
Исполненъ сладкою тоской,
Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный
Вхожу съ поникшею главой!
Такъ отрокъ Библіи—безумный расточитель—
До каплѝ истощивъ раскаянья фіалъ,
Увидѣлъ наконецъ родимую обитель,

Главой поникъ и зарыдалъ.
Въ пылу восторговъ скоротечныхъ,
Въ безплодномъ вихрѣ суеты,
О, много расточилъ сокровищъ я сердечныхъ
За недоступныя мечты!
И долго я блуждалъ, и часто утомленный,
Раскаяньемъ горя, предчувствуя бѣды,
Я думалъ о тебѣ, пріютъ благословенный,
Воображалъ сіи сады.
Вновь нѣжнымъ отрокомъ, то пылкимъ, то лѣнивымъ,
Мечтанья смутныя въ груди моей тая,
Скитался по лугамъ, по рощамъ молчаливымъ...
Поэтомъ... забывался я...

IV.

Что дало общество.

На девятнадцатомъ году со всѣмъ пыломъ молодости вступилъ Пушкинъ въ шумную столичную жизнь въ кругъ блестящей военной молодежи. Она увлекла его въ буйное разгулье, во всѣ оргіи, какія могла придумать жажда веселья, поддержанная родовыми или наслѣдственными богатствами. Въ то время, послѣ продолжительной и усиленной сдержанности въ годы войны, явилась во всѣхъ какая-то особенная потребность веселиться. И все веселилось, веселилось часто до безумія: кутежи, попойки, картежныя азартныя игры. Пушкинъ не отставалъ ни отъ кого и ни отъ чего и занималъ не послѣднее мѣсто между записными героями веселья, страстно отдавался всѣмъ свѣтскимъ увлеченіямъ,

и съ этой стороны въ короткое время успѣлъ извѣдать и жизнь, и людей. Его кипучая натура не знала умѣренности и требовала погружаться въ глубь жизни. Шумными рукоплесканіями собесѣдники встрѣчали его острые экспромпты, его застольныя пѣсни; всѣ сразу почувствовали, что въ этомъ юношѣ есть какая-то сила; молодежь, по собственному его выраженію, шумно волочилась за его музой. „Торжество Вакха“ есть поэтическое выраженіе того разгулья, которое переживалъ въ то время нашъ поэтъ, еще перерабатывавшій впечатлѣнія жизни въ классическіе образы. Въ это время онъ восклицалъ съ упоеніемъ своимъ друзьямъ:

Ахъ, младость не приходитъ вновь!
Зови же сладкое бездѣлье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!
До капли наслажденье пей!
Живи безпеченъ, равнодушенъ!
Мгновенью жизни будь послушенъ,
Будь молодъ въ юности твоей.

Какъ на характеристику времени нельзя еще не указать на особенную страсть къ дуэлямъ, развившуюся въ кругу этого веселящагося общества. Она, конечно, была вызвана продолжительною войною, которая пріучаетъ равнодушно смотрѣть на кровь, самоуправно относиться въ своей и чужой жизни даже за мнимыя обиды. Удаль и молодечество, разжигаемыя виномъ, особенно развивали щекотливость въ вопросахъ о чести, и веселыя пиршества

нерѣдко сопровождались дуэлями, а онѣ, бывало, кончались и очень плачевно. Эта страсть отсюда перешла и къ Пушкину. Возвышаясь надъ многими предразсудками своего времени, надъ этимъ онъ не могъ возвыситься и впослѣдствіи сдѣлался его жертвою: арабская кровь поддерживала страсть даже и тогда, когда разсудокъ осуждалъ ее; обида у него соединялась съ жаждой крови.

Но за всей этой шумной праздностью, въ которой обильно растрачивались силы, слышался какъ будто другой голосъ, соединявшійся съ какимъ-то напряженнымъ ожиданіемъ. Этотъ голосъ выражалъ потребность дѣятельности. Отечественная война разбудила общественныя силы и вызвала вопросъ объ отечествѣ. Оно до того времени какъ бы отождествлялось съ государствомъ, которое уже давно взяло на себя всѣ заботы объ отечествѣ. Правда, еще при императрицѣ Екатеринѣ II общественныя силы хотя и въ самыхъ малыхъ размѣрахъ стали заявлять себя отдѣльно отъ силъ государственныхъ, стремясь, впрочемъ, помогать имъ распространять просвѣщеніе въ темной массѣ. Но ревнивая власть не захотѣла допустить этого, заподозривъ новую силу въ измѣнѣ. Все общество Новикова было безъ труда подавлено; Радищевъ со своими патріотическими чувствами и стремленіями, неловко выраженными, потерпѣлъ кару; отечество продолжало принадлежать только государству. Но вотъ наконецъ само государство, въ безсиліи собственными средствами спасти отечество отъ враговъ, вызвало спавшія общественныя силы,

и съ ихъ помощью восторжествовало надъ непріятелемъ и спасло просвѣщенную Европу отъ порабощенія. Послѣ 1814 года сдѣлалось ясно, что внѣшнее или государственное могущество Россіи далеко не соотвѣтствовало тому внутреннему ея состоянію, тѣмъ патріархальнымъ порядкамъ, которые держали почти въ рабскомъ положеніи весь народъ и сковывали общее нравственное развитіе. Сдѣлалось ясно, что государство еще не отечество, что однѣхъ государственныхъ силъ еще недостаточно для цѣлости и благоденствія отечества, что усилія и пожертвованія со стороны всѣхъ сословій не принесли никакой пользы ни одному изъ нихъ. Сдѣлалось убѣдительно, что отечество нуждается еще въ силахъ общественныхъ, которыя должны быть опорою государству и безъ которыхъ однѣ канцеляріи не устроятъ такого порядка, чтобы всѣмъ жилось хорошо подъ сѣнью политическаго могущества, добытаго общими силами. Это сознаніе, ясное въ умахъ наиболѣе развитыхъ и образованныхъ, не совсѣмъ ясное въ умахъ поверхностныхъ, волновало молодое поколѣніе, настраивало къ ожиданію чего-то лучшаго, вызывало потребность общественной дѣятельности. Такое настроеніе опиралось на самыя реформы, которыми императоръ Александръ началъ свое царствованіе, и въ которыхъ съ блестящими надеждами на будущее принимали участіе молодые люди, воспитанные въ концѣ прошедшаго столѣтія на идеяхъ космополитизма. Они и послѣ войны ждали того же направленія государственныхъ силъ. Но отъ

нихъ уже отличалось поколѣніе воспитанное подъ впечатлѣніемъ этихъ реформъ и усиленной борьбы отечества. Въ молодыхъ умахъ бродила мысль, что отечество нуждается и въ другихъ силахъ, которыя, какъ и во время войны, должны помогать государственнымъ силамъ, имѣя одну общую цѣль— благо отечества.

Съ такой готовностью общественныя силы ждали съ нетерпѣніемъ вызова отъ государства и имѣли основаніе ждать: ходили вѣрные слухи о томъ, что поручено составить проекты освобожденія крестьянъ нѣсколькимъ лицамъ, даже графу Аракчееву. Этотъ вопросъ былъ самый жгучій и близкій сердцу тогдашней образованной молодежи. Съ освобожденіемъ крестьянъ общественныя силы, конечно, должны бы были значительно усилиться; помѣщики тогда перестали бы быть силою государственно-полицейскою и обратились бы въ силу общественную. Либерализмъ тогдашняго молодого поколѣнія выражался преимущественно въ крѣпостномъ вопросѣ. Кромѣ того, за идеалъ внутренняго управленія оно брало порядки англійской политической жизни, гдѣ прилагаются общественныя силы въ такомъ широкомъ примѣненіи. Злоупотребленія административныхъ властей, необходимость такъ или иначе вліять на нихъ, облагороженіе массъ, подготовка ихъ къ лучшей жизни или къ вольности (слово, усвоенное либерализмомъ), во всемъ этомъ видѣли цѣль, на которую слѣдовало направить общественныя силы. Начиналось, разумѣется, съ разговоровъ, съ предположеній; но

наиболѣе даровитыя натуры томились въ бездѣятельности, не зная куда направить свои силы. Такъ, напримѣръ, Батюшковъ послѣ войны не могъ помириться даже съ своимъ талантомъ, который казался ему безполезенъ для общества, а между тѣмъ у него развивалась сильная страсть служить общественнымъ интересамъ: его не удовлетворяла ни полковая служба въ мирное время, ни канцелярская съ сухими бумагами, отъ которыхъ, не знаешь, есть ли какая польза. Въ душѣ поэта, ищущаго дѣятельности, какъ потребности, явилась пустота, чувство безсилія, которыя и помогли развиться въ ней страшной болѣзни. Такое же безпокойное состояніе духа и недовольство собою выказались въ скоромъ времени и въ Грибоѣдовѣ: необходимость насильно сдерживать свои силы, которыхъ чувствовалось такъ много, приводила къ раздраженію или къ безумной ихъ тратѣ въ шумныхъ кутежахъ. Такъ бродили въ обществѣ эти силы, сдѣлавшіяся какъ бы лишними послѣ войны, возбудившей ихъ. На нихъ пока только ворчали нѣкоторыя личности, считавшія себя представителями государственной силы, но немного времени, и стали выступать противъ нихъ и на борьбу, отнимая всякую надежду на мирный союзъ между двумя силами. Ворчанье Шишкова перешло въ энергическія дѣйствія Шварца, Магницкаго и Рунича. Первый вызовъ былъ сдѣланъ не тѣми, кто потомъ пострадалъ. Вина была въ насильственной остановкѣ правильнаго развитія общественныхъ силъ, вызванныхъ

тою же государственной властью. Тутъ является уже необходимое историческое слѣдствіе.

Но въ то время, какъ еще выжидали всѣ эти молодыя силы, съ другой стороны большинство лицъ, у которыхъ была въ рукахъ власть и широкое поприще для дѣятельности, тѣ отличались равнодушіемъ, усталостью и исканіемъ душевнаго покоя болѣе въ религіозномъ настроеніи, довольствуясь вѣрою безъ дѣлъ. Въ этомъ случаѣ весьма для насъ характеристичны записки квакера Грелле, прибывшаго въ Россію изъ Америки въ 1818 г. съ филантропическою цѣлью—„для оживленія и утвержденія между людьми внутреннихъ основъ нравственно-религіозной жизни". По его описанію, всѣ эти высокопоставленные мистики, члены библейскаго общества, подходили подъ его идеалъ христіанина, но всѣ они ублажались собственными своими достоинствами и не стояли на твердой почвѣ, чтобы дѣлать существенное добро для меньшей братіи. Вотъ какъ описываетъ въ душевной простотѣ набожный квакеръ нѣкоторыхъ изъ этихъ лицъ большого свѣта: „Графъ Ливенъ съ женою находятся подъ вліяніемъ благодати и вполнѣ доступны для евангельскихъ утѣшеній: графъ уже давно сдѣлался человѣкомъ благочестивымъ и знаетъ, гдѣ искать для себя утѣшенія. Князь Голицынъ (министръ просвѣщенія) проникнутъ истинно-христіанскимъ духомъ. Послѣ разныхъ вопросовъ о предметахъ религіозныхъ мы предались вмѣстѣ съ княземъ безмолвному внутреннему богомыслію: мы почувствовали въ себѣ благотворное

вѣяніе благодати... Князь Голицынъ раскрылъ намъ свое сердце въ духѣ свободы и общенія христіанскаго, мы чувствовали, что онъ крещенъ съ нами единымъ духомъ... Княгиня Мещерская—женщина съ возвышеннымъ духомъ и весьма расположенная дѣлать добро, перевела разныя сочиненія и трактаты весьма полезные, особенно въ Россіи, для распространенія въ обществѣ нравственныхъ началъ добродѣтели. Императоръ желаетъ, чтобъ она перевела книгу „Безъ креста нѣтъ вѣнца“ (No cross no crown); книга эта, по его мнѣнію, можетъ быть особенно полезна для членовъ высшаго общества всего государства (квакеръ, конечно, не зналъ, что высшее общество не читаетъ по-русски)... Княгиня Мещерская посвящаетъ значительную часть времени на молитву и религіозныя размышленія. Сердца нѣкоторыхъ (Щербатовыхъ, Мещерскихъ, Трубецкой и др.) были открыты и готовы къ принятію свидѣтельства истины. Иные утомлены формами и обрядами внѣшней церковной жизни и ищутъ существеннаго и дѣйствительнаго въ предметахъ вѣры. Сенаторъ Габницъ болѣе думаетъ о предметахъ духовныхъ, чѣмъ о другихъ дѣлахъ... Нѣкоторыя лица изъ высшаго круга (въ Москвѣ) сказали намъ: мы надѣемся услышать отъ васъ истину въ ея настоящемъ, чистомъ видѣ; мы увѣрены, что любовь Божія привела васъ къ намъ... Душа моя была преисполнена смиреннымъ чувствомъ преданности волѣ Божіей при мысли о томъ, какъ самъ Господь уготовилъ намъ путь въ этой странѣ... Обѣтованіе о всегдашнемъ попеченіи Бо-

жіемъ оправдывалось надъ нами яснымъ и осязательнымъ образомъ“ [1])...

Такимъ образомъ большой свѣтъ смотрѣлъ на квакера, какъ на христіанскаго миссіонера, посланнаго высшимъ назначеніемъ въ православную русскую землю; онъ съ своей стороны воображалъ о себѣ то же самое. И вотъ всѣ наперерывъ одинъ передъ другимъ стараются ему раскрыть свои сердца, показать ему свое благочестіе, приглашаютъ его въ свои роскошные салоны „для безмолвной молитвы и въ ожиданіи посѣщенія Господа“, и всѣ довольны собою, что успѣли зарекомендовать себя передъ чужестранцемъ съ хорошей стороны. Въ этомъ случаѣ извѣстный монахъ Фотій долженъ былъ уступить американцу: тотъ не умѣлъ возбуждать такого пріятнаго самоуслажденія. Но этотъ же англо-американецъ, какъ человѣкъ дѣла, хотѣлъ видѣть и то, что̀ скрывалось за салоннымъ блескомъ счастливыхъ благочестивцевъ: онъ приглядывался и къ той жизни, отъ которой отворачивались люди большого свѣта, хотя надъ ней-то и должны бы были упражнять свое благочестіе. Онъ посѣщалъ школы, больницы, попробовалъ заглянуть и въ тюрьмы и записалъ: были глубоко потрясены— грязь, множество разныхъ насѣкомыхъ, особенно клоповъ, нестерпимый запахъ. „Надѣемся, при этомъ прибавляетъ онъ, внести утѣшеніе слова Божія въ хижины бѣдняковъ такъ же, какъ и въ палаты богачей“. И ему же изъ христіанскаго со-

[1]) «Русск. Старина» 1874 г. № 1.

страданія пришлось указывать людямъ, власть имѣющимъ, и просить ихъ облегчить судьбу несчастныхъ однимъ простымъ распоряженіемъ, а между тѣмъ то были люди совсѣмъ недурные и по-своему даже очень хорошіе; но имъ не приходило въ голову, что они могутъ дѣлать со своей властью и какое назначеніе той государственной силы, которая должна черезъ нихъ проявляться, какъ сила дѣятельная. Такъ губернаторъ Милорадовичъ узналъ о жалкомъ состояніи тюремъ только тогда, когда съ нимъ заговорилъ объ этомъ чужой человѣкъ, христолюбивый квакеръ. И въ начальствѣ тотчасъ же явилась энергія: черезъ нѣсколько дней сострадательный американецъ, къ своему удовольствію, услышалъ: „все, о чемъ вы мнѣ говорили, уже сдѣлано". А безъ него бѣдные арестанты продолжали бы сидѣть въ клоповникахъ, въ то время, какъ начальство предавалось бы религіознымъ созерцаніямъ. Точно такъ же и министръ Голицынъ выказывалъ полную готовность исполнять всѣ совѣты посланнаго какъ бы свыше, даже поручилъ ему составить благочестивыя прописи для школъ, а собственнаго почина, какой долженъ соединяться съ властью для общаго блага, ни въ немъ и ни въ комъ другомъ не выказывалось. Былъ полный застой; у государственныхъ властей не было и расположенія прислушаться къ общественнымъ нуждамъ и пойти на встрѣчу тѣмъ силамъ, которыя ждали вызова.

При описанномъ настроеніи высшаго общества ничего воспитательнаго въ немъ не могло развиться

для молодого поколѣнія, ничего теплаго, привлекающаго, а напротивъ, холодное, суровое, отталкивающее, мертвящее молодую душу. Холостая молодежь дѣйствительно предпочитала общество актрисъ, разныхъ прелестницъ, свободныя пирушки чопорнымъ собраніямъ своихъ тетушекъ, сестрицъ и ворчливыхъ сановниковъ.

Пушкина также не могъ ничѣмъ привлечь этотъ свѣтъ, хотя по праву онъ считалъ себя его членомъ, какъ потомокъ стариннаго боярства. Впечатлѣнія отъ свѣтскихъ собраній онъ выразилъ въ посланіи къ своему пріятелю Всеволожскому:

Ты тамъ на шумныхъ вечерахъ
Увидишь важное бездѣлье,
Жеманство въ тонкихъ кружевахъ
И глупость въ золотыхъ очкахъ,
И тяжкой знатности веселье,
И муку съ картами въ рукахъ.
Всего минутный наблюдатель,
Ты посмѣешься подъ рукой,
Но вскорѣ вѣрный обожатель
Забавъ и лѣни дорогой,
Держася моего совѣта
И волю всей душой любя,
Оставишь кругъ большого свѣта
И жить рѣшишься для себя.

Или въ посланіи князю Горчакову:

Въ неопытныя лѣта
Опасною прельщенный суетой,
Терялъ я жизнь, и чувства, и покой;
Но угорѣлъ въ чаду большого свѣта
И отдохнуть убрался я домой...
И признаюсь, мнѣ во сто кратъ милѣе

Младыхъ повѣсъ счастливая семья,
Гдѣ умъ кипитъ, гдѣ въ мысляхъ воленъ я,
Гдѣ спорю вслухъ, гдѣ чувствую сильнѣе
И гдѣ мы всѣ прекраснаго друзья—
Чѣмъ вялое бездушное собранье,
Гдѣ умъ хранитъ невольное молчанье,
Гдѣ холодомъ сердца поражены,
Гдѣ глупостью единой всѣ равны.
Я помню сихъ дѣтей честолюбивыхъ,
Злыхъ безъ ума, безъ гордости спесивыхъ,
И, разглядѣвъ тирановъ модныхъ залъ,
Чуждаюсь ихъ уроковъ и похвалъ...

Родная семья, къ которой опять примкнулъ Пушкинъ по выходѣ изъ лицея, такъ какъ она переселилась въ Петербургъ, не могла имѣть нравственнаго сдерживающаго вліянія на горячаго и увлекающагося юношу: отецъ скупой, воркунъ и въ то же время поклонникъ всѣхъ свѣтскихъ приличій, мать болѣе свѣтская женщина, сестра старше поэта однимъ годомъ, воспитанная, конечно, по тогдашнему для свѣтской жизни и въ полной зависимости отъ родителей, горячо любившая брата, который съ своей стороны былъ связанъ съ нею нѣжною дружбою; младшій братъ Левъ, еще малолѣтній—вотъ люди самые близкіе къ нему. Затѣмъ большая родня—дальняя и ближняя, дяди и тетки, черезъ которыхъ нашъ поэтъ былъ связанъ съ разными барскими фамиліями въ Петербургѣ и въ Москвѣ и съ которыми кромѣ кровной связи не сознавалъ никакой другой; впослѣдствіи онъ выразилъ довольно просто эти отношенія къ ней, разоблачивъ ту лицемѣрную любовь, какая обык-

новенно высказывается при встрѣчахъ и при разныхъ удобныхъ случаяхъ:

Родные люди вотъ какіе:
Мы ихъ обязаны ласкать,
Любить душевно, уважать,
О Рождествѣ ихъ навѣщать
Или о Пасхѣ поздравлять,
Чтобъ остальное время года
О насъ не думали они,
И дай Господь имъ долги дни.

Такимъ образомъ съ этой стороны молодой Пушкинъ ничѣмъ не былъ связанъ и озабоченъ: только одно тяжелое и непріятное чувство приходилось переживать ему, то, которое впослѣдствіи онъ такъ живо выразилъ въ молодомъ рыцарѣ Альбертѣ въ сценѣ „Скупой рыцарь“, чувство бѣдности среди богатства и расточительности той золотой молодежи, которая носила его на рукахъ. Не разъ по этому поводу приходилось ему объясняться съ отцомъ; но отецъ и самъ былъ въ долгахъ и былъ недоволенъ сыновнею неразсчетливостью, что̀ сыну казалось уже скряжничествомъ. „Стыдъ горькой бѣдности“ развивалъ въ немъ и страсть къ картежной азартной игрѣ, которая иногда доставляла ему нѣкоторыя суммы, чтобы сколько-нибудь поддерживать свое положеніе въ веселящейся компаніи. Въ ней только и могъ находить пылкій поэтъ ту жизнь, какая была нужна его геніальной артистической натурѣ: тамъ были разнообразныя впечатлѣнія, тамъ было беззаботное веселье, тамъ питались его чувства, страсти; тамъ и умъ нахо-

дилъ себѣ пищу въ живыхъ мысляхъ, въ которыхъ выражалось стремленіе пробужденныхъ силъ къ общественной дѣятельности. Какъ увлекающаяся натура, Пушкинъ и этому стремленію предался всею душою, со страстью, подготовленный къ тому уже лекціями Куницына. По службѣ онъ причисленъ къ министерству иностранныхъ дѣлъ съ жалованьемъ по 600 р.; но канцеляріи созданы не для поэтовъ. Государственная служба ничѣмъ не манила Пушкина, и онъ не посвятилъ ей ни часу времени. Въ его глазахъ отечество было шире государства, и въ его умѣ мало-по-малу прояснилась мысль, что поэтъ долженъ быть всецѣло на сторонѣ отечества, а не въ тѣсномъ союзѣ съ одною государственностью, которой до него служили другіе поэты.

На лирѣ скромной, благородной
Земныхъ боговъ я не хвалилъ
И въ силѣ, въ гордости свободной
Кадиломъ лести не кадилъ.
Природу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожденъ царей забавить
Стыдливой музою моей...

И если поэтъ втайнѣ похвалилъ „на тронѣ добродѣтель съ ея привѣтливой красой“, то потому, что

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимнъ простой,
И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо русскаго народа.

Въ этихъ послѣднихъ стихахъ выразилось стремленіе двадцатилѣтняго поэта въ своемъ творчествѣ быть эхомъ народа, которому онъ и хотѣлъ служить, сознавъ крѣпкую нравственную связь съ нимъ черезъ отечество. Но, чуждаясь сухой чиновничьей службы, Пушкинъ нѣкоторое время все еще продолжалъ думать о военной, что̀ объясняется его кипучей натурой. Эта служба представлялась ему не въ блестящей обстановкѣ на парадахъ, а „въ грозной брани“. Ему какъ бы нужна была борьба, отъ избытка силъ, которыми одарена всякая геніальная натура, борьба, въ которой она крѣпнетъ и безъ которой вянетъ. Ее какъ бы искалъ поэтъ по чутью, и за неимѣніемъ никакой другой представлялъ ее въ войнѣ. Но и здѣсь онъ хочетъ остаться гражданиномъ и поэтомъ. Дѣло поэзіи онъ хочетъ соединить съ народнымъ дѣломъ и съ народной славой:

Питомецъ пламенной Беллоны,
У трона вѣрный гражданинъ,
Орловъ [1]), я стану подъ знамены
Твоихъ воинственныхъ дружинъ:
Въ шатрахъ, средь сѣчи, средь пожаровъ,
Съ мечемъ и лирой боевой,
Рубиться буду предъ тобой
И славу пѣть твоихъ ударовъ.

[1]) Генералъ М. Ф. Орловъ, который не совѣтовалъ Пушкину вступать въ военную службу въ мирное время. Пушкинъ въ посланіи къ нему соглашается съ нимъ, рѣшается отдаться поэтической жизни, «пѣть своихъ боговъ», но до тѣхъ поръ, пока «не возстанетъ съ одра покоя богъ мечей».

То же стремленіе найти корни для своей поэзіи въ общей жизни отечества видимъ и въ небольшомъ посланіи Чаадаеву:

Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души прекрасные порывы.
Товарищъ! вѣрь, взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья:
Россія вспрянетъ ото сна...

Зато горячо къ сердцу принималъ поэтъ и положеніе народа, о которомъ болѣе всего толковали въ либеральныхъ кружкахъ. Такъ въ 1819 году, отдыхая среди сельскаго уединенія отъ „роскошныхъ пировъ, забавъ и заблужденья“, онъ видитъ въ помѣщичьей обстановкѣ жизни „вездѣ слѣды довольства и труда“;

Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ
Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ
Другъ человѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца...
О, еслибъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?
Увижу-ль я, друзья, народъ не угнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли наконецъ прекрасная заря?

Но отзываясь полнымъ сердечнымъ сочувствіемъ на стремленія молодыхъ либеральныхъ кружковъ и настраивая свою творческую дѣятельность въ этомъ направленіи, Пушкинъ въ то же время былъ въ дружескихъ связяхъ и съ тѣмъ старшимъ поколѣніемъ, которое заявило себя еще до 1812 года. Тамъ привлекали его литературные таланты, развившіеся умы, основательное образованіе, серьезные взгляды на литературу, чего онъ пока не могъ находить въ своихъ молодыхъ сверстникахъ. Они составляли особый кружокъ и, увлекаясь общимъ направленіемъ, собирались въ извѣстные дни также для веселья. Такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ еще въ прежніе годы вели литературную борьбу съ Шишковымъ, предсѣдателемъ извѣстной „Бесѣды любителей русскаго слова“, то и теперь въ своихъ собраніяхъ они стали пародировать эту „Бесѣду“ подъ шутливымъ названіемъ арзамасскаго общества. Здѣсь были Жуковскій, Батюшковъ, Дашковъ, Блудовъ, Уваровъ, кн. Вяземскій и многіе другіе. Всѣ они забавляли другъ друга остроумными шутками и не задавались никакими особенными цѣлями. Арзамасцы привлекли къ себѣ и прибывшаго изъ Москвы Карамзина, который нашелъ въ нихъ самыхъ умныхъ людей. Пушкинъ еще въ лицеѣ былъ знакомъ съ нѣкоторыми изъ членовъ этого веселаго и шутливаго общества. Поселившись въ Петербургѣ, онъ былъ принятъ въ члены его подъ именемъ сверчка, и впослѣдствіи любилъ называть себя арзамасцемъ. Но ему удалось быть только въ одномъ и послѣднемъ его собраніи, осенью 1817 года.

Вотъ почему мы сомнѣваемся, что оно имѣло большое вліяніе на развитіе таланта Пушкина, какъ обыкновенно утверждаютъ его біографы. Да и вообще можно сказать, что литературѣ принесло пользу не самое общество, а умъ и талантъ каждаго члена въ отдѣльности. У общества не было никакого литературнаго органа, оно не проводило въ литературу никакой опредѣленной идеи, осмѣивало „Бесѣду“, уже прежде того осмѣянную, которая теперь не имѣла никакого вліянія на молодые таланты и была совершенно безвредна, а послѣ смерти Державина въ 1816 г. и совсѣмъ прекратила свои засѣданія. Вопросъ о литературномъ языкѣ, изъ-за котораго были споры съ Шишковымъ, уже прежде былъ совершенно исчерпанъ, а противъ устарѣвшихъ идей, которыя имѣли еще силу, можно было сражаться никакъ не шутливыми представленіями и эпиграммами въ кругу маленькаго общества, которое сходилось веселиться. Они собирались, пока было весело, беззаботно и безопасно, а когда имъ стали совѣтовать выбрать какую-нибудь серьезную цѣль, задаться какимъ-либо общественнымъ вопросомъ, они отказались отъ собраній, такъ какъ всѣ разсчитывали на карьеру въ государственной службѣ и, къ своей чести, оказались дѣйствительно полезными въ этой сферѣ дѣятельности, за что и можно ихъ помянуть добрымъ словомъ. Но зато большая часть изъ нихъ отстала отъ литературы.

На Пушкина имѣло вліяніе не общество, а нѣкоторыя изъ личностей, принадлежавшихъ къ обще-

ству, въ особенности Жуковскій и князь Вяземскій, который тогда только начиналъ свою дѣятельность остроумными стихотвореніями; умными же критическими статьями онъ заявилъ себя уже впослѣдствіи. Жуковскій привлекалъ Пушкина элегическимъ направленіемъ своей поэзіи, которое выражалось въ мелодическомъ стихѣ, но собственно нѣмецкій романтизмъ Жуковскаго не могъ нравиться молодому поэту, который искалъ поэзіи въ дѣйствительной жизни, а не въ заоблачныхъ мечтаніяхъ. Вообще представители молодого поколѣнія, рвавшагося къ политической дѣятельности, не удовлетворялись этой поэзіей, которая приходилась по душѣ людямъ, болѣе склоннымъ къ мистицизму. Такъ Рылѣевъ писалъ къ Пушкину, когда тотъ жилъ уже въ Михайловской деревнѣ: „Къ несчастію, вліяніе Жуковскаго было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопредѣленность и какая-то туманность, которыя въ немъ иногда даже прелестны, растлили многихъ и много зла надѣлали. Зачѣмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными переводами своими изъ Байрона, Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ“. Заслуга Жуковскаго, по мнѣнію этой литературной партіи, состояла въ томъ, что онъ имѣлъ рѣшительное вліяніе на стихотворный нашъ слогъ, за что̀ мы и должны остаться ему благодарными. То же призналъ въ Жуковскомъ и Пушкинъ еще прежде Рылѣева, въ 1818 году въ извѣстномъ четырехстишіи „Его стиховъ плѣнительная сла-

дость". Какъ бы то ни было, но нашъ молодой поэтъ всегда былъ привязанъ къ Жуковскому, какъ къ прекрасной личности, и изъ его общества всегда могъ выносить глубокое уваженіе къ искусству. Тѣ литературные вопросы, которые затрогивались въ собраніяхъ Жуковскаго, привлекавшихъ молодые таланты, могли воспитывать въ Пушкинѣ критическій взглядъ, не стѣсняя, впрочемъ, его самостоятельности. О немъ нельзя сказать, что имъ завладѣла какая-либо партія. Онъ также привязался и къ нѣкоторымъ талантливымъ и образованнымъ людямъ, которые не относились враждебно къ шишковской „Бесѣдѣ", находя въ ней не одну мертвечину, а и нѣчто жизненное. Таковы были Катенинъ, Оленинъ, въ общество которыхъ Пушкинъ приходилъ не спорить, а поучаться [1]). Такимъ образомъ умъ нашего поэта не впадалъ ни въ ту, ни въ другую крайность, а вслушиваясь въ тѣ и другія сужденія, вырабатывалъ себѣ ту самостоятельность, которая свойственна всякому генію. Замѣтимъ, что требованіе народности, правда, пока еще неясное, неопредѣленное, высказалось прежде всего въ шишковской партіи, и потомъ уже черезъ поэзію Пушкина болѣе опредѣлилось и сдѣлалось

[1]) Черезъ немного лѣтъ Пушкинъ измѣнилъ свой взглядъ на Катенина, какъ и на многихъ другихъ русскихъ писателей. Такъ въ 1822 году онъ писалъ князю Вяземскому: «Катенинъ опоздалъ родиться, и своимъ характеромъ и образомъ мыслей весь принадлежитъ XVIII столѣтію. Въ немъ та же авторская спесь, тѣ же литературныя сплетни и интриги, какъ и въ прославленный вѣкъ философіи» («Русск. Стар.» 1874 г. № 1).

вопросомъ искусства. Пушкинъ признавалъ и за Чаадаевымъ, изучавшимъ англійскую литературу, вліяніе на развитіе своей мысли, пріучавшейся углубляться въ предметъ.

Пользовался Пушкинъ и бесѣдами Карамзина, издававшаго въ то время свою исторію; но съ нимъ онъ уже не могъ сходиться во многихъ мнѣніяхъ. Карамзинъ стоялъ всецѣло на сторонѣ государственной силы, и съ нею одною соединялъ всѣ вопросы о благѣ отечества; другихъ силъ онъ не признавалъ въ общемъ народномъ развитіи, и не могъ сочувствовать стремленіямъ новаго поколѣнія, которое онъ называлъ либералистами. Его исторія и представляла только развитіе государственныхъ силъ Россіи и, понятно, должна была проглядѣть участіе другой силы, которая съ XVII столѣтія была совершенно подавлена и о которой напомнили новѣйшія событія, вызвавъ къ участію всѣ общественныя силы для спасенія отечества. Исторія государства россійскаго нисколько не удовлетворила либералистовъ, такъ какъ она не давала имъ опоры въ ихъ новыхъ стремленіяхъ. Какъ она была встрѣчена ими, объ этомъ свидѣтельствуетъ князь Вяземскій, одинъ изъ самыхъ либеральныхъ арзамасцевъ и державшійся въ сторонѣ отъ тѣхъ лицъ, которыхъ Карамзинъ называлъ либералистами. Въ 1836 г., уже совсѣмъ переставшій либеральничать, онъ составлялъ оффиціальное письмо министру Уварову, обвиняя въ дерзости и неблагонамѣренности молодого профессора Устрялова, который не съ должнымъ уваженіемъ отнесся къ исторіи Карамзина.

Это письмо читалъ и Пушкинъ и, по свидѣтельству князя Вяземскаго, отнесся къ нему съ одобреніемъ. Для насъ въ самомъ письмѣ интересно выраженіе того впечатлѣнія, какое произвела исторія Карамзина на читающую публику въ моментъ своего выхода. Только эти строки мы и приведемъ изъ него:

„Появленіе сей книги въ 1818 году было истиннымъ народнымъ торжествомъ и семейнымъ праздникомъ для Россіи. Россія, долго не знавшая славнаго родословія своего, въ первый разъ изъ книги сей узнала о себѣ, ознакомилась съ стариною своею, съ своими предками, получила книгою сею свою народную грамоту, освященную подвигами, жертвами, родною кровью, пролитою за независимость и достоинство имени своего... „Исторія государства россійскаго“ встрѣтила и противниковъ. Часть молодежи нашей, увлеченная вольнодумствомъ, политическимъ суемудріемъ современнымъ и легкомысліемъ, свойственнымъ возрасту своему, замышляла въ то время несбыточное преобразованіе Россіи. Съ чутьемъ вѣрнымъ и проницательнымъ, она тотчасъ оцѣнила важность книги, которая была событіе, и событіе, совершенно противодѣйствующее замысламъ ея. Книга Карамзина есть непреложное и сильное свидѣтельство въ пользу Россіи, каковою сдѣлало ее Провидѣніе, столѣтія, люди, событія и система управленія; а они хотѣли на развалинахъ сей Россіи воздвигнуть новую по образу и подобію своихъ мечтаній. Медлить было нечего. Колкіе отзывы, эпиграммы, критическія замѣчанія,

предосудительныя заключенія посыпались на книгу и на автора изъ среды потаеннаго судилища. Судіи не могли простить Карамзину, что онъ исторіографъ, слѣдовательно, по словамъ ихъ, наемникъ власти; что онъ монархическій писатель—слѣдовательно, запоздалый, не постигающій духа и потребностей времени (фразеологія тогдашняя, которая и нынѣ въ употребленіи [1]); они толковали, что Карамзинъ сбивается въ значеніи словъ, что онъ единодержавіе смѣшиваетъ съ самодержавіемъ и вслѣдствіе того ложно приписываетъ возраставшую силу Россіи началу самодержавія... Всѣ сіи обвиненія въ смыслѣ судей были основательны и раціональны... Вспомните еще, что Карамзинъ писалъ тогда исторію не совершенно въ духѣ государя, что, по странной перемѣнѣ въ роляхъ, писатель былъ въ нѣкоторой оппозиціи съ правительствомъ, являясь проповѣдникомъ самодержавія въ то время, когда правительство въ извѣстной рѣчи при открытіи перваго польскаго сейма въ Варшавѣ, такъ сказать, отрекалось отъ своего самодержавія. Соображая всѣ сіи обстоятельства, легко постигнуть, какъ досаденъ былъ Карамзинъ симъ молодымъ умамъ, алкавшимъ преобразованій и политическаго переворота...“

Впослѣдствіи Пушкинъ перемѣнилъ свой взглядъ на громадный трудъ Карамзина, понявъ, что въ то время нельзя было и написать другой исторіи, но въ моментъ выхода въ свѣтъ „Исторіи государства

[1]) Т.-е. въ 1836 году.

россійскаго" его симпатіи были на сторонѣ той части нашей молодежи, которая увлекалась, по словамъ князя Вяземскаго, вольнодумствомъ и политическимъ суемудріемъ. Къ этому времени, вѣроятно, относится эпиграмма Пушкина на Карамзина, о которой нашъ поэтъ говоритъ въ письмѣ кн. Вяземскому отъ 15 сентября 1825 г. „Что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? Довольно и одной, написанной мною въ то время, когда Карамзинъ меня отстранилъ отъ себя, глубоко оскорбивъ мое честолюбіе и сердечную къ нему приверженность" [1]). Одна изъ большихъ услугъ труда Карамзина заключается между прочимъ въ томъ, что благодаря ему всѣ мыслящіе русскіе люди стали задумываться надъ мыслью привести въ связь настоящую жизнь русскаго народа съ его отдаленнымъ прошедшимъ, когда яснѣе и безъ всякой примѣси выказывались основныя черты народнаго характера; даже недовольные исторіей Карамзина стали по-своему, какъ имъ болѣе нравилось, объяснять историческое развитіе русскаго народа для того, чтобы въ своихъ стремленіяхъ и дѣйствіяхъ укрѣпиться на какомъ-нибудь историческомъ основаніи. Совсѣмъ иначе относилось къ русской исторіи старѣйшее поколѣніе до того времени, когда Карамзинъ напечаталъ свой трудъ. Такъ, напримѣръ, наиболѣе видный, умный и образованный литераторъ Батюшковъ писалъ къ Гнѣдичу въ 1809 году: „Невозможно читать русской исторіи

[1]) «Русск. Арх.» 1874 г. № 1.

хладнокровно, т.-е. съ разсужденіемъ. Я сто разъ принимался—все напрасно. Она дѣлается интересною только со временъ Петра Великаго. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, которые роются въ этой пыли. Читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ и разумъ находитъ пищу. Читай исторію среднихъ вѣковъ — читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцевъ, читай набѣги половцевъ, татаръ, литвы и проч., и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій, или мелкій человѣкъ. Нѣтъ середины. Великій, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу; мелкій, ибо занимаешься пустяками... Отъ одного слова русское, некстати употребленнаго, у меня сердце не на мѣстѣ... Любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками и, что̀ еще болѣе, цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели выхваляютъ все старое. Повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жаркіе декламаторы не любили или не умѣютъ любить русской земли“ [1]).

Совсѣмъ не такъ стало относиться къ русской исторіи другое поколѣніе, представителемъ котораго явился Пушкинъ. Оно сознало необходимость изучать отечественную исторію для самой жизни. Пушкинъ, можетъ быть, лучше всѣхъ понялъ это, и вскорѣ сталъ связывать свою поэзію съ русской

[1]) «Русск. Стар.» 1871 г. февр.

исторіей для того, чтобы дать ей народное значеніе.

Въ то время наша литература далеко не выражала всего того, что̀ занимало, тревожило и волновало общество. Она была значительно ниже уровня общественнаго развитія. Строгость тогдашней цензуры доходила до безумія. Журналы были бѣдны умомъ, безцвѣтны, тощи. Только одинъ „Духъ журналовъ“ удачнѣе другихъ умѣлъ затрогивать разные общественные вопросы, проскользать черезъ цензуру и хоть нѣсколько отражать въ себѣ тѣ мысли, которыя свободно были въ ходу въ разныхъ кружкахъ столичныхъ обществъ, но и онъ въ 1819 году былъ наконецъ запрещенъ. Говорилось повсюду очень свободно, но печатались съ большимъ затрудненіемъ даже невинныя разсужденія. Это много способствовало развитію литературы рукописной, и отсюда страсть грамотныхъ людей къ каждому листочку, если онъ только названъ запрещеннымъ. Разумѣется, большихъ и дѣльныхъ сочиненій для такой литературы не писалось. Это были по большей части на̀скоро написанныя стихотворенія, гдѣ авторъ не считалъ нужнымъ сдерживать себя, и чѣмъ свободнѣе и откровеннѣе выражался, тѣмъ скорѣе могъ ожидать успѣха. Пушкинъ въ нача́лѣ былъ извѣстенъ больше въ этой литературѣ, чѣмъ въ печати. Смѣлыя выраженія въ легкихъ и живыхъ стихахъ быстро заучивались, повторялись, что̀ нравилось юному поэту и вызывало его на новые экспромпты. Распущенность въ поступкахъ и мысляхъ вытекала изъ бро-

женія самого общества, гдѣ было слишкомъ много праздности и слишкомъ мало дѣла, гдѣ не было никакой опредѣленной и ясно сознанной задачи, гдѣ очень много говорилось и повторялось идей не переработанныхъ, принятыхъ на вѣру изъ чужой литературы, считавшихся признакомъ современнаго европейскаго образованія. Пушкинъ, какъ видно, иногда утомлялся этой жизнью и въ свѣтлыя минуты сознавалъ, что его поэзіи нужна другая, болѣе высшая задача: идеальный образъ поэта все яснѣе являлся въ его фантазіи и наводилъ его на мысль, что не дѣло поэзіи льстить страстямъ праздной толпы и выражать впечатлѣнія распущенной жизни. Такъ, въ деревенскомъ уединеніи у него изъ души вылились стихи:

Я здѣсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденный,
Учуся въ истинѣ блаженство находить,
Свободною душой законъ боготворить,
Роптанье презирать толпы непросвѣщенной,
Участьемъ отвѣчать застѣнчивой мольбѣ
И не завидовать судьбѣ
Злодѣя иль глупца въ величіи неправомъ.
Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ,
Въ уединеньи величавомъ
Слышнѣе вашъ отважный гласъ;
Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
И ваши творческія думы
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.

Или въ стихотвореніи „Возрожденіе“ высказывается высокій артистъ, который въ минуты творчества какъ бы очищается отъ своихъ увлеченій и заблужденій:

Художникъ-варваръ кистью сонной
Картину генія чернитъ
И свой рисунокъ беззаконный
На ней безсмысленно чертитъ.
Но краски чуждыя съ лѣтами
Спадаютъ ветхой чешуей;
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденья,
Съ измученной души моей
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ чистыхъ дней.

Въ эти первые годы Пушкинъ трудился надъ Русланомъ и Людмилой, произведеніемъ, которое мы можемъ назвать пробою геніальныхъ его силъ, хотя и видимъ въ немъ не больше, какъ трудъ ученическій. Мысль прославиться какимъ-нибудь большимъ поэтическимъ произведеніемъ приходила къ нему, какъ мы видѣли, еще на школьной скамейкѣ, когда онъ задумалъ написать комедію „Философъ“; но онъ своимъ артистическимъ чутьемъ скоро нашелъ, что для комедіи ему недоставало знакомства съ жизнью, и онъ бросилъ этотъ трудъ, къ сожалѣнію своихъ товарищей. Новая романтическая поэзія, съ которою насъ знакомилъ Жуковскій, послужила ему образцомъ своимъ сказочнымъ содержаніемъ, переносившимъ воображеніе въ средневѣковой міръ. Это содержаніе связывало поэзію съ представленіями народной фантазіи и давало самой поэзіи названіе народной. Но въ стихахъ Жуковскаго она представляла чужую народность: нужно было укрѣпить ея корни въ русскомъ

мірѣ, и, конечно, обратиться за содержаніемъ къ русской сказкѣ и ко всѣмъ ея чудесамъ. Фантазія Пушкина уже была знакома съ дѣтства съ русскимъ сказочнымъ міромъ. Еще въ лицеѣ онъ вспомнилъ о разсказахъ своей „мамушки“:

Когда въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньѣ,
Она духовъ молитвой уклоня,
Съ усердіемъ перекреститъ меня
И шепотомъ разсказывать мнѣ станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы,--
Отъ ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша прижмусь подъ одѣяло,
Не чувствуя ни ногъ, ни головы;
Подъ образомъ простой ночникъ изъ глины
Чуть освѣщалъ глубокія морщины...
Все въ душу страхъ невольный поселяло...
Я трепеталъ, и тихо наконецъ
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой съ лазурной высоты,
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали.
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ:
Въ глуши лѣсовъ средь муромскихъ пустыней
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней—
И въ вымыслахъ носился юный умъ...

И вотъ теперь Пушкинъ переносится воображеніемъ въ сказочный міръ Владиміра Краснаго Солнышка, населяетъ его героями-витязями, волшебниками и волшебницами; его фантазія представляетъ борьбу между тѣми и другими; любовь, ненависть, гнѣвъ, мщеніе, борьбу добра со зломъ, присутствіе какихъ-то тайныхъ силъ въ жизни,

все это въ интересѣ романтизма, но все какъ будто отзывается русскимъ духомъ. Пропало только одно, въ чемъ высказывается народный духъ сказки, это — наивное отношеніе къ разсказываемому предмету, что впослѣдствіи тотъ же Пушкинъ умѣлъ такъ художественно сохранить, пересказывая русскія народныя сказки. Но здѣсь онъ не хотѣлъ ихъ только пересказывать, а думалъ создать произведеніе въ романтическомъ духѣ. И какъ поэтъ искренній, онъ не могъ скрыть своего дѣйствительнаго отношенія къ тому міру, который, по его взгляду, долженъ называться романтическимъ. Безъ всякой вѣры въ чудеса, онъ не могъ выказывать сердечнаго участія и къ судьбѣ героевъ и героинь своего разсказа: вмѣсто наивности народной сказки и чувствительности романтизма у него является шутливое отношеніе ко всѣмъ дѣйствіямъ лицъ съ постоянно веселымъ настроеніемъ духа. Въ этомъ случаѣ у него справедливо находятъ что-то общее съ Богдановичемъ, Лафонтеномъ, Аріостомъ; можетъ быть, онъ намѣренно даже и не подражалъ имъ; но не можетъ не напоминать ихъ всѣмъ тономъ своего разсказа. Такъ какъ романтическія произведенія новой литературы отступали отъ правилъ произведеній классическихъ, то и Пушкинъ видимо старался ввести въ свой разсказъ разныя вольности, и даже представлять разныя эротическія картины, которыя не согласовались съ тогдашними требованіями приличія: онъ какъ бы смѣялся надъ общественнымъ цѣломудріемъ и хотѣлъ заслужить имя нескромнаго или

вольнаго поэта. Изъ его разсказа вышла не болѣе какъ сказка, даже не поэмка, какъ называлъ ее Карамзинъ [1]), сказка веселая, игривая, въ которой видно юное перо весьма талантливое, но пока для небольшихъ описаній и разсказцевъ; въ ней только замѣтенъ будущій художникъ. Карамзинъ вѣрно охарактеризовалъ ее, сказавъ: „въ ней есть живость, легкость, остроуміе, вкусъ; только нѣтъ искуснаго расположенія частей, нѣтъ или мало интереса, все сметано на живую нитку“, или, другими словами, еще слишкомъ мало искусства въ обработкѣ цѣлаго. Но тѣмъ не менѣе попытка дать образецъ русскаго романтизма заслуживаетъ вниманія въ историческомъ и біографическомъ отношеніи. Правда, этотъ первый шагъ былъ шагъ ложный въ отыскиваніи новаго пути: здѣсь и народность, и романтизмъ не поняты въ своемъ настоящемъ значеніи. Но мы цѣнимъ самую мысль—ввести поэзію въ русскую сферу, мысль, которая впослѣдствіи выяснилась у поэта и обратилась въ плодовитое зерно, брошенное въ народную почву. Отсюда понятно, что въ нашей литературѣ возбудили споръ о классицизмѣ и романтизмѣ не дѣйствительныя романтическія произведенія, съ какими явился Жуковскій задолго до Пушкина, но сказка „Русланъ и Людмила“, принятая за поэму и подкупившая читателей съ эстетическимъ вкусомъ тѣми качествами, какія нашелъ въ ней и Карамзинъ. Въ ней почувствовали новую, живую силу, входящую въ

[1]) Письма къ Дмитріеву, стр. 290.

литературу [1]); но что это за сила, никто еще не могъ опредѣлить; связали ее съ романтизмомъ и вступили съ понятіями спутанными, не выработанными въ споръ между собою, спорили нѣсколько лѣтъ, пока геній Пушкина зрѣлъ въ борьбѣ съ жизнью подъ разнообразными впечатлѣніями, создавая новые образцы поэзіи уже не романтической, а художественно-народной.

Но Пушкинъ былъ вдали въ то время, когда начался споръ. Его постигла бѣда, прежде чѣмъ типографія успѣла выпустить въ свѣтъ его произведеніе. Какъ мы сказали, рукописная литература обогащалась его стихотвореніями: они были отзывомъ пылкаго поэта на волнующійся либерализмъ молодежи. Можетъ быть, онъ и не хотѣлъ ихъ широкаго распространенія; но это зависѣло уже не отъ него: они нравились, переписывались, заучивались, развозились изъ Петербурга по всей Россіи. „Не было грамотнаго прапорщика, замѣчаетъ кто-то въ своихъ запискахъ, который бы не зналъ запрещенныхъ стиховъ Пушкина“, хотя

[1]) Въ петербургскомъ литературномъ кружкѣ знали о поэмѣ прежде печати. Пушкинъ читалъ ее по частямъ. Съ нею близкіе ему люди соединяли даже особыя надежды. Такъ, А. И. Тургеневъ писалъ еще 25-го февраля 1820 г. Василію Львовичу Пушкину: «Племянникъ почти кончилъ свою поэму и на сихъ дняхъ я два раза читалъ ее. Пора въ печать. Я надѣюсь отъ печати и другой пользы, личной для него. Увидѣвъ себя въ числѣ напечатанныхъ и, слѣдовательно, уважаемыхъ авторовъ, онъ и самъ станетъ уважать себя и нѣсколько остепенится. Теперь его знаютъ только по мелкимъ стихамъ и крупнымъ шалостямъ».

собственно ихъ никто не запрещалъ, такъ какъ они даже и не назначались для цензуры; но всѣ понимали, что на нихъ долженъ быть запретъ для печати. Популярность Пушкина была такъ велика, что подъ его именемъ стало ходить по рукамъ много стиховъ, не принадлежавшихъ его перу. Императоръ Александръ I сказалъ Энгельгардту, что Пушкинъ наводнилъ всю Россію возмутительными стихами. Особенно казалась дерзкою „Ода на вольность", которая, впрочемъ, отзывается искусственнымъ жаромъ и не чужда нѣкоторой напыщенности; но въ ней много такихъ выраженій, которыя должны были нравиться тогдашнимъ либераламъ. Въ виду всего этого полиція стала брать рѣшительныя мѣры. Пушкинъ поспѣшилъ истребить въ своей квартирѣ всѣ листки, къ которымъ можно было придраться; но въ то же время удивилъ самого генералъ-губернатора Милорадовича своимъ прямымъ и спокойнымъ отношеніемъ къ власти, когда на допросѣ самъ вызвался написать всѣ свои непечатные стихи, названные возмутительными, чтобы съ ними не смѣшивали тѣхъ, которые ему не принадлежали. Такой поступокъ показался губернатору рыцарскимъ и понравился самому императору; но тѣмъ не менѣе поэту грозила большая бѣда. „Надъ здѣшнимъ поэтомъ Пушкинымъ, писалъ тогда Карамзинъ къ Дмитріеву, если не туча, то по крайней мѣрѣ облако, и громоносное: служа подъ знаменами либералистовъ, онъ написалъ и распустилъ стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. и проч.

Это узнала полиція.... Хотя я уже давно, истощивъ всѣ способы образумить эту безпутную голову, предалъ несчастнаго року и Немезидѣ, однакожъ, изъ жалости къ таланту, замолвилъ слово, взявъ съ него обѣщаніе уняться. Не знаю, что̀ будетъ. Мнѣ уже поздно учиться сердцу человѣческому: иначе я могъ бы похвалиться новымъ удостовѣреніемъ, что либерализмъ нашихъ молодыхъ людей совсѣмъ не есть геройство и великодушіе".

Эта безпутная голова вызвала участіе не въ одномъ Карамзинѣ. Въ ней многіе чувствовали силу, которой нельзя было дать погибнуть: нужно было спасать ее; а ей грозила отдаленная ссылка; между другими мѣстами называли даже Соловецкій монастырь. За него просилъ Жуковскій, который имѣлъ тогда значеніе при дворѣ, просилъ Энгельгардтъ, просили другіе, и участь его была значительно смягчена: рѣшено было удалить его изъ Петербурга, переведя или, лучше, перечисливъ его на службу въ Екатеринославль въ канцелярію генерала Инзова, попечителя колонистовъ южнаго края. „Пушкина простили, извѣщалъ Карамзинъ того же Дмитріева, за эпиграммы и за оду на вольность... Я просилъ о немъ изъ жалости къ таланту и молодости: авось будетъ разсудительнѣе; по крайней мѣрѣ далъ мнѣ слово на два года" [1]).

5-го мая 1820 года нашъ поэтъ оставилъ Пе-

[1]) Въ другомъ письмѣ Карамзинъ замѣтилъ: «Если Пушкинъ и теперь не исправится, то будетъ чортомъ еще до отбытія своего въ адъ».

тербургъ, везя съ собою рекомендательное письмо къ своему новому начальнику отъ извѣстнаго графа Каподистріи, который также принималъ живое участіе въ спасеніи Пушкина и который имѣлъ силу въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Такимъ образомъ, къ счастью нашего поэта и къ нашему собственному, надъ нимъ какъ бы витали геніи-хранители и спасали его отъ гибельной судьбы, къ которой его влекла бурная кровь.

Ровно черезъ мѣсяцъ уже на Кавказѣ Пушкинъ написалъ въ эпилогѣ къ „Руслану и Людмилѣ“:

Міра житель равнодушный,
На лонѣ праздной тишины,
Я славилъ лирою послушной
Преданья темной старины.
Я пѣлъ и забывалъ обиды
Слѣпого счастья и враговъ,
Измѣны вѣтреной Дориды [1])
И сплетни шумныя [2]) глупцовъ.
На крыльяхъ вымысла носимый,
Ужъ улеталъ за край земной,
И между тѣмъ грозы незримой
Сбиралась туча надо мной.
Я погибалъ... Святой хранитель
Первоначальныхъ бурныхъ дней,
О, дружба, нѣжный утѣшитель
Болѣзненной души моей!
Ты умолила непогоду,

[1]) Къ этому времени относятся два стихотворенія «Дорида» одно изъ нихъ подражаніе Ан. Шенье.

[2]) Разносился слухъ, будто онъ былъ позванъ въ тайную канцелярію и высѣченъ, что̀ приводило его въ крайнее негодованіе.

Ты сердцу возратила миръ,
Ты сохранила мнѣ свободу,
Кипящей младости кумиръ.

На третій годъ своей ссылки Пушкинъ снова вспомнилъ этотъ моментъ своей жизни въ такихъ стихахъ:

Когда средь оргій жизни шумной
Меня постигнулъ остракизмъ,
Увидѣлъ я толпы безумной
Презрѣнный, робкій эгоизмъ;
Безъ слезъ оставилъ я съ досадой
Вѣнки пировъ и блескъ Аѳинъ;
Но голосъ твой мнѣ былъ отрадой,
Великодушный гражданинъ.

Съ этими словами онъ отнесся къ недавно умершему поэту Ѳед. Глинкѣ, который также принималъ участіе въ его судьбѣ; но великодушными гражданами могли назваться и еще нѣсколько лицъ, которыя спасли намъ геніальнаго поэта.

V.

На югѣ.

Много счастливыхъ случайностей являлось въ жизни Пушкина. Онѣ выводили изъ затрудненій и даже спасали его отъ гибели въ самыя критическія минуты. Поэтическая фантазія могла бы видѣть въ нихъ тайныхъ добрыхъ геніевъ, которые охраняли его отъ злобнаго духа, стремившагося овладѣть

имъ. Двѣ такихъ случайности, какъ бы нарочно придуманныя какимъ-либо могущественнымъ другомъ, представились Пушкину въ Екатеринославлѣ. Одна заключалась въ самой личности генерала Инзова, человѣка образованнаго, мягкаго, уважавшаго личность каждаго и понимавшаго требованія молодой натуры. Благодаря этому послѣднему обстоятельству, имя его переходитъ въ потомство. Какъ генерала-попечителя южныхъ колоній, никто бы и не зналъ о немъ, но какъ человѣка, умѣвшаго сохранить намъ Пушкина, его узнали и будутъ знать всѣ. Будь на его мѣстѣ другой генералъ съ тѣми генеральскими наклонностями, съ какими являлись большинство русскихъ генераловъ, и можно сказать навѣрно, что не уцѣлѣть бы нашему Пушкину. Инзову даже не нужно было много времени, чтобы вникнуть въ тяжелое положеніе молодого человѣка, присланнаго къ нему подъ надзоръ за вредное вольнодумство. Онъ сразу угадалъ, какъ можно помочь юношѣ, виноватому за свою черезчуръ горячую кровь. Не распространяясь объ этомъ достойномъ человѣкѣ, мы только приведемъ коротенькое его письмо, въ которомъ высказывается прекрасная его душа: „Разстроенное его (Пушкина) здоровье въ столь молодыя лѣта и непріятное положеніе, въ какомъ онъ по молодости находится, требовали, съ одной стороны, помощи, а съ другой—безвредной разсѣянности, а потому отпустилъ я его съ генераломъ Раевскимъ... Я надѣюсь, что за сіе меня не побранятъ и не назовутъ баловствомъ: онъ малый, право, добрый, жаль только, что скоро кончилъ

курсъ наукъ; одна ученая скорлупа останется навсегда скорлупою“ [1]).

Нѣчто подобное высказалъ и Батюшковъ въ одномъ письмѣ: „Сверчокъ что̀ дѣлаетъ? Не худо бы его запереть въ Гетингенѣ и кормить года три молочнымъ супомъ и логикою. Изъ него ничего не будетъ путнаго, если онъ самъ не захочетъ. Потомство не отличитъ его отъ двухъ его однофамильцевъ, если онъ забудетъ, что для поэта и человѣка должно быть потомство. Какъ ни великъ талантъ Сверчка, онъ его промотаетъ, если... Но да спасутъ его музы и молитвы наши“ [2]).

Черезъ какія-нибудь шесть лѣтъ Пушкинъ самъ подтвердилъ сожалѣніе добраго Инзова, конечно, не зная о немъ. Въ своей запискѣ о русскомъ воспитаніи, написанной по вызову императора Николая Павловича, онъ писалъ по собственнымъ наблюденіямъ и опыту: „Въ другихъ земляхъ молодой человѣкъ кончаетъ курсъ ученія около 25 лѣтъ; у насъ онъ торопится вступить какъ можно скорѣе въ службу, ибо ему необходимо 30-ти лѣтъ быть полковникомъ или коллежскимъ совѣтникомъ. Онъ входитъ въ свѣтъ безъ всякихъ основательныхъ познаній, безъ всякихъ положительныхъ правилъ: всякая мысль для него нова, всякая новость имѣетъ для него вліяніе. Онъ не въ состояніи ни повѣрять, ни возражать; онъ становится слѣпымъ приверженцемъ или жалкимъ повторителемъ перваго това-

---

[1]) «Русскій Архивъ» 1863 г.

[2]) «Русскій Архивъ» 1867 г., стр. 1534.

рища, который захочетъ оказать надъ нимъ свое превосходство или сдѣлать изъ него свое орудіе... Должно увлечь все юношество въ общественныя заведенія... должно его тамъ удержать, дать ему время перекипѣть, обогатиться познаніемъ, созрѣть въ тишинѣ училищъ, а не въ шумной праздности казармъ“ [1]).

Сожалѣніе Инзова имѣло тотъ же смыслъ: онъ посмотрѣлъ на Пушкина, какъ на юношу, который не успѣлъ перекипѣть подъ вліяніемъ науки, и слишкомъ рано вступилъ въ шумную и праздную жизнь. Отчасти помочь этому заботливый генералъ нашелъ средство въ путешествіи, въ живыхъ впечатлѣніяхъ отъ такой природы, какъ Кавказъ и Крымъ, и взялъ на свою отвѣтственность отпускъ своего молодого чиновника. Въ Петербургѣ посмотрѣли на это благосклонно, пославъ поэту въ пособіе тысячу рублей.

Другою счастливою случайностью былъ проѣздъ генерала Раевскаго черезъ Екатеринославль вскорѣ послѣ пріѣзда туда Пушкина. Молодые офицеры, сыновья генерала, были знакомы съ поэтомъ; все семейство приняло въ немъ участіе, тѣмъ болѣе, что въ то время онъ страдалъ лихорадкою; все сложилось такъ, что Пушкинъ безъ всякаго затрудненія отправился странствовать по Кавказу. Это обстоятельство было двойнымъ для него счастіемъ: во-первыхъ, его недовольному, встревоженному, больному духу нужны были совсѣмъ новыя и силь-

[1]) Девятнадцатый вѣкъ. Бартенева. Часть II.

ныя впечатлѣнія; во-вторыхъ, вліяніе самаго семейства генерала было для него благотворно и успокоительно. Самъ генералъ, прославившійся въ отечественную войну, былъ изъ тѣхъ екатерининскихъ баръ, которые умѣли держать себя самостоятельно и съ достоинствомъ передъ всякою силою; его сыновья и двѣ дочери, молодыя, хорошо образованныя дѣвушки, воспитаны были въ такомъ же духѣ. „Счастливѣйшія минуты жизни моей провелъ я посреди семейства почтеннаго Раевскаго, писалъ Пушкинъ къ брату. Я не видалъ въ немъ героя, славу русскаго войска, я въ немъ любилъ человѣка съ яснымъ умомъ, съ простой прекрасной душою, снисходительнаго, попечительнаго, друга, всегда милаго, ласковаго хозяина. Свидѣтель екатерининскаго вѣка, памятникъ 12-го года, человѣкъ безъ предразсудковъ, съ сильнымъ характеромъ и чувствительный, онъ невольно привяжетъ къ себѣ всякаго, кто только достоинъ понимать и цѣнить его высокія качества... Всѣ его дочери прелесть, старшая—женщина необыкновенная. Суди, былъ ли я счастливъ: свободная, безпечная жизнь въ кругу милаго семейства, жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображеніе, горы, сады, море...“

Это признаніе самого Пушкина дѣлаетъ ненужными всѣ другія разсужденія. Бесѣды съ бывалымъ генераломъ, конечно, были серьезны и поучительны для юноши. Особенно онъ сошелся съ старшимъ сыномъ его, Александромъ Николаевичемъ, оказав-

шимся потомъ въ связи съ декабристами, и судя по восторженному о немъ отзыву поэта, что, „можетъ быть, ему предназначено управлять ходомъ весьма важныхъ событій и что онъ будетъ болѣе нежели извѣстенъ“, можно заключить, какіе были между ними разговоры. Съ нимъ Пушкинъ могъ спокойно вникать въ политическіе вопросы, волновавшіе Европу, и вдумываться въ нихъ безъ страстныхъ увлеченій. Тутъ были хладнокровныя разсужденія, и не было мѣста фантазіи. Впечатлѣнія, быстро смѣняясь одни другими, не успѣвали превращаться въ поэтическіе образы. Вотъ почему за все время его путешествія мы знаемъ очень немного плодовъ его фантазіи. Въ эпилогѣ къ „Руслану и Людмилѣ“ онъ говоритъ:

Забытый свѣтомъ и молвою,
Далече отъ береговъ Невы,
Теперь я вижу предъ собою
Кавказа гордыя главы,
Надъ ихъ вершинами крутыми,
На скатѣ каменныхъ стремнинъ,
Питаюсь чувствами нѣмыми
И чудной прелестью картинъ
Природы дикой и угрюмой.
Душа, какъ прежде, каждый часъ
Полна томительною думой,
Но огнь поэзіи погасъ.
Ищу напрасно впечатлѣній!
Она прошла, пора стиховъ,
Пора сердечныхъ вдохновеній!
Восторговъ краткій день протекъ —
И скрылась отъ меня навѣкъ
Богиня тихихъ пѣснопѣній.

Наконецъ, въ виду крымскихъ береговъ на кораблѣ какъ будто вылилась изъ его души горечь чувства, которое накипало отъ всего прошедшаго. У него уже были воспоминанія, которыя томили душу, отъ которыхъ нельзя было отдѣлаться; жизнь является какъ угрюмый океанъ, видится отдаленный берегъ, тамъ, кажется, волшебные края полуденной земли:

Съ волненьемъ и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньемъ упоенный...
И чувствую, въ очахъ родились слезы вновь,
Душа кипитъ и замираетъ...
Лети, корабль, неси меня къ предѣламъ дальнимъ
По грозной прихоти обманчивыхъ морей,
Но только не къ брегамъ печальнымъ
Туманной родины моей,
Страны, гдѣ пламенемъ страстей
Впервые чувства разгорались,
Гдѣ музы нѣжныя мнѣ тайно улыбались,
Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла
Моя потерянная младость,
Гдѣ легкокрылая мнѣ измѣнила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новыхъ впечатлѣній,
Я васъ бѣжалъ, отечески края,
Я васъ бѣжалъ, питомцы наслажденій,
Минутной младости минутные друзья...

Вся эта природа и состояніе собственной души настраивали Пушкина на тонъ Бейрона, съ которымъ онъ сталъ въ это время знакомиться, благодаря дѣвицамъ Раевскимъ. Вотъ еще значеніе этого семейства въ жизни Пушкина. Здѣсь онъ получилъ возможность усовершенствовать себя въ англійскомъ

языкѣ, съ которымъ до того былъ недостаточно знакомъ. Здѣсь его спутницы начали читать съ нимъ Байрона и, надо сказать, что въ тотъ моментъ его жизни ни одинъ поэтъ такъ близко не могъ подойти къ настроенію души Пушкина, какъ Байронъ. Въ немъ онъ нашелъ прекрасное выраженіе своего собственнаго духа, недовольнаго самимъ собою, усталаго, неудовлетвореннаго жизнью, отъ которой ожидалось что-то лучшее, въ то же время непокорнаго, гордаго, способнаго на всякую борьбу. Неудивительно, что нашъ поэтъ, самъ больной душею, пристрастился къ геніальному поэту больного вѣка, и, питаясь его поэзіей, усиливалъ свое собственное настроеніе, особенно, когда ему пришлось разстаться съ семействомъ Раевскихъ и очутиться, какъ онъ выразился въ письмѣ къ брату, „одному посреди пустынной для него Молдавіи“, т.-е. въ Кишиневѣ, куда голосъ петербургскихъ его пріятелей рѣдко доходилъ до него: „до моей пустыни не доходитъ ни одинъ дружескій голосъ, писалъ онъ: друзья мои какъ нарочно рѣшились оправдать элегическую мою мизантропію“.

Въ переселеніи генерала Инзова со всей канцеляріей изъ Екатеринославля въ Кишиневъ мы также видимъ счастливую случайность для Пушкина. Нѣтъ сомнѣнія, что въ провинціальномъ захолустьѣ его пылкой натурѣ, требовавшей новыхъ впечатлѣній, не выдержать бы той пустоты и однообразія, какія онъ нашелъ бы въ Екатеринославлѣ. Если и въ Кишиневѣ на первыхъ порахъ ему показалось какъ въ пустынѣ, то все же онъ нашелъ тамъ то, чего

не далъ бы ему ни одинъ губернскій городъ въ Россіи [1]). Полуазіатскій характеръ города, нѣкоторая распущенность нравовъ высшаго молдавскаго общества, стремленіе къ веселой жизни съ претензіями на европейское просвѣщеніе,—все это могло нѣкоторое время занимать Пушкина. Жизнь его за эти три почти года дѣлится на нѣсколько маленькихъ періодовъ: то въ Кишиневѣ, то въ Кіевской губерніи въ деревнѣ Каменкѣ у Раевскихъ, то въ

---

[1]) Вотъ какъ описывается Кишиневъ за то время по воспоминаніямъ Вельтмана: „За восемь лѣтъ передъ тѣмъ присоединенная къ Россіи Бессарабская область въ 1820 году имѣла свой центръ, свою административную столицу—Кишиневъ, который далеко не живописно раскинулся по берегамъ рѣки Быка съ своими кривыми, узкими улицами, низенькими домиками, крытыми черепицей, и грязненькими лавченками. Но бѣдность и неправильность архитектуры, отсутствіе заботы о городской чистотѣ нѣсколько смягчались южною природою, не обдѣлившею Кишиневъ своими дарами. На кривыхъ кишиневскихъ улицахъ то и дѣло виднѣлись роскошные южные гиганты — пирамидальные тополи и южная весенняя красавица—бѣлая акація. За городомъ шли виноградники, покрывая собою идущіе уступами холмы А тамъ немного подальше, на плоской возвышенности, мало-по-малу выростали новенькіе домики, похожіе на тѣ, которые стояли у рѣчки. Это выросталъ новый городъ, новый, правильный, молодой Кишиневъ. Выше всѣхъ поднялся большой домъ вице-губернатора Крупянскаго; въ немъ помѣстился театръ, въ новомъ городѣ начались театральныя представленія... Населеніе города представляло невообразимую пестроту—смѣсь востока и запада съ преобладаніемъ востока: армяне и греки съ ихъ характерными носами, турки въ неизмѣнныхъ красныхъ фескахъ съ чубуками въ рукахъ, цыгане въ пестрыхъ хламидахъ, жиды, нѣмцы, французы, итальянцы...» («Вѣстн. Евр.», 1881 г., мартъ).

Одессѣ, то наконецъ въ странствіи по Бессарабіи до турецкой границы. Каждый изъ этихъ періодовъ давалъ ему свои особенныя впечатлѣнія, что̀ совершенно соотвѣтствовало потребностямъ его натуры и что̀ выразилось и въ его поэзіи. Крайне нервная натура требовала постоянной и кипучей дѣятельности; а между тѣмъ цѣли, съ которой бы связывалась жизнь, пока еще никакой не выработалось. Генералъ Инзовъ не занималъ его службой, хорошо понимая, что поэтъ созданъ не для такой работы. Вдали отъ литературныхъ центровъ онъ не могъ отдаться и литературѣ, чтобъ сдѣлаться литераторомъ, полнымъ представителемъ общественныхъ интересовъ. Поэзія, какъ работа фантазіи надъ испытанными впечатлѣніями, могла наполнять только нѣкоторыя минуты его жизни. Что̀ же оставалось ему? Вотъ такое-то общество, гдѣ у каждаго душа была на распашку, гдѣ не было ни свѣтской утонченности, ни жеманства, которыхъ не выносилъ Пушкинъ, и давало дѣятельность этой нервной натурѣ, правда, дѣятельность безцѣльную, но она все же занимала его и наполняла его праздное время. Ему нужно было на что-нибудь направлять этотъ избытокъ страстныхъ силъ, когда въ жилахъ кипѣла бурливая кровь. Того успокоивающаго вліянія, какое онъ находилъ въ семействѣ Раевскихъ, здѣсь не было; а, напротивъ, все были люди, которые вызывали его страсти, подталкивали на приключенія, затрогивали самолюбіе или тщеславіе, или другія слабости. И вотъ правнукъ негра является готовымъ на все; каждое впечатлѣніе за-

жигаетъ его кровь, и часто онъ не можетъ самъ съ собою справиться. Этимъ объясняются всѣ разсказы объ его кишиневской жизни, всѣ выходки и шалости, столкновенія и ссоры, о которыхъ мы не будемъ разсказывать. Конечно, молдаванскимъ боярамъ цѣнить поэтическій даръ Пушкина было не подъ силу. „Пушкинъ, по замѣчанію Вельтмана, въ ихъ глазахъ стоялъ выше обыкновеннаго свѣтскаго человѣка только потому, что они его считали принадлежащимъ къ свитѣ намѣстника. Впослѣдствіи же онъ пріобрѣлъ между ними извѣстность, благодаря своей живой натурѣ, острому уму, отъ котораго довольно сильно доставалось на ихъ долю, а отчасти также и благодаря нѣкоторымъ странностямъ своей внѣшности. Кромѣ страннаго костюма, о которомъ упоминаютъ біографы Пушкина, онъ носилъ длиннѣйшіе ногти... Но вся сила его популярности лежала, конечно, въ ѣдкихъ остротахъ; онъ былъ извѣстенъ какъ авторъ злѣйшихъ эпиграммъ на всѣхъ и на все; надъ всѣми онъ смѣялся, все поддѣвалъ колко, мѣтко, оригинально. Несмотря на то, что онъ бросалъ эти эпиграммы въ разговоры, какъ будто только по одной привычкѣ, память молодецки ихъ ловила на лету и носилась съ ними по городу“ [1]). Близкій къ нему человѣкъ, Липранди [2]), такимъ образомъ говоритъ о немъ: „Сколько я понималъ Пушкина, то я ду-

---

[1]) «Вѣстн. Евр.», 1881 г., мартъ.

[2]) Дневникъ и воспоминанія Липранди. «Русскій Архивъ». 1866 г.

малъ видѣть въ немъ всегда готоваго покутить за стаканами, точно такъ же, какъ принимать участіе въ карточной игрѣ, не будучи особенно пристрастнымъ ни къ тому, ни къ другому. Одинаково и во всѣхъ другихъ общественныхъ случаяхъ, во всемъ онъ увлекался своею пылкостью: тамъ, гдѣ танцовали, онъ отъ всей души предавался пляскѣ, гдѣ былъ легкій разговоръ, онъ былъ неистощимъ въ остротахъ; съ жаромъ вступалъ въ разговоръ, особенно, гдѣ дѣло шло о поэзіи... Самолюбіе его было безъ предѣловъ: онъ ни въ чемъ не хотѣлъ отставать отъ другихъ; словомъ, вездѣ и во всемъ обнаруживалась африканская кровь его. Я зналъ Александра Сергѣевича вспыльчивымъ иногда до изступленія; но въ минуту опасности, словомъ, когда онъ становился лицомъ къ лицу со смертью, когда человѣкъ обнаруживаетъ себя вполнѣ, Пушкинъ обладалъ въ высшей степени невозмутимостью при полномъ сознаніи своей запальчивости, виновности, но не выражалъ ее. Когда дѣло доходило до барьера, къ нему онъ являлся холоднымъ, какъ левъ... Подобной натуры, какъ у Пушкина въ такихъ случаяхъ, я встрѣчалъ очень немного. Эти двѣ крайности въ той степени, какъ онѣ соединились у Александра Сергѣевича, должны быть чрезвычайно рѣдки. Къ сему должно еще присоединить, что первый взрывъ его горячности не былъ недоступенъ до его разсудка... Онъ всегда восхищался подвигомъ, въ которомъ жизнь ставилась, какъ онъ выражался, на карту. Онъ съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ разсказы о военныхъ

эпизодахъ; лицо его краснѣло и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самоотверженія, глаза его блистали, и вдругъ часто онъ задумывался"...

Въ Кишиневѣ у Пушкина было нѣсколько дуэлей [1]), на которыя онъ самъ напрашивался въ порывѣ вспышки, часто изъ-за пустяковъ. Пріятели иногда успѣвали примирять противниковъ; но для этого нужно было прежде убѣдить Пушкина, что онъ не будетъ смѣшонъ и не покажется трусомъ. Этого мнѣнія онъ боялся болѣе всего и хотя бы былъ убѣжденъ въ своей винѣ и радъ бы былъ какъ-нибудь выпутаться изъ непріятной исторіи, но не отказывался отъ вызова. Иногда онъ бранилъ свою арабскую кровь и въ то же время готовился къ дуэли, отказаться отъ которой даже съ честью вполнѣ отъ него зависѣло. Въ этомъ случаѣ онъ хорошо отразился въ своемъ „Евгеніи Онѣгинѣ" и въ „Сильвіо" (разсказъ „Выстрѣлъ) [2]). Генералу Инзову, въ домѣ котораго жилъ Пушкинъ, стоило также не мало хлопотъ смирять запальчиваго поэта и разводить его съ противниками, не употребляя строгой начальнической власти. Онъ терпѣливо выносилъ всѣ выходки Пушкина и только иногда прибѣгалъ къ какому-нибудь короткому домашнему аресту или къ непродолжитель-

[1]) Мѣсто всѣхъ кишиневскихъ дуэлей было верстахъ въ двухъ отъ города, называемое Малина, среди холмовъ, покрытое виноградниками и фруктовыми деревьями.

[2]) Говорятъ даже, что случай съ черешнями подъ выстрѣломъ противника былъ съ нимъ самимъ.

ному удаленію изъ города подъ видомъ незначительной служебной командировки. Не думалъ, конечно, добрый генералъ, что отечество посмотритъ на такое снисходительное отношеніе къ проказамъ поэта какъ на заслугу.

Любовныя увлеченія составляли также содержаніе жизни Пушкина за это время; но они были непродолжительны и отличались болѣе чувственнымъ характеромъ. Еще въ 1818 г. онъ говорилъ о себѣ:

Я—повѣса вѣчно праздный,
Потомокъ негровъ безобразный,
Взращенный въ дикой простотѣ,
Любви не вѣдая страданій,
Я нравлюсь юной красотѣ
Безстыднымъ бѣшенствомъ желаній...

Съ любовью иногда соединялись и ревнивыя мечты, которыя также легко переходили въ страсть, хотя и кратковременную. Все это отражалось въ его поэзіи, но съ пріемами вполнѣ артистическими. Въ минуты самыхъ впечатлѣній Пушкинъ высказывался только въ экспромптахъ и эпиграммахъ [1]),

[1]) Вотъ одна изъ эпиграммъ, описывающая кишиневскихъ дамъ:

Раззѣвавшись отъ обѣдни,
Къ Катакази ѣду въ домъ.
Что за греческія бредни,
Что за греческій содомъ.
Подогнувъ подъ платье ноги,
За вареньемъ средь прохладъ,
Какъ египетскіе боги,
Дамы прѣютъ и молчатъ.

отличающихся остротою ума и чуждыхъ поэзіи; но для того чтобы сдѣлаться содержаніемъ лирическаго произведенія, нужно было имъ перейти въ творческую фантазію, очиститься отъ всего лишняго, посторонняго, крайняго, иногда африканскаго, найти прекрасный образъ съ общечеловѣческимъ характеромъ, словомъ, обратиться въ поэзію чувства. Такъ работала артистическая душа Пушкина, и отсюда понятно, какіе цвѣты поэзіи создавались изъ его впечатлѣній, чувствъ и страстей. Конечно, онъ и самъ не могъ бы объяснить намъ, какой процессъ совершался въ его душѣ, когда его впечатлѣніе переходило въ прекрасные образы. Онъ ясно сознавалъ ихъ уже въ готовомъ видѣ и, какъ истинный артистъ, давалъ имъ особенную жизнь, отдѣляя отъ своей души и наслаждаясь ихъ красотою. Отсюда какое-то услаждающее спокойствіе даже при выраженіи самыхъ живыхъ и страстныхъ чувствъ, что̀ подмѣтилъ и Бѣлинскій, говоря о лирикѣ Пушкина. Но уступая своей нервной натурѣ и поддаваясь всѣмъ соблазнамъ окружающей распущенной жизни, Пушкинъ не могъ не чувствовать и пустоты ея. Для геніальной души тутъ слишкомъ мало было умственной

Или другая:

Проклятый городъ Кишиневъ,
Тебя бранить языкъ устанетъ,
Когда-нибудь на грѣшный кровъ
Твоихъ запачканныхъ домовъ
Небесный громъ конечно грянетъ
И не найду твоихъ слѣдовъ.....

пищи, которая просвѣтляетъ ее; не было тѣхъ задачъ жизни, какихъ она ищетъ уже по самой своей натурѣ, и отсюда, конечно, и недовольство собою, и грустный отпечатокъ среди кажущагося веселья, и новое стремленіе подавить это чувство хоть натянутою шуткою, хоть остротою, хоть насильнымъ смѣхомъ, наконецъ, одушевленіе въ разговорѣ, если въ немъ блеснетъ хоть какая-нибудь дѣльная мысль. Вотъ какимъ въ первый разъ представился Пушкинъ въ Кишиневѣ В. П. Горчакову, прибывшему на время въ этотъ городъ. „Былъ въ театрѣ. Обратилъ мое вниманіе молодой человѣкъ, небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, съ быстрымъ и наблюдательнымъ взоромъ, необыкновенно живой въ своихъ пріемахъ, часто смѣющійся въ избыткѣ непринужденной веселости и вдругъ неожиданно переходящій къ думѣ, возбуждающей участіе. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выраженіе думы до того было увлекательно, что невольно хотѣлось бы спросить: что̀ съ тобою, какая грусть мрачитъ твою душу... Пробираясь между стульевъ со всею ловкостью и изысканною вѣжливостью свѣтскаго человѣка, онъ остановился передъ какою-то дамою... мрачность его исчезла, ее смѣнилъ звонкій смѣхъ, соединенный съ непрерывною рѣчью. Онъ безпрерывно краснѣлъ и смѣялся“ [1]).

Другой знакомый Пушкина записалъ о немъ слѣдующее: „Въ обществѣ Пушкинъ былъ до чрез-

[1]) «Русскій Архивъ» 1866 г. Пушкинъ въ южной Россіи.

вычайности неловокъ и при своей раздражительности легко обижался какимъ-нибудь словомъ, въ которомъ рѣшительно не было ничего обиднаго. Иногда онъ корчилъ лихача, вѣроятно, вспоминая Каверина и другихъ своихъ пріятелей-гусаровъ. При этомъ онъ разсказывалъ про себя самые отчаянные анекдоты, и все вмѣстѣ выходило какъ-то пошло. Зато когда заходилъ разговоръ о чемъ-нибудь дѣльномъ, Пушкинъ тотчасъ просвѣтлялся. О произведеніяхъ словесности онъ судилъ дѣльно и съ особеннымъ какимъ-то достоинствомъ. Не говоря почти никогда о собственныхъ сочиненіяхъ, онъ любилъ разбирать произведенія современныхъ поэтовъ и не только отдавалъ каждому изъ нихъ справедливость, но въ каждомъ умѣлъ отыскать красоты, какихъ другіе не замѣтили".

При такомъ томительномъ состояніи, заглушаемомъ шумной, безпорядочной жизнью, при избыткѣ силъ, Пушкинъ радъ былъ, когда заговорили о возстаніи грековъ противъ турецкаго гнета, когда въ Кишиневѣ стали являться бѣглецы изъ предѣловъ Турціи и еще болѣе оживлять этотъ городъ, когда стали возлагать надежду на помощь Россіи и ожидать войны. Пушкинъ вспомнилъ свое обѣщаніе вступить въ ряды воиновъ въ военное время, чтобы „рубиться и пѣть славу ударовъ". Представлялось прекрасное дѣло — помогать угнетеннымъ и имѣть достойное содержаніе для поэзіи [1]).

[1]) Въ это время онъ писалъ въ Одессу къ Серг. Ив. Тургеневу (секретарю при русскомъ посольствѣ въ Турціи): «если

Поэту нужны были впечатлѣнія новыя и болѣе сильныя, что̀ доказывается его стихотвореніемъ „Война“:

Увижу кровь, увижу праздникъ мести!
Засвищетъ вкругъ меня губительный свинецъ...
И сколько сильныхъ впечатлѣній
Для жаждущей души моей...
Предметы гордыхъ пѣснопѣній
Разбудятъ мой уснувшій геній.
Родишься-ль ты во мнѣ, слѣпая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирѣпый жаръ героевъ?
Вѣнокъ ли мнѣ двойной достанется на часть,
Кончину-ль темную сулитъ мнѣ жребій боевъ,
И все умретъ со мной: надежды юныхъ дней,
Священный сердца жаръ, къ высокому стремленье,
И мыслей творческихъ напрасное волненье,
Ужель ни бранный шумъ,
Ни ратные труды, ни ропотъ гордой славы,
Ничто не заглушитъ моихъ привычныхъ думъ?
Я таю, жертва злой отравы:
Покой бѣжитъ меня: нѣтъ власти надъ собой,
И тягостная лѣнь душою овладѣла!..

Но войны не дождался Пушкинъ: пришлось только выслушивать разсказы кишиневскихъ го-

---

есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня въ Бессарабіи». Здѣсь же онъ поздравляетъ Тургенева «съ благополучнымъ прибытіемъ изъ Турціи чужой въ Турцію родную». Съ радостью пріѣхалъ бы я въ Одессу, прибавляетъ онъ, побесѣдовать съ вами и подышать чистымъ воздухомъ, но я самъ въ карантинѣ и смотритель Инзовъ не выпускаетъ меня, какъ зараженнаго какой-то либеральною чумою. Скоро ли увидите вы Сѣверный Стамбулъ (Петербургъ)?

стей, покидавшихъ свою родину послѣ неудачныхъ схватокъ. Но все это не оживило души поэта.

Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты!
Остались мнѣ одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Подъ бурями судьбы жестокой
Увялъ цвѣтущій мой вѣнецъ!
Живу печальный, одинокій,
И жду: придетъ ли мой конецъ!

Вотъ въ какомъ состояніи была его душа въ то время, какъ въ обществѣ онъ казался то веселымъ, то задорнымъ, съ рѣзкими мнѣніями и сужденіями, которыя въ наше время назвали бы нигилистическими. Въ числѣ новыхъ его пріятелей, по большей части людей военныхъ, изъ 16-й дивизіи, расположенной въ Бессарабіи, и нѣкоторыхъ чиновъ генеральнаго штаба, были люди весьма образованные и дѣльные, цвѣтъ русской арміи, впослѣдствіи сдѣлавшіеся жертвами политическаго увлеченія. Мысль подготовить и направить возбужденныя общественныя силы не оставляла ихъ и, какъ мы уже видѣли прежде, встрѣчала въ Пушкинѣ полное сочувствіе. Но Пушкинской натурѣ было нужно и дѣло, на которое онъ могъ бы направить свои силы. Правда, и на дѣло наталкивало его это общество: изъ бесѣдъ, споровъ и разговоровъ съ этими людьми Пушкинъ убѣждался, что ему недостаетъ многаго, чтобы стать наравнѣ съ вѣкомъ въ просвѣщеніи, какъ онъ выразился въ посланіи къ Чаадаеву, что ему нужно заняться

очень дѣятельно собственнымъ образованіемъ. При такомъ сознаніи для всякой другой натуры нашлось бы чѣмъ наполнить все свое время и занять всѣ свои силы. Но усидчивость, отвлеченный трудъ ума, продолжительное уединеніе и постоянное спокойствіе духа были не въ натурѣ Пушкина. Урывками онъ отдавался и чтенію, и желанію обогатить себя научными свѣдѣніями, въ особенности историческими, и, благодаря своей памяти и сильному уму, могъ въ немного времени пріобрѣтать себѣ многое; но ему трудно было устроить правильныя занятія и послѣдовательно схватить все нужное, чтобъ „въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ“. Ему было бы трудно даже приняться за эту работу, если бы у него и явилась страсть къ ней и онъ захотѣлъ бы преодолѣть свою нервную, подвижную натуру. Онъ былъ въ томъ положеніи, въ какомъ впослѣдствіи изобразилъ своего Онѣгина, когда тому въ деревенской глуши вздумалось просвѣщать себя книгами. Безпорядочное чтеніе можетъ передать много отрывочныхъ познаній, но не поставитъ въ просвѣщеніи наравнѣ съ вѣкомъ. Такимъ способомъ въ то время у насъ и пріобрѣталось просвѣщеніе, и о Пушкинѣ можно сказать, что поставить себя наравнѣ съ русскимъ просвѣщеніемъ ему не нужно было много времени. Но трудность между прочимъ заключалась и въ томъ, что на окраинѣ русскаго государства нельзя было достать и необходимыхъ книгъ. Если въ Одессѣ было трудно найти русскую книгу, такъ какъ Одесса, по шутливому выраженію Пушкина,

городъ европейскій, то тѣмъ болѣе невозможно было что-нибудь имѣть въ Кишиневѣ, который только недавно былъ присоединенъ къ имперіи. И мы знаемъ, сколько разъ приходилось писать Пушкину въ Петербургъ объ одной и той же книгѣ, чтобы ее выслали ему: братъ или друзья его не очень торопились способствовать просвѣтительнымъ стремленіямъ поэта. Какъ бы то ни было, но Пушкинъ сталъ сознавать недостатокъ своего образованія, и у него были дни, когда онъ сосредоточивался на умственномъ трудѣ. Подъ впечатлѣніемъ этихъ спокойныхъ дней онъ и описывалъ свою жизнь Чаадаеву:

Сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину.
Въ уединеніи мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій.
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ дружен умъ,
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ,
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.

Душа Пушкина особенно лежала къ селу Каменкѣ, Кіевской губерніи, гдѣ жили Раевскіе и Давыдовы, ихъ родственники, и гдѣ онъ какъ бы отдыхалъ душою. Подъ вліяніемъ этого общества въ Пушкинѣ поддерживался тотъ свободный духъ вѣка, противъ котораго успѣли наконецъ настроить и либеральнаго императора Александра. Фантазія нашего поэта стала разрабатывать образъ баснословнаго новгородца Вадима, думая выразить въ

немъ идеалъ вольнолюбиваго героя. Этотъ образъ въ то время былъ любимымъ у нашихъ либеральныхъ стихотворцевъ, которые охотно обращались къ древнему Новгороду и Пскову, чтобы напомнить о прежней славянской свободѣ. Такъ, по свидѣтельству Липранди, Пушкинъ, читая рукописное стихотвореніе своего пріятеля В. Ф. Раевскаго „Пѣвецъ въ темницѣ", замѣтилъ, что тотъ упорно хочетъ брать все изъ русской исторіи, что и тутъ онъ нашелъ возможность упомянуть о Новгородѣ и Псковѣ, о Марѳѣ посадницѣ и Вадимѣ. Въ это время Рылѣевъ, подражая польскому поэту Нѣмцевичу, сталъ писать историческія думы, стараясь выразить въ нихъ идеалъ народной доблести. Въ числѣ первыхъ написанъ имъ Вадимъ:

Несмотря на хладъ убійственный
Согражданъ къ правамъ своимъ,
Ихъ отъ бѣдъ спасти насильственно
Хочетъ пламенный Вадимъ.
До какого насъ безславія
Довели вражды гражданъ;
Насылаетъ Скандинавія
Властелиновъ для славянъ.

Пушкинъ также замышлялъ писать и трагедію и поэму съ именемъ Вадима, но ограничился только отрывками и скоро все бросилъ, потому что, какъ справедливо замѣчаетъ г. Анненковъ, ни исторія, ни преданія никакихъ дѣльныхъ матеріаловъ для того не приготовили, а Пушкинъ не могъ долго обращаться съ подобными элементами производства, какъ выдумка и подлогъ.

Въ Каменкѣ Пушкинъ встрѣтился съ декабристомъ Якушкинымъ (въ 1821 г.), членомъ только-что прекратившагося передъ этимъ тайнаго общества въ Москвѣ „Союза Благоденствія“. Якушкинъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ, что въ послѣдній вечеръ его пребыванія въ Каменкѣ возникъ вопросъ: насколько было бы полезно учрежденіе тайнаго общества въ Россіи. Орловъ высказалъ все, что̀ можно было сказать за и противъ тайнаго общества. Пушкинъ съ жаромъ доказывалъ пользу, какую бы могло принести тайное общество въ Россіи... Раевскій исчислилъ всѣ случаи, въ которыхъ тайное общество могло бы дѣйствовать съ успѣхомъ и пользой. Весь разговоръ окончился шуткой. Всѣ смѣялись. Только Пушкинъ былъ очень взволнованъ. Онъ ожидалъ, что общество тутъ же получитъ свое начало и онъ будетъ его членомъ; но когда увидѣлъ, что изъ того вышла только шутка, онъ подошелъ къ Якушкину, раскраснѣвшись, и сказалъ: „Я никогда не былъ такъ несчастливъ, какъ теперь; я уже видѣлъ жизнь свою облагороженною и высокую цѣль передъ собой, и все это была только злая шутка“.

Зная, что Пушкинъ еще и прежде хотѣлъ соединить свою поэзію съ какимъ-либо важнымъ общественнымъ дѣломъ, мы можемъ повѣрить этому разсказу Якушкина. Подъ впечатлѣніемъ разговоровъ и бесѣдъ, онъ увлекался и въ горячности готовъ былъ на многое. Впрочемъ, революціонный духъ тайныхъ союзовъ развился у насъ впослѣдствіи, когда государственныя силы въ лицѣ

Магницкаго, Рунича и другихъ стали подавлять даже то просвѣщеніе, которымъ передъ этимъ императоръ хотѣлъ возвысить и облагородить русскую жизнь. Тогда былъ сдѣланъ рѣзкій шагъ; представители возбужденныхъ общественныхъ силъ не сообразили тѣхъ предѣловъ, въ какихъ они могутъ требовать себѣ правъ на общественную дѣятельность, и какъ люди военные перешли эти предѣлы и думали дѣло общественное обратить въ дѣло полковое, военное, стали разсуждать о насильственныхъ перемѣнахъ, замышлять заговоры. По опытамъ и примѣрамъ прошедшаго столѣтія все это казалось такъ легко; но никому не приходило въ голову, что смыслъ всего движенія былъ совсѣмъ не тотъ, что̀ въ дворцовыхъ переворотахъ восемнадцатаго столѣтія. Ошибка была важная, за которую и пришлось потомъ очень тяжело поплатиться не только участникамъ этого дѣла, но и всему послѣдующему поколѣнію, для котораго медленно подготовлялись потери и страданія разгрома Крымской войны.

Не пришлось Пушкину вступить въ тайное общество, которое вскорѣ вновь составилось, но уже тогда, когда онъ былъ далекъ отъ центровъ революціоннаго стремленія. Зато онъ вступилъ въ кишиневскую масонскую ложу, куда его привлекъ, конечно, не масонскій духъ. „За эту ложу, писалъ онъ въ 1826 г. къ Жуковскому вскорѣ послѣ 14-го декабря, были уничтожены въ Россіи всѣ ложи“. А о всѣхъ ихъ писалъ къ самому императору еще въ 1821 году генералъ Кушелевъ,

управлявшій масонскою ложею Астрея: „духъ своеволія, буйства и совершеннаго безначалія, а не духъ кротости христіанской и истинныхъ правилъ масонскихъ, смиренія въ нихъ дѣйствуютъ; только „великая ложа святого князя Владиміра къ порядку пресѣкаетъ всякаго рода своеволія, несовмѣстныя съ образомъ россійскаго правленія“ [1]). Вотъ что̀ могло привлечь и Пушкина въ масонскую ложу.

Но несмотря на горячее сочувствіе, высказанное тайному союзу въ Каменкѣ, несмотря на духъ своеволія масонской ложи, Пушкинъ не противорѣчилъ себѣ впослѣдствіи, когда утверждалъ, что онъ всегда былъ противъ насильственныхъ военныхъ переворотовъ и кровавыхъ революцій. Въ спокойныя минуты, при хладнокровной работѣ ума, онъ часто доходилъ до другихъ убѣжденій, которыя противорѣчили его вспышкамъ. Намъ извѣстенъ фактъ, гдѣ онъ представляется даже очень благоразумнымъ и осторожнымъ.

Въ 1822 году былъ арестованъ и заключенъ въ Тираспольскую крѣпость маіоръ В. Ф. Раевскій, хорошій пріятель Пушкина, по обвиненію въ либерализмѣ съ солдатами. Черезъ полтора года, проѣзжая по Бессарабіи, Пушкинъ остановился въ Тирасполѣ и отказался видѣться съ заключеннымъ Раевскимъ, несмотря на то, что такое предложеніе было ему сдѣлано самимъ корпуснымъ командиромъ Сабанеевымъ. Всякій другой даже и осто-

[1]) «Русская Старина» 1877 г., № 3.

рожный человѣкъ не затруднился бы воспользоваться случаемъ повидаться съ пріятелемъ, но Пушкина остановила мысль, что объ этомъ свиданіи могутъ донести въ Петербургъ, гдѣ посмотрятъ на него неблагосклонно. Боялся ли Пушкинъ повредить Раевскому, или себѣ, во всякомъ случаѣ тутъ выказывается много осторожности и сообразительности. Такія противорѣчія въ Пушкинѣ проявлялись часто. „Въ дружескомъ обращеніи, писалъ онъ самъ въ это время къ брату, я предаюсь рѣзкимъ и необдуманнымъ сужденіямъ“. Въ это же время религіозное вольнодумство Пушкина на словахъ перешло въ глумленіе и кощунственность, поддерживаемыя нѣкоторыми изъ его молодыхъ пріятелей, которымъ все это нравилось. Плодомъ такого настроенія ума былъ переиначенный разсказъ въ стихахъ изъ библейской исторіи, который ходилъ по рукамъ и переписывался. Благодаря ему, въ нѣкоторыхъ кругахъ Пушкинъ прослылъ за самаго развращеннаго человѣка, а между тѣмъ этотъ самый разсказъ въ непродолжительномъ времени тяжело легъ на его совѣсть, и онъ дорого бы заплатилъ, если бы было возможно уничтожить его. Въ отрывочныхъ его запискахъ за это время мы встрѣчаемъ такое французское выраженіе: «Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y réfuse“ [1]) (по чувству я матеріалистъ, но мой разсудокъ противится этому). Въ 1830 году Пушкинъ, говоря о Байронѣ, видимо, имѣлъ въ виду и свое собствен-

[1]) «Библіограф. Записки» 1859 г., ст. 129.

ное оправданіе, печатая такія строки: „Какъ судить о свойствахъ и образѣ мыслей человѣка по наружнымъ его дѣйствіямъ? Онъ можетъ по произволу надѣвать на себя произвольную личину порочности, какъ и добродѣтели. Часто по какому либо своенравному убѣжденію ума своего онъ можетъ выставлять на позоръ толпѣ не самую лучшую сторону своего нравственнаго бытія; часто можетъ бросать пыль въ глаза черни однѣми своими странностями. Анекдотъ объ отрубленномъ хвостѣ Алкивіадовой собаки всѣмъ извѣстенъ; странныя поговорки, прыжки и увертки Суворова въ живой еще памяти у всѣхъ русскихъ".

Такимъ образомъ о Пушкинѣ можно сказать, что онъ выставлялъ на показъ толпѣ не самую лучшую сторону своего нравственнаго бытія, по своенравному убѣжденію ума. Это была прихоть генія обращать на себя вниманіе противорѣчіями съ общепринятымъ. Это была насмѣшка надъ узкимъ нравственнымъ идеаломъ людей, сковывающихъ всякое свободное движеніе. Это были страстные порывы своенравной личности къ безграничной свободѣ, которую она и беретъ на свою отвѣтственность. Но это же самое впослѣдствіи довело Пушкина до убѣжденія въ безполезности идти въ рѣзкій разладъ съ людьми, потому что они дѣлаютъ вашу судьбу, а не наоборотъ.

Петербургскіе пріятели Пушкина, а потомъ и нѣкоторые его біографы, приписывали всѣ странности его вліянію Байрона. Нѣтъ сомнѣнія, что поэзія Байрона имѣла вліяніе на его творчество;

но что касается его поступковъ, то они прямо вытекали изъ тревожнаго состоянія его духа. Онъ чувствовалъ разладъ въ своей душѣ, чувствовалъ то ложное положеніе, въ какое поставленъ ссылкою, отчасти сознавалъ, что и самъ не былъ правъ, не могъ примириться съ той жизнью, въ какой долженъ былъ вращаться не по собственной волѣ, и вотъ, какъ бы на зло всѣмъ, онъ хочетъ жить своей особенной жизнью, не обращая вниманія на людскія требованія. Онъ и безъ Байрона былъ бы такимъ. Онъ даже составляетъ теоретически правила, какъ нужно вести себя съ людьми, хотя въ жизни для его натуры эти правила были бы менѣе всего практичны; но ему казалось, что онъ выводитъ ихъ изъ опытовъ собственной жизни. Правда, въ нихъ немножко отзывается байронизмъ, или, лучше сказать, то, что̀ впослѣдствіи такъ типически выразилось въ Лермонтовскомъ Печоринѣ; но здѣсь главное не намѣренное подражаніе Байрону или, какъ выразился Рылѣевъ въ одномъ письмѣ, не корченье Байрона, а то нѣсколько озлобленное состояніе духа, которое находило себѣ родство въ байронизмѣ. Эти правила Пушкинъ нашелъ нужнымъ передать своему младшему брату, который тогда только вступалъ въ жизнь. „Твое поведеніе должно надолго опредѣлить твою репутацію и, можетъ быть, твое счастіе“,—писалъ онъ въ 1822 г. и этими словами какъ бы осудилъ самого себя за то, что не такъ относился къ людямъ, какъ нужно бы было по его настоящей теоріи. „Ты будешь имѣть дѣло съ людьми, кото-

рыхъ еще не знаешь; начинай всегда съ того, что предполагай въ нихъ всевозможное зло. Ты ошибешься не намного... Презирай ихъ какъ можно вѣжливѣе; это средство оградитъ тебя отъ маленькихъ предразсудковъ и маленькихъ страстей, которые поразятъ тебя при вступленіи въ свѣтъ. Будь холоденъ со всѣми. Фамильярность всегда вредитъ: особенно опасайся допускать ее съ твоими начальниками, какъ бы ни была велика ихъ предупредительность. Они очень скоро опередятъ тебя и будутъ очень рады унизить тебя въ такое время, когда меньше всего этого ожидаешь. Избѣгай маленькихъ угожденій, не допускай излишней уступчивости, на какую можешь быть способенъ: люди не поймутъ ее и охотно примутъ за низость, всегда готовые судить о другихъ по самимъ себѣ. Не принимай никогда благодѣяній. Благодѣяніе большею частью бываетъ коварствомъ. Избѣгай протекціи, потому что она подчиняетъ и унижаетъ... Не забывай никогда умышленной обиды... Если твое состояніе или обстоятельства не позволятъ тебѣ блистать, не старайся скрывать своихъ лишеній, а скорѣе давай видъ, что держишься противоположной крайности: цинизмъ во всей его наготѣ имѣетъ вліяніе на легкомысленность мнѣнія, тогда какъ маленькія плутни тщеславія сдѣлаютъ тебя смѣшнымъ и презрительнымъ. Никогда не занимай, лучше терпи нужду; повѣрь, что она не такъ ужасна, какъ ее себѣ представляешь и особенно— не такъ, какъ убѣжденіе въ возможности видѣть

себя безчестнымъ или быть принятымъ за такового. Эти правила, которыя тебѣ предлагаю, почерпнуты мною изъ собственнаго тяжелаго опыта. Да примешь ты ихъ безъ принужденія. Они могутъ спасти тебя отъ дней страданія и бѣшенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповѣдь. Она будетъ тяжка моему самолюбію; но это не остановитъ меня, когда дѣло коснется счастія твоей жизни [1]).

Зная прямоту и чистую душу Пушкина, мы не рѣшаемся подозрѣвать, что онъ хотѣлъ рисоваться передъ братомъ своими страданіями: но по его послѣднимъ строкамъ можемъ догадываться, какую внутреннюю борьбу выносилъ молодой человѣкъ отъ уязвляемой гордости, отъ бѣдности среди роскоши. Отсюда дѣлаются понятнѣе и тѣ выходки и странности, которыми онъ хотѣлъ поставить себя въ исключительное положеніе съ цѣлью прикрыться отъ положенія унизительнаго, котораго онъ не могъ выносить.

Отдыхать отъ всего этого Пушкинъ иногда удалялся въ степь, бродилъ съ цыганскимъ таборомъ, доходилъ до Дуная, искалъ новыхъ впечатлѣній: историческія имена, остатки древности

---

[1]) «Библіографич. Записки», т. I, стр. 8. Замѣчательно, что въ то же время Пушкинъ посылалъ брату и практическіе совѣты, въ которыхъ отражается наблюденіе надъ жизнью: «въ русской службѣ должно непремѣнно быть въ 26 лѣтъ полковникомъ, если хочешь быть чѣмъ-нибудь когда-нибудь. Тебѣ скажутъ: учись, служба не пропадетъ, а я тебѣ говорю: служи—ученье не пропадетъ. Чтеніе есть лучшее ученіе».

дѣйствовали на его фантазію, которая и возсоздала тѣ или другіе образы. Умъ его былъ постоянно въ дѣятельности. Такъ, въ началѣ своей поѣздки на Кавказъ онъ писалъ замѣчанія о черноморскихъ и донскихъ казакахъ, которыя, впрочемъ, не сохранились; подъѣзжая къ Керчи, онъ мечталъ увидѣть гробъ Митридата, слѣды Понтикапеи; Кіевъ воскресилъ въ его фантазіи Вѣщаго Олега, въ Бессарабіи онъ искалъ слѣдовъ столицы буджацкихъ хановъ; „онъ не допускалъ и мысли, чтобы могло все исчезнуть, говоритъ Липранди въ своихъ воспоминаніяхъ [1]); ему все грезились развалины дворцовъ и фонтановъ; точно такъ же въ Бендерахъ разыскивалъ онъ могилу Мазепы и какія-либо о немъ преданія, досадовалъ, что никто тамъ не зналъ даже этого имени:

И тщетно тамъ пришлецъ унылый
Искалъ бы гетманской могилы,

написалъ впослѣдствіи поэтъ въ эпилогѣ къ Полтавѣ. Но особенно занимало его мѣсто ссылки поэта Овидія Назона. Фантазія его привязалась къ этому имени, которое встрѣчаемъ и въ его стихотвореніяхъ и въ письмахъ къ друзьямъ. Считая себя изгнанникомъ, онъ роднился съ нимъ въ общей судьбѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы гордился этимъ сходствомъ:

Сія пустынная страна
Священна для души поэта,
Она Державинымъ воспѣта

---

[1]) «Русскій Архивъ» 1866, № 20.

И славой русскою полна.
Еще донынѣ тѣнь Назона
Дунайскихъ ищетъ береговъ;
Она летитъ на сладкій зовъ
Питомцевъ музъ и Аполлона.
И съ нею часто при лунѣ
Брожу вдоль берега крутого...

Въ стихотвореніи „Къ Овидію“ нашъ поэтъ излилъ свою душу и такъ былъ имъ доволенъ, что съ гордостью писалъ къ брату: „каковы стихи къ Овидію? и Русланъ, и Плѣнникъ, и все дрянь въ сравненіи съ ними“. Это показываетъ, какъ занимала его мнимая связь съ римскимъ поэтомъ.

Какъ часто увлеченъ унылыхъ струнъ игрою,
Я сердцемъ слѣдовалъ, Овидій, за тобою...
Изгнанникъ самовольный,
И свѣтомъ, и собой, и жизнью недовольный,
Съ душой задумчивой, я нынѣ посѣтилъ
Страну, гдѣ грустный вѣкъ ты нѣкогда влачилъ,
Здѣсь ожививъ тобой мечты воображенья,
Я повторилъ твои, Овидій, пѣснопѣнья
И ихъ печальныя картины повѣрялъ...
Увы, среди толпы затерянный пѣвецъ,
Безвѣстенъ буду я для новыхъ поколѣній,
И, жертва темная, умретъ мой слабый геній
Съ печальной жизнію, съ минутною мольбой...
Какъ ты, враждующей покорствуя судьбѣ,
Не славой — участью я равенъ былъ тебѣ...

Сомнѣніе въ самомъ себѣ, въ своемъ геніи рѣдко овладѣвало душою поэта; тѣмъ болѣе эти минуты были для него тяжелыми. Пушкинъ и не подозрѣвалъ, что геній его выше того, кто за во-

семнадцать столѣтій страдалъ на Дунайскихъ берегахъ за какія-то любовныя интриги; не останавливался на мысли, что причина его собственной ссылки имѣетъ болѣе историческаго значенія, возбуждаетъ къ себѣ большее сочувствіе, чѣмъ любовное увлеченіе. Онъ только страдалъ, связывая свою мысль съ воспоминаніемъ о родной странѣ и объ оставленныхъ друзьяхъ, и, какъ артистъ, нашелъ выраженіе своей души въ образѣ, прославленномъ исторіей. Вотъ отчего онъ такъ привязался къ тѣни Овидія, соединяя мечтанія съ дѣйствительностью:

Если обо мнѣ потомокъ поздній мой,
Узнавъ, придетъ искать въ странѣ сей отдаленной
Близъ праха славнаго мой слѣдъ уединенный,
Береговъ забвенія оставя хладну сѣнь,
Къ нему слетитъ моя признательная тѣнь
И будетъ мило мнѣ его воспоминанье.
Да сохранится же завѣтное преданье!
Скитался я въ тѣ дни, какъ на брега Дуная
Великодушный грекъ свободу вызывалъ,
И ни единый другъ мнѣ въ мірѣ не внималъ...

И здѣсь любовь къ славѣ, обычная страсть генія, не оставляла нашего поэта.

Другой историческій образъ, оживленный фантазіей Пушкина въ это же время, имѣетъ для насъ особенное значеніе, какъ голосъ русскаго поэта въ судѣ надъ лицомъ, связаннымъ съ недавней европейской исторіей. Извѣстіе о смерти Наполеона I въ 1821 г. оживило въ творческой душѣ поэта всѣ моменты жизни этой геніальной лич-

ности, связанной съ исторіей передового народа, и въ немъ вспыхнулъ настоящій, истинный, человѣколюбивый патріотизмъ, до котораго прежде никто не возвышался: отъ него просвѣтлѣла душа поэта, и онъ, въ качествѣ безпристрастнаго потомка, какъ геніальный представитель того народа, который храбро отстоялъ собственными силами свободу свою и другихъ народовъ, могъ произнести самый честный приговоръ:

Надменный! кто тебя подвигнулъ?
Кто обуялъ твой дивный умъ?
Какъ сердца русскихъ не постигнулъ
Ты съ высоты отважныхъ думъ?
Великодушнаго пожара
Не предузнавъ, ужъ ты мечталъ,
Что мира вновь мы ждемъ какъ дара,
Но поздно русскихъ разгадалъ...

Причиненное Россіи зло было только временное. Тирану отплачены до послѣдней всѣ обиды. Фантазія поэта живо, трогательно представляетъ этого замученнаго льва въ клѣткѣ:

Искуплены его стяжанья
И зло воинственныхъ чудесъ
Тоскою душнаго изгнанья
Подъ сѣнью чуждою небесъ...
Гдѣ, устремивъ на волны очи,
Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей,
И льдистый ужасъ полуночи,
И небо Франціи своей;
Гдѣ иногда въ своей пустынѣ,
Забывъ войну, потомство, тронъ,
Одинъ, одинъ о миломъ сынѣ
Въ уныньи горько думалъ онъ.

Не достаточно ли этой земной казни для тирана? Повторитъ ли потомство проклятія современниковъ? Нѣтъ, русскій поэтъ взываетъ къ примиренію. Онъ хочетъ возвысить народный патріотизмъ не ненавистью и злобою, которымъ въ свое время была причина, а прекраснымъ чувствомъ освободителя народовъ:

Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь!
Хвала!.. Онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ...

Поэту кажется, что новое порабощеніе народовъ невозможно, благодаря жертвамъ, принесеннымъ русскимъ народомъ. Этотъ стихъ Пушкина можно назвать истинно вдохновленнымъ, и вылился онъ прямо изъ русской души, неспособной долго ненавидѣть за зло и склонной мириться съ человѣкомъ ради его несчастія, хотя бы и заслуженнаго. Такими произведеніями Пушкинъ начинаетъ выполнять то назначеніе поэта, которое при самомъ началѣ его поприща представлялось ему еще неясно, какъ бы по предчувствію,—назначеніе соединить поэзію съ общенародною жизнью, возвысить ее до общественной силы, которая бы вносила въ народное сознаніе лучшія чувства и стремленія. Человѣчность и уваженіе взаимной свободы должны соединять всѣ народы и очистить

патріотизмъ отъ грубыхъ вспышекъ и своекорыстныхъ разсчетовъ — какая другая мысль можетъ быть достойнѣе поэзіи.

Образъ Наполеона и потомъ нѣсколько разъ возникалъ въ фантазіи Пушкина и всегда въ лучшемъ человѣческомъ видѣ, или какъ страдалецъ за свои вины передъ человѣчествомъ, или какъ герой среди страдающихъ:

Одна скала, гробница славы...
Тамъ погружались въ хладный сонъ
Воспоминанья величавы,
Тамъ угасалъ Наполеонъ!
Тамъ онъ почилъ среди мученій... (1824)

—

Нѣтъ, не у счастія на лонѣ
Его я вижу, не въ бою,
Не зятемъ кесаря на тронѣ,
Не тамъ, гдѣ на скалу свою
Сѣвъ, мучимъ казнію покоя,
Осмѣянъ прозвищемъ героя,
Онъ угасаетъ недвижимъ,
Плащемъ закрывшись боевымъ!
Не та картина предо мною:
Одровъ я вижу длинный строй,
Лежитъ на каждомъ трупъ живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болѣзней. Онъ
Не бранной смертью окруженъ,
Нахмурясь, ходитъ межъ одрами
И хладно руку жметъ чумѣ
И въ погибающемъ умѣ
Рождаетъ бодрость. Небесами
Клянусь: кто жизнію своей
Игралъ предъ сумрачнымъ недугомъ
Чтобъ ободрить угасшій взоръ,

Клянусь, тотъ будетъ небу другомъ,
Каковъ бы ни былъ приговоръ
Земли слѣпой! (1830 г.)

Задумывался Пушкинъ и надъ новой русской исторіей, выясняя себѣ ходъ ея. По свидѣтельству Липранди, историческія его познанія составляли самую слабую сторону его образованія, что̀ онъ чувствовалъ самъ и старался исправить этотъ недостатокъ чтеніемъ. Но относительно нашего XVIII вѣка у него былъ значительный запасъ разныхъ разсказовъ, которые онъ слышалъ съ дѣтства по преданію или вычитывалъ изъ рукописныхъ записокъ. Другіе же источники никому не были открыты, значитъ, при своей памяти Пушкинъ могъ похвалиться передъ многими своимъ знакомствомъ съ анекдотической нашей исторіей прошедшаго столѣтія. А при способности поэта извлекать общія или типическія черты изъ подробностей и дѣлать обобщенія, онъ довольно живо очерчивалъ характеръ стараго времени, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ту среду, изъ которой вышелъ самъ и его современники. Въ этихъ историческихъ разсужденіяхъ подготовлялся матеріалъ для будущихъ трудовъ нашего поэта, въ которыхъ послѣдовала связь поэзіи съ русскою жизнью, что̀ составляетъ существенную заслугу Пушкина. Тутъ онъ впервые начинаетъ говорить о Петрѣ Великомъ, образъ котораго впослѣдствіи такъ идеально выработался въ его фантазіи. „По смерти Петра I, говоритъ онъ, движеніе, переданное сильнымъ человѣкомъ, все еще продолжалось въ огромныхъ составахъ государства преобразован-

наго. Связи древняго порядка вещей были прерваны навѣки, воспоминанія старины мало-по-малу исчезали. Народъ, упорнымъ постоянствомъ удержавъ бороду и русскій кафтанъ, доволенъ былъ своею побѣдою и смотрѣлъ уже равнодушно на нѣмецкій образъ жизни обритыхъ своихъ бояръ. Новое поколѣніе, воспитанное подъ вліяніемъ европейскимъ, часъ отъ часу болѣе привыкало къ выгодамъ просвѣщенія... Наслѣдники сѣвернаго исполина, изумленные блескомъ его величія, съ суевѣрной точностью подражали ему во всемъ, что̀ только не требовало новаго вдохновенія. Такимъ образомъ дѣйствія правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось не нарочно, между тѣмъ какъ азіатское невѣжество обитало при дворѣ...“ Говоря о неудавшихся попыткахъ аристократіи усилить свою власть послѣ смерти Петра II, Пушкинъ прибавляетъ: „это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія дворянъ“. Нельзя здѣсь не замѣтить тяжелаго чувства той розни, какая существовала въ нашей новой исторіи между двумя классами, и первое сознаніе необходимости уничтожить ее и слиться въ одинъ народъ. Поэтъ, самъ потомокъ древнихъ бояръ, говоритъ, что честолюбивые замыслы аристократіи въ случаѣ успѣха гибельно отозвались бы на народной жизни, затруднили бы или уничтожили бы всѣ способы разрѣшить крестьянскій вопросъ, ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь

къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. „Нынче же, прибавляетъ онъ, политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла, и твердое мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ на ряду съ просвѣщенными народами Европы".

Воспользуемся и здѣсь случаемъ, чтобъ указать, какъ очищался и возвышался патріотизмъ Пушкина, благодаря тому духу свободы, какимъ онъ былъ проникнутъ, и какъ далеко онъ ушелъ отъ существовавшаго дворянскаго патріотизма, которому еще не такъ скоро суждено было переродиться въ высшій, народный патріотизмъ. Пушкинъ и въ этомъ дѣлѣ, еще въ юныхъ годахъ, своимъ артистическимъ чутьемъ угадалъ, по какой дорогѣ нужно идти впередъ, чтобы всѣмъ, наконецъ, сознать себя одной націей. Жесткимъ отзывомъ казнитъ Пушкинъ старое дворянство, которое забыло свой смыслъ и свою честь, раболѣпствуя передъ временщиками. А эти „не знали мѣры своему корыстолюбію, и самые отдаленные родственники временщика съ жадностью пользовались краткимъ его царствованіемъ; отселѣ произошли сіи огромныя имѣнія вовсе неизвѣстныхъ фамилій и совершенное отсутствіе чести и честности въ высшемъ классѣ народа. Отъ канцлера до послѣдняго протоколиста, все крало и все было продажно".

Вотъ какъ Пушкинъ размышлялъ наединѣ съ собою въ то время, когда большинство смотрѣло на него, какъ на шалуна, „гуляку празднаго", без-

путнаго, если не пропащаго человѣка. Говоря о недостаткѣ духовнаго просвѣщенія, этотъ человѣкъ, прослывшій за атеиста, прибавляетъ: „семинаріи пришли въ совершенный упадокъ, многія деревни нуждаются въ священникахъ. Бѣдность и невѣжество этихъ людей, необходимыхъ въ государствѣ, ихъ унижаетъ и отнимаетъ у нихъ самую возможность заниматься важною своею должностью. Отъ сего происходитъ въ нашемъ народѣ презрѣніе къ попамъ и равнодушіе къ отечественной религіи, ибо напрасно почитаютъ русскихъ суевѣрными: можетъ быть, нигдѣ болѣе, какъ между нашимъ простымъ народомъ, не слышно насмѣшекъ насчетъ всего церковнаго... Жаль, ибо греческое вѣроисповѣданіе, отдѣльное отъ всѣхъ прочихъ, даетъ намъ особенный національный характеръ... Мы обязаны монахамъ нашей исторіей, слѣдственно и просвѣщеніемъ“ [1]).

Очень легко можетъ быть, что всѣ эти взгляды Пушкинъ выработалъ въ бесѣдѣ съ своими друзьями; но мы и смотримъ на него какъ на представителя стремленій и направленія извѣстнаго круга, который искалъ себѣ опоры въ историческихъ разсужденіяхъ, хотя и мало былъ знакомъ съ пріемами исторической критики. Пушкину въ этомъ случаѣ помогалъ артистическій даръ угадывать общій смыслъ по впечатлѣніямъ.

Вся эта работа ума и фантазіи занимала поэта по временамъ, такъ сказать, мимоходомъ; но кромѣ

[1]) Сочиненія Пушкина. 1881, т. V, стр. 17.

того у него вынашивался и постоянный образъ, слагавшійся подъ впечатлѣніемъ его собственнаго „я“,—образъ, въ который входило многое изъ его собственной личности. Оттого, можетъ быть, онъ такъ медленно и трудно вырабатывался, отражаясь и въ „Кавказскомъ плѣнникѣ“, и въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“—въ ханѣ Гиреѣ, и въ „Цыганахъ“—въ Алеко, и въ „Демонѣ“, и, наконецъ, найдя себѣ болѣе точное отраженіе—въ „Евгеніи Онѣгинѣ“. Здѣсь-то и выказала свое вліяніе поэзія Байрона, но потому, что Пушкинъ началъ съ нею знакомиться въ тотъ моментъ, когда произошла рѣзкая и неожиданная перемѣна въ его собственной судьбѣ: вмѣсто шумной, распущенной, неопредѣлившейся жизни—ссылка, вдали отъ всего, что̀ передъ этимъ занимало и наполняло душу, а съ тѣмъ вмѣстѣ чувство одиночества, безпомощности. Нѣтъ сомнѣнія, что Пушкинъ при своемъ умѣ долженъ былъ много передумать и пережить уже на дорогѣ изъ Петербурга въ Екатеринославль. Примириться съ своимъ положеніемъ, конечно, ему было невозможно; нельзя было смотрѣть и на себя, какъ на невинную жертву обстоятельствъ; онъ долженъ былъ почувствовать недовольство самимъ собою; люди должны были ему представляться не съ лучшей стороны; были у него какія-то причины говорить и объ измѣнѣ друзей; а между тѣмъ полнаго разочарованія жизнью не было, хотѣлось жить всѣми своими силами, свѣтъ еще привлекалъ всѣми своими приманками, явился какой-то разладъ въ собственной душѣ, раздвоеніе человѣка, состояніе томи-

тельное, которое трудно было ясно сознать и опредѣлить. Понятно, какъ ему долженъ былъ прійтись по душѣ Байронъ со своими исключительными, эгоистическими, горделивыми героями, и какое въ нихъ оправданіе онъ долженъ былъ находить самому себѣ. Хотя по указанію біографовъ Пушкина „Кавказскій плѣнникъ“ написанъ въ 1821 г., но у насъ есть поводъ думать, что вчернѣ онъ былъ набросанъ имъ еще на Кавказѣ, именно въ тотъ моментъ, когда Пушкинъ послѣ первыхъ тяжелыхъ впечатлѣній отъ перемѣны своей участи, послѣ томительныхъ думъ о ней силился выработать образъ, чтобы выразить въ немъ состояніе своего собственнаго духа. Въ своихъ запискахъ о путешествіи въ Эрзерумъ Пушкинъ замѣчаетъ, что въ Ларсѣ онъ нашелъ измаранный списокъ „Кавказскаго плѣнника“. Спрашивается, откуда могъ тамъ взяться этотъ списокъ, если онъ не былъ оставленъ поэтомъ въ его первое путешествіе въ 1820 году. „Признаюсь, прибавляетъ онъ, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ; все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено вѣрно“. Къ чему относится это многое: къ изображенію ли кавказской природы и жизни, или къ самому плѣннику? Намъ кажется, скорѣе къ послѣднему, такъ какъ природу и жизнь черкесовъ не нужно было угадывать, а только списывать; между тѣмъ какъ для плѣнника нужно было угадывать самого себя, чтобы изобразить тотъ еще неясный образъ, который не былъ достаточно выношенъ поэтомъ, такъ какъ онъ еще не успѣлъ пережить своихъ

новыхъ впечатлѣній и отдѣлить его отъ себя. Въ другомъ мѣстѣ Пушкинъ замѣчаетъ, что поэма отзывается чтеніемъ Байрона, „отъ котораго онъ съ ума сходилъ“. Слово „отзывается“ ближе и вѣрнѣе всего опредѣляетъ степень вліянія Байрона. Это не было сознательное подражаніе, а невольный отзывъ на то, въ чемъ находило себѣ родство тогдашнее состояніе духа, до котораго поэтъ былъ доведенъ собственною жизнью. Мы знаемъ по преданію, что Пушкинъ впослѣдствіи даже сердился, когда ему говорили, что онъ подражалъ Байрону, и онъ былъ правъ, потому что отзывъ не есть подражаніе. Подъ впечатлѣніемъ отъ произведеній Байрона, артистическая фантазія Пушкина идеализировала личность англійскаго поэта, сблизивъ ее съ моремъ, въ которомъ онъ видѣлъ выраженіе безграничной, гордой свободы (въ стихотвор. „Къ Морю“—1824 г.):

Твой образъ былъ на немъ означенъ.
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ,
Какъ ты могучъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты ничѣмъ не одолимъ.

Въ этой идеализаціи отчасти выразился и самъ Пушкинъ въ тѣ бурные годы своей жизни, когда въ немъ по временамъ какъ бы господствовала какая-то стихійная сила, съ которою онъ самъ не могъ справиться. Его собственное стремленіе къ безграничной личной свободѣ, чего бы она ни касалась, свободы ли ума, чувства, страсти, въ столкновеніи съ условіями общей жизни, производила въ душѣ тотъ разладъ, который видится и въ бай-

роновскихъ геройхъ. Отсюда и творческая мысль Пушкина настраивается на байроновскій ладъ.

Но заключительный выводъ ея, какъ увидимъ, расходится съ Байрономъ, потому что дальнѣйшая жизнь поэта стала давать ему другія впечатлѣнія. „Талантъ неволенъ, говоритъ Пушкинъ уже въ зрѣлые годы своей жизни, и его подражаніе не есть постыдное похищеніе—признакъ умственной скудости, но благородная надежда на свои собственныя силы, надежда открыть новые міры, стремясь по слѣдамъ генія".

Въ „Посвященіи" „Кавказскаго плѣнника" Н. Н. Раевскому, спутнику Пушкина, видится нравственная связь поэта съ душою плѣнника:

Ты здѣсь найдешь воспоминанья,
Быть можетъ, милыхъ сердцу дней,
Противорѣчіе страстей,
Мечты знакомыя, знакомыя страданья
И тайный гласъ души моей...
Я рано скорбь узналъ, постигнутъ былъ гоненьемъ...
Но, сердце укрѣпивъ терпѣньемъ,
Я ждалъ безпечно лучшихъ дней...

Пушкинъ говорилъ о плѣнникѣ:—„люблю его, не зная за что: въ немъ есть стихи моего сердца".

Всмотримся внимательно въ нравственный міръ плѣнника и увидимъ въ немъ разладъ съ самимъ собою, происшедшій отъ жизни, въ которой душевныя силы не находили себѣ должнаго примѣненія въ той странѣ.

Гдѣ пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ,
Гдѣ первую позналъ онъ радость,
Гдѣ много милаго любилъ,
Гдѣ обнялъ грозное страданье,
Гдѣ бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ.

Сердце истомилось и увяло отъ бурной жизни; такъ по крайней мѣрѣ ему кажется, но мы видимъ, что эта жизнь была безъ живительнаго идеала, вмѣсто котораго были только призраки; они исчезли, и должна была остаться неудовлетворенность, усталость, разочарованье. Отсюда разныя измѣны пріятельскія и любовныя, обыкновенныя въ этой свѣтской праздной жизни, должны были получить особенное значеніе, такъ какъ онѣ казались причиною такого разстройства духа и мнимаго охлажденія къ жизни:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ
И зналъ невѣрной жизни цѣну,
Въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну,
Въ мечтахъ любви безумный сонъ!
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.

Слѣдующіе восемь стиховъ были выпущены для печати:

Свобода, онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ.
Страстями сердце погубя,
Охолодѣвъ къ мечтамъ и лирѣ,
Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ,
Одушевленныя тобою,
И съ вѣрой, пламенной мольбою
Твой гордый идолъ обнималъ.

Здѣсь душа плѣнника видимо отождествляется съ душой поэта. Онъ только не объясняетъ, зачѣмъ было съ такимъ идеаломъ свободы, летѣть въ далекій край, чтобы порабощать свободный народъ?

Отступникъ свѣта, съ которымъ онъ не поладилъ, увлекаясь своимъ призракомъ свободы, онъ захотѣлъ примѣнить свои силы къ борьбѣ съ дикими горцами, такъ какъ никакого другого лучшаго примѣненія не представлялось; онъ самъ попадаетъ въ плѣнъ и здѣсь неожиданно дѣлается предметомъ пылкой любви дикой черкешенки. Но этой любви онъ противопоставляетъ своей „души печальный хладъ“.

Безъ упоенья, безъ желаній
Я вяну жертвою страстей,
Ты видишь слѣдъ любви несчастной,
Душевной бури слѣдъ ужасный...
Умеръ я для счастья;
Надежды призракъ улетѣлъ;
Твой другъ отвыкъ отъ сладострастья,
Для нѣжныхъ чувствъ окаменѣлъ...

Но онъ самъ себя еще неясно понимаетъ, онъ, узнавшій цѣну невѣрной жизни, въ то же время не разорвалъ связи съ своимъ прошедшимъ: онъ еще мечтаетъ о немъ, мечтаетъ о своей прежней любви:

Передъ собою какъ во снѣ
Я вижу образъ вѣчно милый,
Его зову, къ нему стремлюсь...
О немъ въ пустынѣ слезы лью,
Повсюду онъ со мною бродитъ
И мрачную тоску наводитъ
На душу сирую мою...

Но съ этимъ вмѣстѣ мы слышимъ изъ устъ поэта и плѣнника и такія странныя рѣчи:

Какъ тяжко мертвыми устами
Живымъ лобзаньямъ отвѣчать...
Измучась ревностью напрасной,
Уснувъ безчувственной душой,
Въ объятіяхъ подруги страстной,
Какъ тяжко мыслить о другой,
Когда такъ медленно, такъ нѣжно
Ты пьешь лобзанія мои
И для тебя часы любви
Проходятъ быстро, безмятежно;
Снѣдая слезы въ тишинѣ
Тогда разсѣянный, унылый...
Тебѣ въ забвеньи предаюсь
И тайный призракъ обнимаю.

Здѣсь мы уже видимъ какое-то непонятное нравственное растлѣніе. Въ такой двойственности невыработанный образъ плѣнника самъ по себѣ какъ образъ поэтическій перестаетъ быть намъ

интересенъ. Онъ имѣетъ для насъ значеніе только въ связи съ самимъ Пушкинымъ, который въ немъ хотѣлъ опредѣлить свое собственное отношеніе къ жизни; но оно оказалось для него самого настолько еще неяснымъ, что фантазія не нашла довольно матеріала, чтобы создать живой образъ. Въ немъ только отразился дѣйствительный разладъ поэта съ жизнью, въ которомъ смѣшалось много чувствъ и еще не опредѣлилось ясно, кого винить въ этомъ, себя или людей.

Въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“ Пушкинъ также призналъ отзывъ чтенія Байрона, что особенно отразилось на женскихъ личностяхъ, хотя и черкешенка „Кавказскаго плѣнника“ не чужда того же вліянія. Въ ихъ созданіи участвовала болѣе настроенная романтически фантазія, чѣмъ впечатлѣнія отъ дѣйствительности, оттого въ нихъ и вошли черты, которыя плѣняли нашего поэта въ байроновскихъ женщинахъ. Въ ханѣ Гиреѣ замѣчается та же черта, какая выразилась и въ плѣнникѣ—душевный разладъ, томившій самого поэта; но здѣсь личность героя уже не сливается съ его личностью. Здѣсь Пушкинъ сознательнѣе отнесся къ нему, съумѣлъ его отдѣлить отъ себя и представить совсѣмъ въ другой сферѣ. Дикій татаринъ, натура цѣльная, съ идеаломъ отважнаго наѣздника и деспота среди своей орды и гарема, вдругъ отказывается отъ всего, что прежде составляло его жизнь, лишается покоя, какъ будто смиряется, и отчего? Въ его душу проникъ высшій идеалъ красоты въ лицѣ молодой плѣнницы-христіанки и вы-

звалъ въ немъ романтическое чувство, давъ ему другой внутренній міръ, который раздвоилъ его натуру. Онъ сталъ совсѣмъ въ иныя отношенія къ плѣнницѣ, непривычныя для хана, отказался отъ насилія; любовь смутила его, а не воспламенила въ немъ грубую страсть. Этотъ душевный разладъ остался въ немъ и тогда, когда не стало плѣнницы, хоть онъ и обратился къ прежней жизни:

Дворецъ угрюмый опустѣлъ,
Его Гирей опять оставилъ;
Съ толпой татаръ въ чужой предѣлъ
Онъ злой набѣгъ опять направилъ;
Онъ снова въ буряхъ боевыхъ
Несется мрачный, кровожадный;
Но въ сердцѣ хана чувствъ иныхъ
Таится пламень безотрадный.
Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безумiемъ вокругъ,
Блѣднѣетъ, будто полный страха,
И что-то шепчетъ и порой
Горючи слезы льетъ рѣкой.

Черезъ нѣсколько лѣтъ Пушкинъ справедливо осудилъ эту картину, замѣтивъ, что молодые писатели вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей: ихъ герои всегда содрогаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами и пр., все это смѣшно, какъ мелодрама. Замѣтимъ, что чувства Гирея разрѣшались слезами, точно такъ же, какъ и чувства плѣнника. Пушкинъ иногда говоритъ и

о своихъ слезахъ, когда онъ бывалъ въ лирическомъ настроеніи и чувствовалъ свой собственный душевный разладъ съ жизнью. Вотъ что его связываетъ съ его героями.

Въ 1823 году сложился въ фантазіи Пушкина образъ Демона, въ которомъ ясно выразилась его нравственная раздвоенность, уже вполнѣ имъ сознанная. Что этотъ фантастическій образъ имѣлъ связь съ жизнью, это доказывается тѣмъ, что въ свѣтѣ указывали на нѣкоторыя личности, какъ на оригиналъ Демона. На это Пушкинъ даже написалъ замѣтку, выражаясь о себѣ въ третьемъ лицѣ: „многіе даже указывали на лицо, которое Пушкинъ будто бы хотѣлъ изобразить въ этомъ странномъ стихотвореніи... Кажется, они не правы: по крайней мѣрѣ, я вижу въ Демонѣ цѣль болѣе нравственную. Не хотѣлъ ли поэтъ изобразить сомнѣніе? Въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго. Оно легковѣрно и нѣжно. Мало-по-малу вѣчныя противорѣчія существенности рождаютъ въ немъ сомнѣніе: чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души... Не даромъ великій Гёте называетъ вѣчнаго врага человѣчества духомъ отрицающимъ... И Пушкинъ не хотѣлъ ли въ своемъ Демонѣ олицетворить сей духъ отрицанія или сомнѣнія и начертать въ пріятной картинѣ печальное вліяніе его на нравственность нашего вѣка?..“

Принимая объясненіе Пушкина и признавая

въ его „Демонѣ“ идеализацію скептицизма, мы въ то же время видимъ въ немъ и выраженіе его собственной личности. Въ немъ наконецъ выдѣлились и ясно опредѣлились тѣ черты, которыя смутно смѣшивались съ другими, когда создавался образъ его плѣнника. Въ этомъ послѣднемъ онѣ выражались словами: „страстями сердце погубилъ, охолодѣлъ къ мечтамъ и лирѣ“, „погубилъ надежду, радость и желанья“, „души печальный хладъ“, а у поэта — жалобами на охлажденіе къ поэзіи или въ стихахъ:

Все пропало... рѣзвый нравъ...
Душа часъ отъ часу нѣмѣетъ;
Въ ней чувства нѣтъ. Такъ легкій листъ дубравъ
Въ ключахъ кавказскихъ каменѣетъ.

Или въ извѣстномъ стихотвореніи „Я пережилъ свои желанья“.

Все это было слѣдствіемъ возникшаго скептическаго отношенія ко всему идеальному, свойственному юности, когда новы

Всѣ впечатлѣнья бытія,
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
И ночью пѣнье соловья.
Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенныя искусства
Такъ сильно волновали кровь.

Юношескому возрасту послѣднихъ поколѣній приходится болѣе или менѣе переживать скептицизмъ и уже послѣ этихъ годовъ снова мириться съ идеалами, сближая ихъ съ жизнью. Но русскій

скептицизмъ отличается особенными чертами, которыя могутъ назваться историческими. Скептицизмъ, какъ сомнѣніе, вытекаетъ изъ стремленія человѣка къ истинѣ. Желая провѣрить изслѣдованіемъ то, что̀ изстари принималось на вѣру за истину, умъ начинаетъ съ тяжелаго труда и отъ сомнѣнія иногда переходитъ мало-по-малу къ отрицанію; его онъ, можетъ быть, не желалъ и самъ, но оно явилось, какъ слѣдствіе или выводъ изъ наблюденій и изслѣдованій. Такъ дѣйствовалъ скептицизмъ тамъ, гдѣ наука развивалась самостоятельно. Человѣкъ не безъ внутренней борьбы отказывался отъ своихъ прежнихъ убѣжденій и идеаловъ, которые не вдругъ приходилось замѣнять новыми. Фаустъ и Манфредъ возбуждаютъ въ насъ сильное участіе своею силою въ борьбѣ съ собою и своею любовью къ истинѣ. Но въ нихъ могучій духъ заразъ не отрицалъ всего, что̀ возвышаетъ человѣка, не доходилъ до полнаго отрицанія того, чѣмъ человѣкъ хочетъ жить. Въ русской жизни представляется нѣчто другое: мы сами тяжелымъ умственнымъ трудомъ не вырабатывали такихъ новыхъ идей, не дѣлали такихъ новыхъ выводовъ, которые бы разрушали наши прежнія убѣжденія. Мы обыкновенно принимали на вѣру все выработанное уже другими, принимали одни выводы и безъ борьбы отрекались отъ всего, что̀ имъ противорѣчило. Самостоятельнымъ умственнымъ трудомъ мы мало чего добивались, привыкшіе брать все готовое оттуда, откуда намъ сіялъ свѣтъ просвѣщенія. Съ Петра Великаго

насъ принуждали отрекаться отъ всего своего, а потомъ уже, ставъ на космополитическую почву, мы привыкли легко мѣнять не только наружность, нравы, обычаи, но и идеи, убѣжденія, и все это во имя европейскаго просвѣщенія. Насъ увлекало не столько стремленіе къ истинѣ, сколько желаніе слыть людьми просвѣщенными, не отставшими отъ Европы. Мы легко уступали наплыву новыхъ идей и безъ борьбы мѣняли на нихъ старыя. Словомъ, у насъ не было убѣжденій; исключенія были рѣдки. Отсюда мы готовы были отрицать все заразъ. Нашъ скептицизмъ выражался только въ насмѣшкѣ, которой мы легко поддавались. Пушкинъ назвалъ его злобнымъ геніемъ:

Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неистощимой клеветою
Онъ Провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ,
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

Итакъ, повальное отрицаніе всего, и во имя чего же? Даже не свободы ума, потому что и ее не признавалъ злобный геній. Правда, поэтъ говоритъ о внезапной тоскѣ съ его появленіемъ, что встрѣчи съ нимъ были печальныя, но никакого отпора ему не дѣлалось; достаточно было его

язвительныхъ рѣчей, чтобы влить въ душу хладный ядъ и покорить ее себѣ. Зная, съ какимъ восторгомъ былъ принятъ „Демонъ“ въ литературѣ и въ нѣкоторыхъ образованныхъ кругахъ, мы можемъ заключить, что въ немъ дѣйствительно отразилось нѣчто знакомое и близкое, что̀ пережито или переживалось русскимъ образованнымъ человѣкомъ. Злобный геній могъ являться только въ такомъ шаткомъ, нравственно-слабомъ и умственно-расшатанномъ обществѣ, среди котораго пришлось жить Пушкину. Поэтъ, конечно, въ болѣе сильной степени, какъ геніальный артистъ по натурѣ, долженъ былъ переживать то же самое, плодомъ чего и былъ его „Демонъ“. Потомъ мы увидимъ, какъ этотъ образъ переработался, принявъ новыя смягчающія черты.

Изъ смутнаго же образа Плѣнника выяснился у Пушкина и другой образъ—Алеко въ Цыганахъ. Плѣнникъ увлекался только отвлеченной идеей свободы, онъ любилъ только говорить о ней, для него свобода была лишь веселый призракъ или, вѣрнѣе, выражаясь словами другого поэта, „плѣнной мысли раздраженье“; въ своихъ мечтахъ „онъ обнималъ гордый идолъ свободы“ и относился къ людямъ эгоистически. Считая себя жертвою страстей, онъ показалъ, что самъ не былъ готовъ для свободы. Человѣкъ безъ упоенья, безъ желаній, окаменѣвшій для нѣжныхъ чувствъ, какъ онъ самъ о себѣ выражается, не можетъ правильно понимать свободу, тѣмъ болѣе ею пользоваться. Ему нужны были только сильныя впечатлѣнія, и онъ

обнажилъ саблю противъ свободнаго народа; но тутъ ничего нѣтъ общаго съ его кумиромъ свободы. Въ Цыганахъ Алеко — лицо болѣе опредѣленное, носящее въ себѣ идею, но тѣмъ не менѣе лицо все же двойственное отъ душевнаго разлада, которымъ томился и самъ поэтъ.

Мы сказали, что неясный образъ Кавказскаго плѣнника съ большей опредѣленностью переработался въ образъ Алеко, которому Пушкинъ далъ свое имя. И въ самомъ дѣлѣ, отъ этого образа, по крайней мѣрѣ въ первой половинѣ разсказа, трудно совершенно отдѣлить личность Пушкина. Въ Алеко еще отражается нашъ поэтъ, пока не примиренный съ своимъ положеніемъ и съ той средой, которая не согласовалась съ его стремленіемъ къ высшимъ общественнымъ идеаламъ жизни, не успѣвшимъ еще вполнѣ опредѣлиться, и которая утомила его страстное сердце одними пустыми, мимолетными увлеченіями. Съ другой стороны, тутъ же слышится сочувственный отзывъ поэта на голосъ Байрона, враждебно отнесшагося къ жизни современнаго ему цивилизованнаго общества, гдѣ человѣкъ съ высшимъ идеаломъ напрасно искалъ себѣ счастья. Отъ всего этого Алеко не переработался въ чистый типъ, который бы можно было объяснять русской исторической жизнью. Надъ нимъ работала фантазія поэта подъ впечатлѣніями отъ случайностей собственной жизни, впечатлѣніями, которыя переживались, но еще не были имъ пережиты. Тотъ же призракъ свободы, который разссорилъ Кавказскаго плѣнника съ

обществомъ и привлекъ его на дикій Кавказъ, разссорилъ и Алеко съ тѣмъ же обществомъ и привлекъ въ таборъ дикихъ цыганъ. Мы знаемъ, что жизнь этого табора привлекала и самого поэта тѣми же чертами, какими плѣнился Алеко: тамъ

Все такъ живо, непокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ, однообразной...

Мертвенность жизни празднаго общества—вотъ что̀ дѣйствительно томило душу нашего поэта, и это-то томленіе онъ перенесъ на Алеко, неудачно сблизивъ его съ байроновскими героями и заставивъ его „презрѣть оковы просвѣщенья“.

Алеко на первыхъ порахъ удовлетворился той свободой, какую нашелъ въ „бродящей бѣдности“ цыганскаго табора. Но тутъ-то мы видимъ, что свобода прельщала такихъ бродячихъ людей, добровольныхъ изгнанниковъ, только въ отвлеченной идеѣ, навѣянной разными ученіями и не прочувствованной въ сердечной глубинѣ, не выясненной жизнью. Это было также „плѣнной мысли раздраженье“. Отсюда въ примѣненіи къ жизни эта свобода оказывалась не больше какъ птичья свобода—жизнь безъ заботы и труда, не требующая хлопотъ о долговѣчномъ гнѣздѣ, жизнь посреди пѣсенъ:

Подобно птичкѣ беззаботной
И онъ, изгнанникъ перелетный,
Гнѣзда надежнаго не зналъ

И ни къ чему не привыкалъ.
Ему вездѣ была дорога,
Вездѣ была ночлега сѣнь.
Проснувшись поутру, свой день
Онъ отдавалъ на волю Бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лѣнь.

Намъ совершенно понятно то мимолетное впечатлѣніе, которое произвела на поэта цыганская жизнь посреди смѣняющихся картинъ южной природы; понятно и навернувшееся желаніе артиста, утомленнаго пустотою жизни и принужденнаго признать надъ собою „власть судьбы коварной и слѣпой“, желаніе успокоить на время и умъ и сердце посреди этой цыганской свободы жизни, сближенной имъ съ птичьей свободой. Но насъ не можетъ не удивить Алеко, добровольно сбросившій съ себя оковы просвѣщенья, потому что

Люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей.

Такое отношеніе къ жизни цивилизованнаго общества заставляетъ предполагать самый высокій общественный идеалъ у человѣка, томящагося по свободѣ; а въ дѣйствительности оказывается, что онъ только боится тревогъ жизни, только дорожитъ своей сердечной лѣнью, чуждается заботъ и труда. Все это типическія черты русской дворян-

ской жизни, развившейся на крѣпостномъ правѣ. Для спасенія своей сердечной лѣни отъ житейскихъ тревогъ, заботъ и труда не нужно было убѣгать къ цыганамъ и бросать свое общество. Тутъ ни при чемъ томленье по свободѣ, если только она правильно понималась и не представлялась въ одномъ туманномъ призракѣ. Оказывается, что Алеко томился вовсе не по той свободѣ, которая возвышаетъ сердца и одушевляетъ на подвиги. „Гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ веселій",—говоритъ онъ и этими словами даетъ возможность разгадать себя. Ему нужна была вовсе не свобода, а взаимная женская любовь, которой онъ не нашелъ въ прежней жизни, и вотъ онъ по ошибкѣ томленье по любви принялъ за томленье по свободѣ, о которой говорилось въ праздномъ обществѣ больше по наслышкѣ отъ другихъ. Въ этомъ случаѣ онъ недалеко ушелъ отъ „Кавказскаго плѣнника", у котораго также съ призракомъ свободы связывался любовный вопросъ. Земфира своей любовью удовлетворила сердце, ищущее любви, и не удивительно, что Алекѣ понравилась птичья свобода, въ которой главный интересъ жизни любовный, не удивительно, что онъ полюбилъ „и упоенье вѣчной лѣни", и бродяжническую жизнь на чужой счетъ. Для всего этого онъ былъ воспитанъ съ дѣтства; ему легко было сдѣлаться дикаремъ, потому что то просвѣщеніе, отъ котораго онъ отрекся, не могло развить въ немъ правильнаго понятія о свободѣ. Это было просвѣщеніе большинства русскихъ дворянъ, которые если и бы-

вали недовольны, то только тогда, когда стѣснялась ихъ личная свобода. Вотъ та типическая черта, которая, можетъ быть, даже безсознательно со стороны поэта, перешла изъ жизни русскаго цивилизованно-дворянскаго общества въ образъ Алеко. Но она затемняется другими личными чертами самого поэта. Такъ, постоянныя мысли о славѣ, очень естественныя въ поэтѣ, сознающемъ въ себѣ огромныя силы, мысли, поддерживающія энергію въ борьбѣ съ невзгодами жизни, кажутся въ головѣ Алека, отрекшагося отъ труда и отъ общества, злою насмѣшкою надъ самимъ собою:

Его порой волшебной славы
Манила дальняя звѣзда...

Точно такъ же воспоминанія о прежней столичной жизни, отъ которой поэтъ насильно былъ оторванъ, связывались у него часто съ памятью о друзьяхъ товарищахъ шумныхъ пировъ. Но они были неумѣстны въ душѣ Алеко, которому въ байроническомъ увлеченіи казалось, что въ обществѣ онъ бросилъ только

Измѣнъ волненье,
Предразсужденій приговоръ,
Толпы безумное гоненье,
Или блистательный позоръ;

а между тѣмъ

Нежданно роскошь и забавы
Къ нему являлись иногда.

Такъ трудно было поэту представить совершенно объективно тотъ образъ, который выраба-

тывался подъ впечатлѣніями отъ его собственной бурной жизни. Гораздо объективнѣе отнесся онъ къ своему герою во второй половинѣ поэмы, которую ему пришлось обрабатывать въ иную пору, когда новые факты жизни принесли новыя впечатлѣнія, отдаливъ прежнія, когда многое изъ прошлой жизни стало дѣлаться яснѣе, когда и къ байроническимъ лицамъ поэтъ сталъ относиться съ меньшей субъективностью и съ большей критикой. Тогда Алеко представился ему въ другомъ видѣ, какъ человѣкъ — крайній эгоистъ, обольщенный идеей свободы, но не воспитанный для свободы, обманувшій самого себя ложными идеями Руссо, будто цивилизованная жизнь ведетъ не къ свободѣ, а къ оковамъ, будто свобода уживается только въ дикой первобытной жизни. Алеко, по опредѣленію старика-цыгана, оказался гордымъ человѣкомъ, который хочетъ воли только для себя, который слѣдственно смѣшалъ два понятія — свободу общественную и личную волю, не признающую законовъ. Нельзя не замѣтить, что такое смѣшеніе дѣлалось у многихъ въ дѣйствительности, и Пушкинъ, введя въ Алеко эту черту, сблизилъ его съ жизнью и далъ ему особенное драматическое положеніе; но имъ онъ воспользовался слабо, потому что могъ отнестись къ нему объективно только въ концѣ своего разсказа.

Прежде чѣмъ былъ оконченъ разсказъ „Цыганы“, въ фантазіи Пушкина образъ Алеко сталъ перерабатываться уже въ новый образъ, для котораго поэтъ нашелъ типическія черты въ русской

жизни, исторически сложившейся въ связи съ общеевропейскою жизнью. Его онъ уже могъ вполнѣ отдѣлить отъ себя, хотя въ немъ и отражалось все пережитое самимъ поэтомъ; но это пережитое было вполнѣ сознано, опредѣлено, очищено отъ всего случайнаго и личнаго, приведено въ связь съ общею русскою жизнью и сдѣлалось типическимъ ея выраженіемъ. „Евгеній Онѣгинъ“ сталъ какъ бы спутникомъ дальнѣйшей жизни Пушкина на нѣсколько лѣтъ; но о немъ мы будемъ говорить тогда, когда прослѣдимъ эти годы поэта.

Разставаясь съ поэмами Пушкина, мы не можемъ не указать на его эпилоги къ нимъ, которыми поэтъ какъ будто хотѣлъ возвысить значеніе своихъ разсказовъ, связавъ ихъ съ тѣми мѣстами, гдѣ припоминаются подвиги русскихъ людей для русской славы. Мы уже видѣли, что Пушкинъ при самомъ началѣ своей поэтической дѣятельности выказалъ стремленіе связать свою поэзію съ отечественнымъ дѣломъ, возвысить ея значеніе, какъ силы общественной. То же стремленіе выражается въ эпилогѣ къ „Кавказскому плѣннику“, въ которомъ самый разсказъ не давалъ нужнаго для того матеріала. Поэтъ хотѣлъ какъ бы дополнить картины Кавказа, припомнивъ тѣ лица, имена которыхъ оглашали его горы къ чести и славѣ русскаго народа:

Богиня пѣсенъ и разсказа
Воспоминанія полна,
Быть можетъ, повторитъ она

Преданья грознаго Кавказа,
Разскажетъ повѣсть дальнихъ странъ,
Мстислава древній поединокъ...
И воспою тотъ славный часъ,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующій Кавказъ
Подъялся нашъ орелъ двуглавый;
Когда на Терекѣ сѣдомъ
Впервые грянулъ битвы громъ
И грохотъ русскихъ барабановъ,
И въ сѣчѣ съ дерзостнымъ челомъ
Явился пылкій Цицiановъ.
Тебя я воспою, герой,
О, Котляревскій, бичъ Кавказа,
Куда ни мчался онъ грозой —
Твой ходъ, какъ черная зараза,
Губилъ, ничтожилъ племена.
Но се—Востокъ подъемлетъ вой!
Поникни снѣжною главой,
Смирись, Кавказъ,—идетъ Ермоловъ.

Такъ фантазія поэта еще въ ранніе годы искала для своего творчества исторической почвы, стремясь связать поэзію съ старыми сказаніями и преданіями, въ которыхъ отразились разные моменты исторической жизни народа. Такимъ путемъ онъ ввелъ въ нашу поэзію народность, которой ей недоставало съ тѣхъ поръ, какъ мы стали пользоваться плодами европейскаго просвѣщенія. Правда, Пушкинъ не исполнилъ своего обѣщанія: онъ не разсказалъ намъ ни о древнемъ героѣ Мстиславѣ, ни о новомъ — Котляревскомъ; но это обѣщаніе для насъ важно не по исполненію, а по тѣмъ замысламъ творческой мысли, которые сдѣлались основаніемъ поэтической его дѣятельности. Онъ

уже хорошо сознавалъ, что спокойное созерцаніе жизни есть высшая черта творчества и вполнѣ вытекаетъ изъ того идеальнаго представленія поэта, какое, какъ мы видѣли, слагалось въ немъ еще въ ученическіе годы его жизни. Изъ подвиговъ прошлой жизни вытекаетъ сознаніе своей народной силы, а на немъ основывается увѣренность въ успѣхахъ будущаго, что́ у поэта обращается какъ бы въ поэтическое пророчество. Это и выразилось у Пушкина въ заключительныхъ стихахъ эпилога:

И смолкнулъ ярый крикъ войны:
Все русскому мечу подвластно;
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла васъ ваша кровь.
Ни очарованныя брони,
Ни горы, ни лихіе кони,
Ни дикой вольности любовь.
Подобно племени Батыя,
Измѣнитъ прадѣдамъ Кавказъ,
Забудетъ алчной брани гласъ,
Оставитъ стрѣлы боевыя.
Къ ущельямъ, гдѣ гнѣздились вы,
Подъѣдетъ путникъ безъ боязни,
И возвѣстятъ о вашей казни
Преданья темныя молвы.

Это пророчество исполнилось въ наши дни.

Въ эпилогѣ къ „Бахчисарайскому фонтану“ хотя и преобладаетъ лиризмъ, вытекающій изъ личнаго отношенія поэта къ мѣсту дѣйствія, изъ личныхъ его воспоминаній, но и тутъ проскальзываетъ слово о „завѣтѣ судьбы“, т.-е. объ исто-

рической необходимости, которую къ своей чести исполнилъ русскій народъ:

Я видѣлъ ханское кладбище,
Владыкъ послѣднее жилище;
Сіи надгробные столбы,
Вѣнчанны мраморной чалмою,
Казалось мнѣ, завѣтъ судьбы
Гласили внятною молвою.
Гдѣ скрылись ханы! гдѣ гаремъ!
Кругомъ все тихо, все уныло,
Все измѣнилось!..

Въ эпилогѣ къ „Цыганамъ“ также слышится отголосокъ исторической жизни русскаго народа, хотя у нея, повидимому, нѣтъ ничего общаго съ цыганскою жизнью въ той странѣ,

Гдѣ долго, долго брани
Ужасный гулъ не умолкалъ,
Гдѣ повелительныя грани
Стамбулу русскій указалъ,
Гдѣ старый нашъ орелъ двуглавый
Еще шумитъ минувшей славой...

Во всѣхъ этихъ эпилогахъ звучитъ одно общее— торжественное стремленіе русской силы на Востокъ одолѣть силу мусульманскую, — стремленіе, сдѣлавшееся народнымъ со временъ Мамаева побоища. Такимъ образомъ и въ тѣ дни, когда Пушкинъ переживалъ вліяніе чужой поэзіи, въ немъ слышался отзывчивый голосъ русскаго сердца.

Съ „Кавказскимъ плѣнникомъ“ познакомилась русская публика въ 1822 году, съ „Бахчисарайскимъ фонтаномъ“ въ 1823 г., а отрывки изъ „Цыганъ“ стали печататься въ альманахахъ и жур-

налахъ съ 1825 г.; вполнѣ же поэма была издана только въ 1827 г., но до этого уже три года ходила въ публикѣ въ рукописныхъ спискахъ. Большинство читающей публики, судившей по непосредственнымъ впечатлѣніямъ, было въ восторгѣ. Въ журнальныхъ же критикахъ высказывались противорѣчивыя сужденія. Тѣ, которые не хотѣли видѣть въ романтизмѣ законнаго явленія, были очень придирчивы къ новымъ произведеніямъ Пушкина, хотя и признавали въ немъ замѣчательный талантъ; тѣ же, которые называли себя романтиками, раздѣляли восторгъ публики. Карамзинъ, не державшійся ни той, ни другой партіи, высказалъ такое сужденіе въ письмахъ къ своему другу Дмитріеву: „Въ поэмѣ („Кавказскій плѣнникъ“) либерала Пушкина слогъ живописенъ; я недоволенъ только любовнымъ похожденіемъ. Талантъ дѣйствительно прекрасный: жаль, что нѣтъ устройства и мира въ душѣ, а въ головѣ ни малѣйшаго благоразумія“. Историіографъ понялъ, что въ „Плѣнникѣ“ отразилась душа самого поэта, чего журнальные критики не замѣтили „Полюбился ли тебѣ „Фонтанъ“ Пушкина“? спрашиваетъ онъ въ другомъ письмѣ: „слогъ чистъ, черты прекрасныя, но въ цѣломъ не довольно силы и связи. О евнухѣ слишкомъ много; рѣчь Заремы слаба, кромѣ пяти или шести стиховъ; окончаніе хорошо“.

Тогдашніе журналы, какъ мы уже сказали, были ниже образованной публики, чему главною причиною были цензурныя условія. Отношенія

этой публики къ журналамъ были хорошо разъяснены въ 1823 г. княземъ Вяземскимъ въ статьѣ „Замѣчанія на краткое обозрѣніе русской литературы“ Булгарина, издававшаго „Сѣверный Архивъ“. Князь Вяземскій съ 1822 г. сталъ принимать довольно дѣятельное участіе въ русской журналистикѣ своими критическими статьями. Не задолго до этого и Булгаринъ, ободряемый Гречемъ, вступилъ въ литературный кругъ, подружившись съ молодыми начинавшими писателями Грибоѣдовымъ, Александромъ Бестужевымъ (Марлинскимъ) и Рылѣевымъ. Булгаринъ въ своей статьѣ винилъ читателей, т.-е. публику, въ недостаткѣ хорошихъ писателей. Князь Вяземскій находилъ тому другія причины: „Жалобы на равнодушіе къ трудамъ русскихъ писателей, на пристрастіе нашего общества къ языку французскому, на холодность женщинъ къ усиліямъ нашимъ угодить имъ своими стихами и прозою, — писалъ онъ, — умѣстны были во времена Живописца и Собесѣдника (т.-е. въ XVIII столѣтіи). Нынѣ такое сѣтованіе есть анахронизмъ; нынѣ если русскимъ писателямъ жаловаться, такъ не на это. Тогда мало читалось, теперь и того менѣе печатается. Охота къ чтенію, жажда познаній, очевидно, усиливается въ наше время и въ нашемъ поколѣніи. Нѣтъ сомнѣнія, что отличная часть читателей нашихъ преимущественно предается чтенію иностранныхъ книгъ, потому что иностранныя сочиненія удовлетворяютъ болѣе господствующимъ требованіямъ нашего поколѣнія, соглашаются болѣе съ степенью образо-

ванности умовъ. Посмотрите, съ какою жадностью наша молодежь читаетъ газеты и журналы иностранные. Можно ли по совѣсти требовать отъ нея, чтобы она съ тѣмъ же рвеніемъ и прилежаніемъ читала наши журналы?.. Литература должна быть выраженіемъ характера и мнѣній народа: судя по книгамъ, которыя у насъ печатаются, можно заключить, что у насъ или нѣтъ литературы, или нѣтъ ни мнѣній, ни характера; но послѣдняго предположенія и допустить нельзя. Утверждать, что у насъ не пишутъ, оттого что не читаютъ, значитъ утверждать, что нѣмой не говоритъ, оттого что его не слушаютъ. Развяжите языкъ нѣмого и онъ будетъ имѣть слушателей. Дайте намъ авторовъ, пробудите благородную дѣятельность въ людяхъ мыслящихъ, и читатели родятся. Они готовы; многіе изъ нихъ и вслушиваются, но ничего отъ насъ дослышаться не могутъ и обращаются поневолѣ къ тѣмъ, кои не лепечутъ, а говорятъ... Радуйтесь пока, что хотя иностранныя сочиненія находятся у насъ въ обращеніи; пользуясь ими, мы готовимся познавать цѣну и своихъ богатствъ, когда писатели наши будутъ бить монету изъ отечественныхъ рудъ для народнаго обихода... Нельзя не замѣтить, что мы имѣемъ какое-то уничиженіе, намъ однимъ свойственное,—уничиженіе, ослѣпляющее насъ на счетъ тѣхъ изъ соотечественниковъ нашихъ, коими по справедливости могли бы мы наиболѣе гордиться и передъ собою, и передъ иностранцами. Намъ все какъ будто не вѣрится, что можемъ въ числѣ со-

временниковъ нашихъ имѣть писателей отличныхъ. Если слава ихъ, разсѣявъ всѣ препоны и достигнувъ лучезарнаго полдня, уже слишкомъ нестерпимымъ блескомъ свѣтитъ намъ въ глаза, то мы стараемся увѣрить себя и другихъ, что блескъ этотъ заемный. Другіе спѣшили бы радоваться появленію свѣтила и привѣтствовать чувствомъ признательнымъ, мы спѣшимъ утѣшиться тѣмъ, что и въ этомъ солнцѣ есть пятна".

Во всѣхъ этихъ словахъ нельзя не видѣть близкаго наступленія новаго періода, когда самостоятельность, оригинальность, народность сдѣлались требованіемъ нашей критики. Еще недавно каждое русское сочиненіе, приближавшееся къ какому-либо классическому образцу, было наиболѣе восхваляемо въ маленькомъ кругу читателей и дѣлало автора литературнымъ авторитетомъ. Теперь же такой судъ надъ отечественными писателями уже вызываетъ протестъ въ молодыхъ критикахъ. Напоминать того или другого изъ прославленныхъ иностранныхъ писателей у нихъ уже считается не достоинствомъ, а недостаткомъ; а старыя критическія требованія— уничиженіемъ. Но молодые критики, отвергая прежній критерій, сами еще не выработали никакого другого, новаго. Всѣ новыя литературныя произведенія, не подходившія подъ теоретическія требованія Лагарпа и Батте, которыхъ держалась старая критика, относились въ разрядъ романтическихъ; но это слово, занесенное къ намъ съ запада, не давало яснаго, опредѣленнаго понятія. Что̀ такое романтизмъ — наши молодые критики пока еще

силились разъяснить это понятіе, и оставались неудовлетворенными въ своихъ объясненіяхъ. Не могли имъ помочь въ этомъ дѣлѣ и литературы иностранныя, гдѣ также не установилось понятія, и романтизмъ, какъ явленіе историческое, не дошедшее до своего полнаго развитія, не могло быть охвачено во всемъ своемъ содержаніи и объемѣ. Тутъ же примѣшалось слово народность, которое также не сообщало яснаго понятія. Что̀ такое народность въ поэзіи?—также спрашивали себя критики и также путались въ объясненіи, тѣмъ болѣе, что у насъ уже давно подъ словомъ народъ разумѣлось только простонародье. Послѣ этого понятно, что каждый судилъ о новыхъ произведеніяхъ литературы безъ опредѣленныхъ принциповъ, только по своимъ личнымъ воззрѣніямъ и вкусамъ.

Князь Вяземскій не видѣлъ у насъ причины спора между приверженцами двухъ направленій: „Во Франціи, говоритъ онъ, еще понять можно причины войны, объявленной такъ называемому романтическому роду, и признать права его противниковъ... Тамъ такъ называемые классики говорятъ: зачѣмъ принимать намъ законы отъ Шекспировъ, Байроновъ, Шиллеровъ, когда мы имѣли своихъ Расиновъ, Вольтеровъ, Лагарповъ, которые сами были законодателями иностранныхъ словесностей и даровали языку нашему преимущество быть языкомъ образованнаго свѣта? Но мы о чемъ хлопочемъ, кого отстаиваемъ? Имѣемъ ли мы литературу отечественную, уже пустившую глубокіе корни и ознаменованную многочисленными, превосходными

плодами? До сей поры малое число хорошихъ писателей успѣло только дать нѣкоторый образъ нашему языку, но образъ литературы нашей еще не означился, не прорѣзался. Признаемся со смиреніемъ, но и съ надеждою: есть языкъ русскій, но нѣтъ еще словесности, достойнаго выраженія народа могучаго и мужественнаго... Поприще нашей литературы такъ еще просторно, что, не сбивая никого съ мѣста, можно предположить себѣ цѣль и безпрепятственно къ ней подвигаться. Намъ нужны опыты, покушенія; опасны намъ не утраты, а опасенъ застой".

Эти слова князь Вяземскій высказалъ во вступленіи къ своей статьѣ о „Кавказскомъ плѣнникѣ", замѣтивъ, что появленіе этой поэмы вмѣстѣ съ переводомъ Жуковскаго байроновскаго „Шильонскаго узника" означаетъ успѣхи посреди насъ поэзіи романтической. Критикъ считаетъ романтизмъ явленіемъ историческимъ, а потому и неизбѣжнымъ. „Нынѣ, кажется, настала эпоха литературнаго преобразованія", прибавляетъ онъ и намекаетъ, что главными участниками этого преобразованія въ русской литературѣ должно считать Жуковскаго и Пушкина. Критикъ, отдавъ полную справедливость Пушкину въ достоинствѣ поэтическаго изображенія Кавказа, замѣчаетъ нѣкоторые недостатки въ характерѣ плѣнника и, сблизивъ его съ байроновскимъ „Чайльдъ-Гарольдомъ", находитъ въ немъ отраженіе той дѣйствительной современной европейской жизни, которую переживала и часть русскаго образованнаго общества. „Подобныя лица,

говоритъ онъ, часто встрѣчаются взору наблюдателя въ нынѣшнемъ положеніи общества. Преизбытокъ силы, жизни внутренней, которая въ честолюбивыхъ потребностяхъ своихъ не можетъ удовольствоваться уступками внѣшней жизни, щедрой для однихъ умѣренныхъ желаній такъ называемаго благоразумія; необходимыя послѣдствія подобной распри: волненіе безъ цѣли, дѣятельность, пожирающая, не прикладываемая къ существенному, упованія, никогда не совершаемыя и вѣчно возникающія съ новымъ стремленіемъ, должны неминуемо посѣять въ душѣ тотъ неистребимый зародышъ скуки, приторности, пресыщенія, которыя знаменуютъ характеръ „Child Harold'a", „Кавказскаго плѣнника" и имъ подобныхъ".

Нельзя отрицать, что всѣ эти качества, указанныя княземъ Вяземскимъ, можно было встрѣтить въ немаломъ числѣ русскихъ людей изъ молодого поколѣнія, неудовлетворенныхъ узкими предѣлами законной дѣятельности, обманутыхъ въ своихъ ожиданіяхъ, недовольныхъ, раздраженныхъ [1]), и потому

---

[1]) Относясь къ этому времени, Ф. Глинка приводитъ такое сравненіе: «Если рыбу, разгулявшуюся въ раздольныхъ моряхъ, засадятъ въ садокъ, и та всплескиваетъ наверхъ, чтобъ вздохнуть вольнымъ божьимъ воздухомъ—душно ей! И душно было тогда въ Петербургѣ людямъ, только-что разставшимся съ полями побѣдъ, съ трофеями, съ Парижемъ и прошедшимъ на возвратномъ пути чрезъ сто тріумфальныхъ воротъ почти въ каждомъ городкѣ, на которыхъ на лицевой сторонѣ написано: «храброму россійскому воинству», а на обратной: «награда въ отечествѣ».—И эти разгулявшіеся рыцари попали въ тѣсную

понятно, что въ „Кавказскомъ плѣнникѣ“ они увидѣли нѣчто близкое, родственное, несмотря на всю неопредѣленность его характера. Это не былъ байронизмъ, но было извѣстное общественное томленье, вызванное насильственнымъ продолжительнымъ застоемъ послѣ сильнаго возбужденія въ эпоху 1812 года.

Нельзя еще не замѣтить, что въ той же статьѣ князь Вяземскій старается нравственно поддержать молодого опальнаго поэта „пылкаго и кипящаго жизнью“ противъ „строгихъ перетолкователей“. „Пусть ихъ мертвая оледенѣлость не уживается съ горячностью дарованія въ цвѣтѣ юности и силы, замѣчаетъ онъ, но мы съ своей стороны уговаривать будемъ поэта слѣдовать независимымъ вдохновеніямъ, въ полномъ увѣреніи, что бдительная цензура, которую нельзя упрекнуть у насъ въ потворствѣ, умѣетъ и безъ помощи посторонней удерживать писателей въ предѣлахъ позволеннаго. Впрочемъ, увѣщаніе наше излишне: какъ истинной чести двуличной быть нельзя, такъ и дарованіе возвышенное двуязычнымъ быть не можетъ. Въ непреклонной и благородной независимости оно умѣло бы предпочесть молчаніе языку заказному, обоюдному и холодному мнѣній не убѣдительныхъ, ибо источникъ ихъ не есть внутреннее убѣжденіе“.

Отозвался критикъ и на обѣщаніе поэта „раз-

рамку обыденности, въ застой совершенный, въ монотонію томительную, въ дисциплину Шварца и проч. Ну, вотъ и пошли мечты и помыслы». («Русск Стар.» 1871 г. Февраль).

сказать Мстислава древній поединокъ“ словами „слишкомъ долго поэзія русская чуждалась природныхъ своихъ источниковъ и почерпала въ постороннихъ родинахъ жизнь заемную, въ коей оказывалось одно искусство, но не отзывалось чувству біеніе чего-то родного и близкаго“.

Въ 1824 году князь Вяземскій по поводу „Бахчисарайскаго фонтана“ написалъ статью, въ формѣ разговора между издателемъ поэмы и классикомъ съ Выборгской стороны или Васильевскаго острова, и издалъ ее вмѣстѣ съ поэмою. Тамъ онъ устами классика высказалъ все, что говорилось въ нашихъ журналахъ противъ романтизма и новыхъ поэтовъ. Чтобы видѣть, какія мысли занимали нашу тогдашнюю критику, мы извлекаемъ ихъ изъ монологовъ классика. „Нельзя судить о дарованіи писателя по пристрастію къ нему суевѣрной черни читателей. Пора истинной классической литературы у насъ миновала. Нынѣ завелась какая-то школа новая, никѣмъ не признанная, кромѣ себя самой, не слѣдующая никакимъ правиламъ, кромѣ своей прихоти, искажающая языкъ Ломоносова, пишущая наобумъ, щеголяющая новыми выраженіями, новыми словами... Что значитъ у насъ этотъ духъ, эти формы германскія?.. Что такое народность въ словесности? Этой фигуры нѣтъ ни въ піитикѣ Аристотеля, ни въ піитикѣ Горація... Доказательствомъ, что въ романтической школѣ нѣтъ никакого смысла, можетъ служить то, что и самое названіе ея не имѣетъ смысла, опредѣленнаго, утвержденнаго общимъ условіемъ... Мы романтиками пріучены къ нечаян-

ностямъ. Заглавіе у нихъ эластическаго свойства: стоитъ только захотѣть, и оно обхватитъ все видимое и невидимое, или обѣщаетъ одно, а исполнитъ совершенно другое. Въ наше время обратили музъ въ разсказчицъ всякихъ небылицъ. Гдѣ же достоинство поэзіи, если питать ее однѣми сказками? Легкіе намеки, туманныя загадки — вотъ матеріалы, изготовленные романтическимъ поэтомъ, а тамъ читатель дѣлай изъ нихъ, что хочешь. Романтическій зодчій оставляетъ на произволъ каждому распоряженіе и устройство зданія — сущаго воздушнаго замка, не имѣющаго ни плана, ни основанія".

Отражая остроумно всѣ эти замѣчанія классиковъ, князь Вяземскій самъ вдается въ крайность и не только не разъяснилъ сущности романтизма, а скорѣе спуталъ вмѣстѣ и романтизмъ, и классицизмъ. „Возьмите три знаменитыя эпохи въ исторіи нашей литературы, говоритъ онъ, вы въ каждой найдете отпечатокъ германскій. Эпоха преобразованія, сдѣланная Ломоносовымъ въ русскомъ стихотворствѣ, эпоха преобразованія въ русской прозѣ, сдѣланная Карамзинымъ, нынѣшнее волненіе, волненіе романтическое и противозаконное, если такъ хотите назвать его, не явно ли показываютъ господствующую наклонность литературы нашей? Итакъ, наши поэты-современники слѣдуютъ движенію, данному Ломоносовымъ; разница только въ томъ, что онъ слѣдовалъ Гинтеру и нѣкоторымъ другимъ изъ современниковъ, а не Гёте и Шиллеру. Поэты-современники наши не болѣе грѣшны

поэтовъ предшественниковъ. Мы еще не имѣемъ русскаго покроя въ литературѣ, можетъ быть, и не будемъ, потому что его нѣтъ, но во всякомъ случаѣ поэзія новѣйшая, такъ называемая романтическая, не менѣе намъ сродна, чѣмъ поэзія Ломоносова или Хераскова, которую силятся выставить за классическую. Что̀ есть народнаго въ „Петріадѣ“ и „Россіадѣ“, кромѣ имени?.. Народности нѣтъ у Горація въ піитикѣ, но есть она въ его твореніяхъ. Она не въ правилахъ, но въ чувствахъ. Отпечатокъ народности, мѣстности—вотъ что̀ составляетъ, можетъ быть, главное существенное достоинство древнихъ и утверждаетъ ихъ право на вниманіе потомства... Нѣтъ сомнѣнія, что Гомеръ, Горацій, Эсхилъ имѣютъ гораздо болѣе сродства и соотношеній съ главами романтической школы, чѣмъ съ своими холоднымй, рабскими послѣдователями, кои силятся быть греками и римлянами заднимъ числомъ... Для романтической литературы еще не было времени условиться въ ея опредѣленіи. Начало ея въ природѣ, она есть, она въ обращеніи, но не поступила еще въ руки анатомиковъ“.

Изъ всего этого мы видимъ, что наша критика добралась до идеи народности черезъ нѣмецкій романтизмъ и стала разумѣть народность только въ мѣстныхъ краскахъ. Съ этой точки зрѣнія была сдѣлана и оцѣнка поэмы Пушкина: почти все сведено къ достоинству слога. Усомнившись въ вѣроятіи разсказа, критикъ замѣчаетъ, что поэзія часто дорожитъ тѣмъ, что̀ исторія отвергаетъ съ презрѣніемъ, и хвалитъ Пушкина за то, что онъ присвоилъ

поэзіи бахчисарайское преданіе, обогативъ его правдоподобными вымыслами.

„Цвѣтъ мѣстности, прибавляетъ онъ, сохраненъ въ повѣствованіи со всею возможною свѣжестью и яркостью. Есть отпечатокъ восточный въ картинахъ, въ самыхъ чувствахъ, въ слогѣ. Въ поэмѣ движенія много. Въ раму довольно тѣсную вложилъ поэтъ дѣйствіе, полное не отъ множества лицъ и сцѣпленія различныхъ приключеній, но отъ искусства, съ какимъ онъ умѣлъ выставить и оттѣнить главныя лица своего повѣствованія. Дѣйствіе зависитъ, такъ сказать, отъ дѣятельности дарованія: слогъ придаетъ ему крылья или гирями замедляетъ ходъ его. Въ твореніи Пушкина участіе читателя поддерживается съ начала до конца. До этой тайны иначе достигнуть нельзя, какъ заманчивостью слога“.

Такимъ образомъ и третій разсказъ Пушкина не послужилъ къ выясненію романтизма даже въ понятіяхъ такого остроумнаго критика, какимъ явился князь Вяземскій [1]). Для Пушкина, котораго

[1]) Не задолго до своей смерти князь Вяземскій, вспоминая прошедшее, написалъ слѣдующія строки: «Толки о романтизмѣ пошли съ легкой руки Шлегеля и ученицы его г-жи Сталь, особенно въ книгѣ ея о Германіи. Эта книга, которая показалась Наполеону I политически-революціонною, была имъ запрещена; во всякомъ случаѣ положила она начало литературной революціи во Франціи и въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ. Всѣ бросились въ средніе вѣка, въ рыцарскія преданія и въ легенды, въ сумракъ готическаго зодчества, въ мистицизмъ и т. д. Какимъ-то общимъ движеніемъ всѣ новокрещенцы новаго исповѣданія спѣшили отрекаться отъ грековъ и римлянъ, какъ

ставили во главѣ русскихъ романтиковъ, былъ, конечно, очень важенъ этотъ вопросъ, но всѣ объясненія не удовлетворяли его. „Твой разговоръ (при Бахчисарайскомъ фонтанѣ), писалъ онъ князю Вяземскому, болѣе писанъ для Европы, чѣмъ для Руси. Ты правъ въ отношеніи романтической поэзіи. Но старая классическая, на которую ты нападаешь, полно, существуетъ ли у насъ? Это еще вопросъ.. Гдѣ же враги романтической поэзіи? Гдѣ столбы классической?“ То же самое повторилъ онъ и въ „Сынѣ Отечества“ (1824 г.), когда почелъ своимъ долгомъ отразить журнальныя нападки на разговоръ князя Вяземскаго: „Разговоръ между издателемъ и классикомъ писанъ болѣе для Европы вообще, чѣмъ исключительно для Россіи, гдѣ противники романтизма слишкомъ слабы и незамѣтны и не стоятъ столь блистательнаго отраженія“. Въ

отъ сатаны, а отъ литературы ихъ — какъ отъ дѣлъ его. У насъ не было ни среднихъ вѣковъ, ни рыцарей, ни готическихъ зданій съ ихъ сумракомъ и своеобразнымъ отпечаткомъ; греки и римляне, грѣхъ сказать, не тяготѣли надъ нами. Мы болѣе слыхали о нихъ, чѣмъ водились съ ними Но романтическое движеніе, разумѣется, увлекло и насъ. Мы въ подобныхъ случаяхъ очень легки на подъемъ. Тотчасъ образовались у насъ два войска, два стана; классики и романтики доходили до чернильной драки. Всего забавнѣе было то, что налицо не было настоящихъ романтиковъ: были одни подставные и самозванцы. Грѣшный человѣкъ, увлекся и я тогда разлившимся и мутнымъ потокомъ. Пушкинъ остался тѣмъ, что́ былъ: ни исключительно классикомъ, ни исключительно романтикомъ, а просто поэтомъ и творцомъ, возвысившимся надъ литературною междоусобицею, которая въ сторонѣ отъ него суетилась, копошилась и почти бѣсновалась».

другомъ мѣстѣ онъ записалъ: „сколько я ни читалъ о романтизмѣ, все не то...“ „Наши критики не согласились еще въ ясномъ различіи между родами классическимъ и романтическимъ. Сбивчивымъ понятіемъ о семъ предметѣ обязаны мы французскимъ журналистамъ, которые обыкновенно относятъ къ романтизму все, что́ имъ кажется ознаменованнымъ печатью мечтательности и германскаго идеологизма или основаннымъ на предразсудкахъ и преданіяхъ простонародныхъ. Опредѣленіе самое неточное. Стихотвореніе можетъ являть всѣ эти признаки, а между тѣмъ принадлежать къ роду классическому“. Далѣе онъ предполагаетъ различіе въ формѣ: произведенія въ формахъ новыхъ, неизвѣстныхъ древнимъ литературамъ, должны назваться романтическими. „Если же, вмѣсто формы стихотворенія, будемъ брать за основаніе только духъ, въ которомъ оно написано, то никогда не выпутаемся изъ опредѣленій“... Пушкинъ не развилъ этой мысли. Но если далѣе логически развивать ее, то легко дойти до мысли, что съ романтизмомъ онъ соединялъ особые пріемы творчества, которые не выказывались у классическихъ поэтовъ. Какіе же именно эти пріемы, Пушкинъ могъ только чувствовать по своимъ собственнымъ стремленіямъ, но не объяснять ихъ теоретически. Только по послѣдующимъ произведеніямъ нашего поэта мы можемъ угадать, что съ романтизмомъ онъ соединилъ вполнѣ свободное художественное творчество, не стѣсняемое никакими односторонними взглядами и теоріями.

Новые факты, имѣвшіе вліяніе на дальнѣйшую судьбу Пушкина и вызванные имъ самимъ, относятся къ одесской его жизни, когда онъ числился уже при канцеляріи новороссійскаго генералъ-губернатора, графа Воронцова. Ища новыхъ впечатлѣній, Пушкинъ каждый годъ отпрашивался у генерала Инзова въ Одессу. Тамъ его привлекали болѣе европейская жизнь, театръ; тамъ же завязывались у него и новыя сердечныя связи, о которыхъ говорятъ намъ и его стихотворенія того времени. Эти отпуски давались ему тѣмъ легче, что весь Новороссійскій край временно управлялся тѣмъ же Инзовымъ. Но въ половинѣ 1823 г. все управленіе перешло въ руки графа Воронцова, образованнаго и блестящаго вельможи-англомана, который старался набирать въ свою канцелярію благовоспитанныхъ чиновниковъ. Мы не знаемъ, самъ ли Пушкинъ захотѣлъ перемѣнить Кишиневъ на Одессу, или графъ Воронцовъ думалъ его приблизить къ себѣ и воспользоваться его силами, но только въ половинѣ 1823 г. состоялся приказъ о переводѣ его на службу въ Одессу [1]). По всей вѣроятности, Пушкинъ

---

[1]) Объ этомъ обстоятельствѣ Пушкинъ мимоходомъ сообщаетъ брату: «здоровье мое давно требовало морскихъ ваннъ, я насилу уломалъ Инзова, чтобъ онъ отпустилъ меня въ Одессу. Я оставилъ мою Молдавію, и явился въ Европу. Ресторація и Итальянская опера напомнили мнѣ старину и, ей Богу, обновили мнѣ душу. Между тѣмъ пріѣзжаетъ Воронцовъ, принимаетъ меня очень ласково, объявляетъ мнѣ, что я перехожу подъ его начальство, что остаюсь въ Одессѣ. Кажется, и хорошо, да новая печаль мнѣ сжала грудь—мнѣ стало жаль моихъ покину-

смотрѣлъ на этотъ переводъ, какъ на ступень къ возвращенію въ Петербургъ, о чемъ онъ постоянно думалъ. Такъ, еще прежде онъ писалъ къ брату: „Жуковскому я писалъ, онъ мнѣ не отвѣчаетъ; министру я писалъ — онъ и въ усъ не дуетъ". И затѣмъ приводитъ стихъ изъ своего стихотворенія „Къ Овидію": О, други, Августу мольбы мои несите... „Ты собираешься въ Москву, пишетъ онъ въ другомъ письмѣ, тамъ увидишь ты моихъ друзей — напомни имъ обо мнѣ, также и роднѣ моей, которая, впрочемъ, мало заботится о судьбѣ племянника, находящагося въ опалѣ. Можетъ быть, они и правы, да и я не виноватъ". Чувство неволи по временамъ сильно томило поэта. Только оно могло вызвать задушевное его стихотвореніе Птичка, въ которомъ слышатся слова человѣка, испытавшаго это чувство:

Я сталъ доступенъ утѣшенью;
За что на Бога мнѣ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать.

Но Пушкинской натурѣ невозможно было настолько съузиться, чтобы подойти подъ обыденный чиновничій идеалъ человѣка благоразумнаго и благонадежнаго. Хотя генералъ Инзовъ, по своей до-

тыхъ цѣпей. Пріѣхалъ въ Кишиневъ на нѣсколько дней, провелъ ихъ неизъяснимо элегически и, выѣхавъ оттуда навсегда, о Кишиневѣ я вздохнулъ. Теперь я опять въ Одессѣ и все еще не могу привыкнуть къ европейскому образу жизни. Впрочемъ, я нигдѣ не бываю, кромѣ театра».

бротѣ, и покрывалъ всѣ его выходки и странности, но, какъ видно, о нихъ знали въ Петербургѣ. Мы уже видѣли, какъ Карамзинъ отзывался о немъ; въ то же время и А. И Тургеневъ писалъ къ Дмитріеву: „Пушкинъ написалъ другую поэму, но въ поведеніи не исправился; хочетъ непремѣнно не однимъ талантомъ походить на Байрона.

Perdu pour ses amis il vit pour l'univers,
Nous pleurons son sort en repetant ses vers.

И Одесса не доставила Пушкину того, чего онъ такъ сильно желалъ. Тамъ онъ скоро долженъ былъ почувствовать, что оффиціальное его положеніе измѣнилось къ худшему, почувствовать, что у него есть начальство, чего онъ почти не замѣчалъ въ Кишиневѣ, что онъ прежде всего чиновникъ, слѣдственно обязанъ сжаться въ чиновничьи рамки, чтобы заслужить благоволеніе начальства и добиться хорошаго о себѣ отзыва. Чиновничьи нравы никакъ не согласовались съ идеаломъ нашего поэта, который не могъ выносить никакой оффиціальности [1]). Графъ Воронцовъ, при всѣхъ своихъ достоинствахъ и несмотря на свою англоманію, былъ все же русскій баринъ, русскій администраторъ и начальникъ—эти качества должны были отражаться въ его отношеніяхъ къ чиновникамъ. До сихъ поръ Пушкинъ держалъ себя свободно, наравнѣ со вся-

[1]) «Просвѣщенному ли человѣку, русскому ли сатирику пристало смѣяться надъ независимостью писателя», писалъ онъ въ это же время Дельвигу, указывая съ укоромъ выраженіе Сомовъ безмундирный и называя его непростительнымъ.

кимъ лицомъ, какъ бы высоко оно ни было поставлено; иныхъ отношеній для себя онъ и не понималъ. Теперь онъ посмотрѣлъ на себя, какъ на человѣка, надъ которымъ хотятъ сдѣлать насиліе, заставивъ его служить противъ воли. Этому онъ энергически воспротивился, а на замѣчаніе, что „онъ обязанъ служить, получая казенное жалованье", у него былъ готовъ отвѣтъ: „я принимаю 700 руб. не такъ, какъ жалованье чиновника, но какъ паекъ ссылочнаго невольника. Я готовъ отъ нихъ отказаться, если не могу быть властенъ въ моемъ времени и занятіяхъ". Онъ гордо требовалъ, чтобы на занятія поэта смотрѣли не какъ на бездѣлье или праздный досугъ, а какъ на честный трудъ на ряду со всякимъ законнымъ ремесломъ, какъ на отрасль честной промышленности, доставляющей пропитаніе и домашнюю независимость. На взглядъ многихъ изъ тогдашнихъ писателей, этимъ заявленіемъ онъ унижалъ поэзію, но на самомъ дѣлѣ онъ завоевывалъ ей права гражданства, возвышалъ ее на степень почтеннаго труда, требовалъ признанія ея пользы, наконецъ, защищалъ свободу поэта противъ чиновничьяго насилія, которое всѣ общественныя силы хотѣло подчинить одному своему идеалу. Пушкинъ даже не затруднился назвать свое занятіе книжнымъ торгомъ и указывалъ, сколько онъ терялъ отъ своего подневольнаго состоянія: „я поминутно долженъ отказываться отъ самыхъ выгодныхъ предложеній, единственно по той причинѣ, что нахожусь за 2000 верстъ отъ столицъ; а только тамъ и можно вести книжный

торгъ: тамъ находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы". Пушкинъ хотѣлъ отстоять свою независимость, не хотѣлъ отречься отъ себя, но въ то же время не могъ не чувствовать и своего безсилія въ этомъ оффиціальномъ кругу, гдѣ поневолѣ пришлось вращаться ему въ качествѣ Богъ знаетъ кого. Его поэзію графъ Воронцовъ не уважалъ, потому что видѣлъ въ ней повтореніе Байрона, а на Байрона онъ смотрѣлъ черезъ очки англійской аристократіи, которая относилась къ нему очень враждебно. Легко могло быть, что графъ невыгодно при другихъ отзывался о поэзіи Пушкина и что эти отзывы передавались нашему поэту. А мы знаемъ, какъ сильно затрогивалось его самолюбіе при каждомъ подобномъ отзывѣ объ его стихахъ, и какъ онъ иногда былъ злопамятенъ даже противъ своихъ друзей, которымъ случалось неловко задѣвать его какимъ-нибудь замѣчаніемъ. Въ этомъ случаѣ онъ обыкновенно мстилъ эпиграммами. Нѣчто эпиграмматическое слышалось и въ словѣ милордъ, которое Пушкинъ за-глаза относилъ къ Воронцову.

Одинъ годъ прожилъ Пушкинъ въ Одессѣ при графѣ Воронцовѣ, но этотъ годъ можно назвать тяжелымъ для его нравственнаго существованія. Чтобы представить его жизнь за то время, воспользуемся страницею изъ воспоминаній Липранди: „Мнѣ случилось въ первый разъ обѣдать съ Пушкинымъ у графа. Онъ сидѣлъ довольно далеко отъ меня и черезъ столъ часто переговаривался съ Ольгой Станиславовной Нарышкиной (урожденной

графинею Потоцкой), но разговоръ почему-то вовсе не одушевлялся. Графиня Воронцова и Башмакова (Варвара Аркадьевна, урожденная княжна Суворова) иногда вмѣшивались въ разговоръ двумятремя словами. Пушкинъ былъ чрезвычайно сдержанъ и въ мрачномъ настроеніи духа. Вставши изъза стола, мы съ нимъ столкнулись, когда онъ отъискивалъ между многими свою шляпу, и на вопросъ мой—„куда“? Отдохнуть, отвѣчалъ онъ мнѣ, присовокупивъ: „это не обѣды Бологовскаго, Орлова“ (кишиневскихъ пріятелей), и даже не окончилъ, вышелъ, сказавъ, что когда я пріѣду, то далъ бы знать... Въ восемь часовъ возвратился домой и, проходя мимо номера Пушкина, зашелъ къ нему. Я засталъ его въ самомъ веселомъ расположеніи духа, безъ сюртука, сидящимъ на колѣняхъ у мавра Али. Этотъ мавръ, родомъ изъ Туниса, былъ капитаномъ, т.-е. шкиперомъ коммерческаго или своего судна, человѣкъ очень веселаго характера, лѣтъ тридцати пяти, средняго роста, плотный, съ лицомъ загорѣлымъ и нѣсколько рябоватымъ, но очень пріятной физіономіи. Али очень полюбилъ Пушкина, который не иначе называлъ его, какъ корсаромъ. Али говорилъ нѣсколько по-французски и очень хорошо по-итальянски. Мой приходъ не перемѣнилъ ихъ положенія. Пушкинъ мнѣ рекомендовалъ его, присовокупивъ, что „у меня лежитъ къ нему душа: кто знаетъ, можетъ быть, мой дѣдъ съ его предками были близкой родней“. И вслѣдъ за симъ началъ его щекотать, чего мавръ не выносилъ, а это забавляло Пушкина. Я пригласилъ

его къ себѣ пить чай, сказавъ, что кое-кто обѣщали проводить меня. Пушкинъ принялъ это съ большимъ удовольствіемъ, присовокупивъ, что это напомнитъ ему Кишиневъ, и вызвался привести съ собой Али... Господствующій разговоръ былъ о Кишиневѣ. Александръ Сергѣевичъ находилъ, что положеніе его во всѣхъ отношеніяхъ было гораздо выносимѣе тамъ, нежели въ Одессѣ, и нѣсколько разъ принимался щекотать Али, говоря, что онъ составляетъ здѣсь для него единственное наслажденіе... Дней черезъ десять я опять пріѣхалъ въ Одессу, и тотчасъ послалъ дать знать Пушкину. Человѣкъ возвратился съ извѣстіемъ, что онъ еще спитъ, что пришелъ домой въ пять часовъ утра изъ маскарада... Я узналъ, что маскарадъ былъ у графа. Въ часъ мы нашли Пушкина еще въ кровати, съ поджатыми по обыкновенію ногами и что-то пишущимъ. Онъ былъ очень не въ духѣ отъ бывшаго маскарада, разсказалъ нѣкоторые эпизоды и въ особенности былъ раздраженъ на барона Брунова (тогда коллежскаго ассессора, а потомъ посланника) и на улыбку довольствія графа. Такъ какъ первымъ условіемъ маскарада было костюмироваться, то Брунов костюмировался валетомъ червей и сплошь обшилъ себя червонными валетами. Подойдя къ графу и графинѣ и подавая какіе-то стихи на французскомъ языкѣ, онъ сказалъ что-то въ родѣ, что le valet de coeur fait hommage au roi des coeurs. Пушкинъ не переваривалъ этихъ словъ, а милордъ и чета его приняли это съ большимъ удовольствіемъ, и вдругъ расхохотался... Я началъ замѣчать, что

Пушкинъ былъ недоволенъ своимъ пребываніемъ относительно общества, въ которомъ онъ болѣе или менѣе вращался... Я не проникалъ въ эти причины, хотя очень часто съ нимъ и еще съ двумя-тремя дѣлали экскурсіи, гдѣ, какъ говорится, всѣ распоясывались. Я замѣчалъ какой-то abandon въ Пушкинѣ, но не искалъ проникать въ его задушевное и оставлялъ безъ особеннаго вниманія... Мы начали находить въ Пушкинѣ большую перемѣну даже въ сужденіяхъ. По нѣкоторымъ вырывавшимся у него словамъ, Алексѣевъ, бывшій къ нему ближе и интимнѣе, нежели я, думалъ видѣть въ немъ какъ будто бы какое-то ожесточеніе. Въ Одессѣ было общество, которое могло занимать Пушкина во всѣхъ отношеніяхъ, не говоря о высшихъ кругахъ, какъ, напримѣръ, въ домахъ гр Воронцова, Нарышкина, Башмакова, кишиневскаго его знакомца Пущина и нѣкоторыхъ другихъ. Но я понималъ, по крайней мѣрѣ по собственному образу мыслей, что такой кругъ не могъ удовлетворять Пушкина; ему по природѣ его нужно было разнообразіе съ разительными противоположностями, какъ встрѣчалъ онъ ихъ въ продолженіе почти трехлѣтняго пребыванія своего въ Кишиневѣ. Онъ отвыкъ и, какъ говорилъ, никогда и не любилъ аристократическихъ семейныхъ этикетныхъ обществъ, существовавшихъ въ выше названныхъ домахъ, а отъ нихъ перешедшихъ въ салоны и къ нѣкоторымъ болѣе значительнымъ негоціантамъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ казалось страннымъ, что онъ не то чтобы убѣгалъ безусловно, но и не искалъ быть въ кругу лицъ, шедшихъ тѣмъ

же литературнымъ путемъ, какъ и онъ... Онъ безъ видимой охоты посѣщалъ и литературные вечера Варвары Дмитріевны Казначеевой, урожденной княжны Волконской, очень умной, любезной и начитанной женщины, страстной любительницы литературы... Пріѣзды А. И. Раевскаго развлекали Пушкина, какъ будто оживляли его, точно такъ же, какъ когда встрѣчался онъ съ кѣмъ-либо изъ кишиневскихъ. Тогда разспросамъ не было конца; обѣдъ, ужинъ, завтракъ съ старыми знакомыми оживляли его, и дѣйствительно, повторяю, что сравнительно съ Одессой Кишиневъ какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ характеру Пушкина. Въ Одессѣ, независимо отъ встрѣчъ съ знакомыми бессарабцами, театръ иногда служилъ развлеченіемъ. Изъ всѣхъ домовъ, посѣщаемыхъ Пушкинымъ въ Одессѣ, особенно любилъ онъ обѣдать у негоціанта Сикара, нѣкогда французскаго консула, одного изъ старѣйшихъ жителей Одессы и автора брошюры на французскомъ языкѣ о торговлѣ въ Одессѣ. Пять-шесть обѣдовъ въ годъ, имъ даваемыхъ, не иначе какъ званыхъ и немноголюдныхъ, дѣйствительно были замѣчательны отсутствіемъ всякаго этикета при высшей сервировкѣ стола. Пушкинъ былъ всегда приглашаемъ, и здѣсь я его находилъ, какъ говорится, совершенно въ своей тарелкѣ, дающимъ иногда волю болтовнѣ, которая любезно принималась собесѣдниками... Я былъ еще три раза въ Одессѣ и каждый разъ находилъ Пушкина болѣе и болѣе недовольнымъ; та веселость, которая одушевляла его въ Кишиневѣ, проявлялась только

тогда, когда онъ былъ съ мавромъ Али. Мрачное настроеніе духа Александра Сергѣевича породило много эпиграммъ, изъ которыхъ едва ли не бо́льшая часть была имъ только сказана, но попала на бумагу и сдѣлалась извѣстной. Эпиграммы эти касались многихъ и изъ канцеляріи графа, такъ, напримѣръ, про начальника отдѣленія Артемьева особенно отличалась отъ другихъ своими убійственными, но вѣрными выраженіями. Стихи его на нѣкоторыхъ дамъ, бывшихъ на балѣ у графа, своимъ содержаніемъ раздражили всѣхъ. Начались сплетни, интриги, которыя еще болѣе тревожили Пушкина. Говорили, будто графъ черезъ кого-то изъявилъ Пушкину свое неудовольствіе, и что это было поводомъ злыхъ стиховъ о графѣ Услужливость нѣкоторыхъ тотчасъ распространила ихъ. Не нужно было искать, къ чьему портрету они мѣтили. Графъ не показалъ и вида какого-либо негодованія, попрежнему приглашалъ Пушкина къ обѣду, попрежнему обмѣнивался съ нимъ нѣсколькими словами. Черезъ нѣсколько времени получены были изъ разныхъ мѣстъ извѣстія о появленіи саранчи, выходившей уже изъ зимнихъ квартиръ своихъ, на иныхъ мѣстахъ еще ползающей, на другихъ перешедшей въ періодъ скачки. Несмотря на мѣры, принятыя мѣстными губернаторами, графъ послалъ и отъ себя нѣсколько военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ. Въ числѣ ихъ былъ назначенъ и Пушкинъ, положительно съ цѣлью, чтобы по окончаніи командировки имѣть поводъ сдѣлать о немъ представленіе къ какой-либо наградѣ. Но Пуш-

кинъ съ настроеніемъ своего духа принялъ это за оскорбленіе, за месть [1]). Нашлись люди, которые, вмѣсто успокоенія его раздражительности, старались еще болѣе усилить оную или молчаніемъ, когда онъ кричалъ во всеуслышаніе, или даже поддакиваніемъ. Послѣдствіемъ этого было письмо его на французскомъ языкѣ къ графу въ сильныхъ и, можно сказать, неумѣстныхъ выраженіяхъ...“

Судя по одному письму Пушкина къ Ал. Бестужеву, можно заключить, что онъ считалъ себя оскорбленнымъ не тѣмъ, что на него посмотрѣли какъ на чиновника, а вмѣшалось тутъ другое чувство— оскорбленіе человѣческаго достоинства подъ видомъ небрежнаго отношенія къ поэту. Пушкинъ хотѣлъ высоко держать литературное знамя и понималъ, что независимость писателя должна опираться на независимость личности человѣка. Но въ жизни тогдашняго чиновнаго общества идеалъ человѣка ничего не значилъ; являться съ нимъ и требовать себѣ уваженія было совершенно напрасно. Гражданской равноправности не существовало. Равно-

[1]) По другому свидѣтельству, Пушкинъ будто бы принялъ эту командировку, плодомъ которой было слѣдующее донесеніе начальству:

Саранча — Сидѣла, сидѣла,
Летѣла, летѣла — Все съѣла
И сѣла. — И улетѣла.

По нѣкоторымъ извѣстіямъ, съ этой командировкой соединялось разстройство любовныхъ плановъ Пушкина, что́ его также раздражало. (См. «Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива», кн. П. П. Вяземскаго, стр. 63).

правны по закону были только дворяне, и Пушкину пришлось опереться на свое родовое дворянство, чтобы возвысить и право писателя. Имѣя въ виду нѣкоторыхъ писателей прежняго времени, которые умѣли съ достоинствомъ держать себя передъ сильными, онъ писалъ: „наша словесность, уступая другимъ въ роскоши талантовъ, тѣмъ передъ ними отличается, что не носитъ на себѣ печати рабскаго униженія. Наши таланты благородны, независимы. Съ Державинымъ умолкнулъ голосъ лести, а какъ онъ льстилъ:

О, вспомни, какъ въ томъ восхищеньи
Пророча, я тебя хвалилъ:
«Смотри», я рекъ, «тріумфъ минута,
А добродѣтель вѣкъ живетъ» [1]).

„Прочти посланіе къ А (императору Александру I — Жуковскаго 1815 г.). Вотъ какъ русскій поэтъ говоритъ русскому царю. Пересмотри наши журналы, все текущее въ литературѣ... О какой лирѣ можно сказать, что̀ Мирабо сказалъ о Сіэсѣ: son silence est une calamité publique. Иностранцы намъ изумляются; они отдаютъ намъ полную справедливость, не понимая, какъ это сдѣлалось. Причина ясна. У насъ писатели взяты изъ высшаго класса общества. Аристократическая гордость сливается у нихъ съ авторскимъ самолюбіемъ; мы не хотимъ быть покровительствуемы равными—вотъ чего п-цъ Воронцовъ не понимаетъ. Онъ воображаетъ, что русскій поэтъ явится въ его передней

[1]) Въ одѣ къ Зубову, когда тотъ былъ уже въ немилости.

съ посвященіемъ или съ одою—а тотъ является съ требованіемъ на уваженіе, какъ шестисотлѣтній дворянинъ. Дьявольская разница!"

Друзья и недруги Пушкина — либералы-идеалисты стали нападать на такой аристократическій взглядъ поэта, одни—видя въ этомъ желаніе разъигрывать изъ себя Байрона, другіе—измѣну прежнимъ убѣжденіямъ; но они не знали, что̀ въ это же самое время писалъ Пушкинъ своему начальству: „Я не могу, да и не хочу напрашиваться на дружбу съ графомъ Воронцовымъ, а еще менѣе на его покровительство (мое уваженіе къ этому человѣку не дозволяетъ мнѣ унизиться передъ нимъ). Ничто такъ не позоритъ человѣка, какъ протекція. Я имѣю своего рода демократическіе предразсудки, которые, думаю, стоятъ предразсудковъ аристократическихъ. Я жажду одного—независимости (простите мнѣ это слово ради самого понятія). Я надѣюсь обрѣсти ее съ помощью мужества и постоянныхъ усилій... Мнѣ только становится не въ мочь зависѣть отъ хорошаго или дурного пищеваренія того или другого начальника; мнѣ надоѣло видѣть, что меня въ моемъ отечествѣ принимаютъ хуже, чѣмъ перваго пришлаго пошляка изъ англичанъ, который пріѣзжаетъ къ намъ безпечно разматывать свое ничтожество и свое бормотанье"... [1]).

Въ этихъ словахъ слышится гордый голосъ не дворянина, а человѣка, сознающаго свое достоин-

[1]) Анненкова—А. С. Пушкинъ

ство, представителя общественныхъ силъ, которыя заявляли свои законныя требованія. Пушкинъ вполнѣ сознавалъ, на какую борьбу онъ дѣлаетъ вызовъ: „Знаю, что довольно этого письма, пишетъ онъ, чтобы меня, какъ говорится, уничтожить. Если графъ прикажетъ подать въ отставку, я готовъ; но чувствую, что, перемѣнивъ мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надѣюсь“. И несмотря на это, онъ идетъ на встрѣчу бѣдѣ, лишь бы только вырваться изъ того двусмысленнаго положенія, въ какое онъ былъ поставленъ своимъ оффиціальнымъ званіемъ чиновника. Но, опираясь на свое родовое дворянство, Пушкинъ забылъ, что у насъ существовала еще другая сила, можетъ быть, поважнѣе первой,—сила, которая выражалась въ поговоркѣ: „чинъ чина почитай“. Пушкинъ дѣйствительно ставилъ свою судьбу на карту. Можетъ быть, этотъ поступокъ назовутъ опрометчивымъ, неблагоразумнымъ, но нельзя не сознаться, что прямота характера вызываетъ невольное уваженіе. Здѣсь передъ нами уже не поэтъ, а человѣкъ-геній, у котораго нѣтъ кумировъ. Здѣсь же припоминается гордый отвѣтъ Ломоносова своему начальству на угрозу отставить его отъ академіи: „скорѣе отъ меня отставятъ академію“. Какъ въ лицѣ Ломоносова гордо приподнимала голову наука, такъ въ лицѣ Пушкина поднимала ее поэзія; а цѣль той и другой одна—поднять высшіе интересы жизни человѣка. Нельзя не замѣтить, что Пушкинъ нѣсколько идеально представлялъ нравственную сторону нашей лите-

ратуры, полагая, что дворянское званіе большинства нашихъ писателей спасало ее отъ униженія. Вѣрно представилъ положеніе русскаго писателя почти въ то же время князь Вяземскій: „У насъ въ обществѣ нѣтъ писателю мѣста. По свѣтскому уложенію нашего общества, авторство не есть званіе, коего представительство имѣетъ свои права, свой голосъ и законный удѣлъ на съѣздѣ чиновъ большого свѣта. Писатель въ Россіи, когда онъ не съ перомъ въ рукахъ, не въ книгѣ своей, есть существо отвлеченное, метафизическое: если онъ хочетъ быть существомъ положительнымъ, то имѣй онъ еще въ запасѣ постороннее званіе, и сія эпизодическая роль затмитъ и перевѣситъ главную. Исключенія изъ сего правила рѣдки и всегда случайны и временны. Можно пробыть авторомъ въ обществѣ на полъ часа, подобно пѣвцу или піанисту, которые обращаютъ на себя вниманіе только, пока ихъ искусство въ дѣйствіи... Роль, которую играли во Франціи писатели, такъ называемые gens de lettres, въ особенности же царствованія Людовика XV и Людовика XVI до начала революціи, такъ далека отъ нашихъ нравовъ и господствующихъ у насъ понятій, что мы худо постигаемъ всемогущее вліяніе, которое они имѣли не только на общую образованность народа, но и на частныя мнѣнія и привычки общества“...

Пушкинъ терпѣть не могъ выступать въ обществѣ въ качествѣ писателя, но и какъ существо положительное въ смыслѣ князя Вяземскаго, онъ былъ не болѣе какъ коллежскій секретарь, да при-

томъ еще опальный, ввѣренный особенному надзору начальства [1]). Тѣмъ болѣе онъ представляется какимъ-то героемъ, рѣшившись вступить въ борьбу, чтобы отстоять независимость своего положенія, какъ человѣка и вмѣстѣ какъ поэта.

Не зная, чѣмъ именно графъ Воронцовъ оскорбилъ Пушкина, всегда слишкомъ щекотливаго въ вопросахъ чести, мы не имѣемъ повода относиться къ нему съ рѣзкимъ осужденіемъ. Напротивъ, изъ того, что̀ намъ извѣстно, мы можемъ заключить, что онъ съ большимъ тактомъ думалъ кончить всю эту исторію. Имѣя власть дѣйствительно уничтожить своего чиновника, позволившаго себѣ дерзкую выходку, онъ не сдѣлалъ этого, не далъ даже ходу просьбѣ Пушкина объ отставкѣ,—просьбѣ, которая могла бы вызвать разныя объясненія со стороны высшаго начальства, такъ какъ Пушкинъ былъ въ исключительномъ положеніи, и объясненіе, конечно, не къ выгодѣ поэта. Графъ Воронцовъ хотѣлъ просто удалить Пушкина изъ Одессы въ другую губернію и обратился съ письмомъ къ министру иностранныхъ дѣлъ графу Несельроде, такъ какъ Пушкинъ числился на службѣ по этому

---

[1]) Въ письмѣ къ А. И. Тургеневу Пушкинъ писалъ: Не странно ли, что я поладилъ съ Инзовымъ, а не могъ ужиться съ Воронцовымъ. Дѣло въ томъ, что онъ началъ вдругъ обходиться со мною съ непристойнымъ неуваженіемъ, я могъ дождаться большихъ непріятностей и своей просьбой предупредилъ его желаніе. Воронцовъ — вандалъ, придворный... и мелкій эгоистъ. Онъ видѣлъ во мнѣ коллежскаго секретаря, а я, признаюсь, думаю о себѣ что-то другое...

министерству. Письмо написано сдержанно, осторожно, съ видимымъ желаніемъ какъ-нибудь не повредить поэту, хотя между строкъ и можно читать желаніе поскорѣе отъ него избавиться:

„Вашему сіятельству извѣстны причины, по которымъ нѣсколько времени тому назадъ молодой Пушкинъ былъ посланъ съ письмомъ отъ графа Каподистріи къ генералу Инзову. Во время моего пріѣзда сюда генералъ Инзовъ предоставилъ его въ мое распоряженіе, и съ тѣхъ поръ онъ живетъ въ Одессѣ, гдѣ находился еще до моего пріѣзда, когда генералъ Инзовъ былъ въ Кишиневѣ. Я не могу пожаловаться на Пушкина за что-либо, напротивъ, казалось, онъ сталъ гораздо сдержаннѣе и умѣреннѣе прежняго, но собственный интересъ молодого человѣка, не лишеннаго дарованій, и котораго недостатки происходятъ скорѣе отъ ума, нежели отъ сердца, заставляетъ меня желать его удаленія изъ Одессы. Главный недостатокъ Пушкина—честолюбіе. Онъ прожилъ здѣсь сезонъ морскихъ купаній и имѣетъ уже множество льстецовъ, хвалящихъ его произведенія; это поддерживаетъ въ немъ вредное заблужденіе и кружитъ его голову тѣмъ, что онъ замѣчательный писатель, въ то время какъ онъ только слабый подражатель писателя, въ пользу котораго можно сказать очень мало. Это обстоятельство отдѣляетъ его отъ основательнаго изученія великихъ классическихъ поэтовъ, которые имѣли бы хорошее вліяніе на его талантъ, въ чемъ ему нельзя отказать, и сдѣлали бы изъ него современемъ замѣчательнаго писателя.

Удаленіе его отсюда будетъ лучшая услуга для него... По всѣмъ этимъ причинамъ я прошу ваше сіятельство довести объ этомъ до свѣдѣнія государя и испросить его рѣшенія по оному. Ежели Пушкинъ будетъ жить въ другой губерніи, онъ найдетъ болѣе поощрителей къ занятіямъ и избѣжитъ здѣшняго опаснаго общества. Повторяю, графъ, что я прошу этого только ради него самого; надѣюсь, моя просьба не будетъ истолкована ему во вредъ и вполнѣ убѣжденъ, что, только согласившись со мною, ему можно будетъ дать болѣе средствъ обработать его рождающійся талантъ, удаливъ его въ то же время отъ того, что̀ ему такъ вредно — отъ лести и столкновенія съ заблужденіями и опасными идеями“ [1]).

Въ то же самое время Пушкинъ писалъ къ князю Вяземскому: «Я поссорился съ Воронцовымъ и завелъ съ нимъ полемическую переписку, которая кончилась съ моей стороны просьбою объ отставкѣ. Но чѣмъ кончатъ власти, еще неизвѣстно... У меня голова кругомъ идетъ“. Вяземскій, надо полагать, одобрилъ Пушкина, который въ слѣдующемъ письмѣ приписалъ: „ты, конечно, правъ; болѣе чѣмъ когда-нибудь обязанъ я уважать себя. Унижаться передъ правительствомъ была бы глупость [2]).

Изъ всего этого видно, какъ Пушкинъ смотрѣлъ на свое столкновеніе съ княземъ Воронцовымъ:

---

[1]) Матеріалы для біографіи Пушкина. Лейпцигъ. 1875.

[2]) «Русскій Архивъ», 1874, № 1.

это была для него борьба не личная, а съ правительствомъ; оно же смотрѣло на всякое неповиновеніе и сопротивленіе личности, какъ на примѣръ опасный, и спѣшило сдѣлать борьбу невозможною. Но Пушкинъ, ожидая грозы, не предвидѣлъ, что она шла противъ него не со стороны Воронцова. Явились факты другого рода, которые предупредили намеки Воронцова и рѣшили судьбу поэта. Слишкомъ за два мѣсяца до письма графа, которое было подписано 28 марта 1824 года, былъ написанъ рапортъ бывшаго военнаго генералъ-полиціймейстера 1-й арміи генералъ-маіора Скобелева къ своему начальству. Скобелевъ пострадалъ послѣ извѣстной семеновской исторіи за то, что старался смягчить опасенія и подозрѣнія правительства въ политической неблагонадежности гвардіи. Онъ представлялъ, что полиція нужна собственно не для войска, гдѣ она была бы „явнымъ оскорбленіемъ ревнующихъ къ пользамъ службы воиновъ“, а для провіантской и комиссаріатской части, „изъ коихъ большая часть исполняютъ дѣла службы подъ руководствомъ подлой корысти“. Находясь не у дѣлъ и желая, вѣроятно, загладить дурное впечатлѣніе отъ своей прежней невинной либеральности, онъ написалъ въ формѣ рапорта доносъ на Пушкина уже совершенно въ другомъ духѣ. Поводомъ было множество рукописныхъ либеральныхъ стихотвореній, которыя всѣ ходили съ именемъ Пушкина, хотя большая часть и не принадлежала ему.

„Утомясь угрызеніями грозно преслѣдующей

меня совѣсти, пишетъ Скобелевъ, и оплакавъ шагъ, сдѣланный мною по необузданному побужденію слѣпой вѣры къ предмету, повергшему меня въ долю наизлополучнѣйшую, я постепенно привыкаю къ имени человѣка черезъ праздность ничтожнаго. Не имѣя правъ смотрѣть вамъ въ глаза съ тою благородною свободою, каковая нѣкогда была лестною вывѣскою души моей, безъ сомнѣнія, не буду я искать случая присутствіемъ своимъ навлечь вамъ тягость; но какъ минутная погрѣшность, въ основаніе которой вошли причины неопытности моей, чрезъ мѣру важныя, не сильны были умертвить во мнѣ постоянныхъ порывовъ къ истинному добру, и несчастіе не потушило пламеннаго желанія быть полезнымъ благодѣтелю царю, то и рѣшился я доложить вашему превосходительству: не лучше ли было бы оному Пушкину, который изрядныя дарованія свои употребилъ въ явное зло, запретить издавать развратныя стихотворенія. На соблазнъ они для людей, къ воспитанію коихъ пріобщено спасительное попеченіе; но въ настоящее время, по всей вѣроятности, большая часть родителей о томъ даже и не помышляетъ. Всѣ, какъ по божьему гнѣву, спѣшатъ учить языкамъ, числомъ коихъ свершается курсъ наукъ питомцевъ пагубной моды... Я не имѣю у себя стиховъ сказаннаго вертопраха, которые повсюду ходятъ подъ именемъ Мысль о свободѣ [1]).

[1]) Это не «Ода на вольность» Пушкина, но другое стихотвореніе неизвѣстнаго автора.

Но, судя по возраженіямъ, ко мнѣ дошедшимъ, они должны быть весьма дерзки... Еслибъ сочинитель вредныхъ пасквилей немедленно въ награду лишился нѣсколько клочковъ шкуры — было бы лучше. На что снисхожденіе къ человѣку, надъ коимъ общій гласъ благомыслящихъ гражданъ дѣлаетъ строгій приговоръ? Одинъ примѣръ больше бы сформировалъ пользы; но сколько же, напротивъ, водворится вреда неумѣстною къ негодяямъ нѣжностью. Можно смѣло ручаться, что многіе изъ порядочныхъ людей безъ соболѣзнованія рѣшились бы удавить дѣтей равномѣрно развратныхъ, слѣдовательно, большой еще перевѣсъ на сторонѣ благочестія — надобно только зло умерщвлять въ началѣ рожденія его. Простите смѣлости, это— мысль большей части людей и моя вмѣстѣ".

Прибавимъ къ этому, что Скобелевъ, по отзывамъ современниковъ, былъ изъ лучшихъ и человѣчественныхъ генераловъ того времени; и если у него были такія понятія о благомыслящихъ и порядочныхъ людяхъ, у которыхъ кровожадныя наклонности считались хорошими качествами, и которымъ ни по чемъ приступать безъ суда къ такой расправѣ, какъ лишеніе нѣсколькихъ клочковъ шкуры или удавленіе дѣтей, то какъ трагично должно показаться положеніе Пушкина среди такого общества. Мы не знаемъ, какой ходъ имѣлъ рапортъ Скобелева; по всей вѣроятности, онъ дошелъ до высшей инстанціи. По немъ мы можемъ судить, какая сила поднималась противъ Пушкина съ своими требованіями въ тотъ моментъ, когда

онъ вызывалъ на борьбу правительство. Но вотъ въ то же время московская полиція представляетъ высшему начальству частное письмо Пушкина, ходившее по рукамъ и получившее, какъ она представляла, общую извѣстность. Въ немъ поэтъ вольнодумствовалъ, извѣщая, что беретъ уроки чистаго атеизма у какого-то англичанина, который будто бы мимоходомъ уничтожалъ слабыя доказательства безсмертія души. „Система не столь утѣшительная, заключалъ онъ, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастью, болѣе всего правдоподобная".

Этотъ документъ въ глазахъ набожнаго императора Александра послужилъ главнымъ обвинительнымъ пунктомъ противъ Пушкина. Онъ потерялъ окончательно во мнѣніи правительства. О немъ было сдѣлано заключеніе: „все доказываетъ, къ несчастію, что онъ слишкомъ проникся вредными началами, такъ пагубно выразившимися при первомъ вступленіи его на общественное поприще". На четвертый мѣсяцъ послѣ письма Воронцова въ Одессѣ было получено отвѣтное письмо изъ Петербурга. Въ немъ министръ Несельроде сообщалъ между прочимъ слѣдующее: „Его величество въ видахъ законнаго наказанія приказалъ мнѣ исключить его изъ списковъ чиновниковъ министерства иностранныхъ дѣлъ за дурное поведеніе. Впрочемъ, его величество не соглашается оставить его совершенно безъ надзора, на томъ основаніи, что, пользуясь своимъ независимымъ положеніемъ, онъ будетъ, безъ сомнѣнія, все болѣе и болѣе распро-

странять тѣ вредныя идеи, которыхъ онъ держится, и вынудитъ начальство употребить противъ него самыя строгія мѣры. Чтобы отдалить по возможности такія послѣдствія, императоръ думаетъ, что въ этомъ случаѣ нельзя ограничиться только его отставкою, но находитъ необходимымъ удалить его въ имѣніе родителей, въ Псковскую губернію, подъ надзоръ мѣстнаго начальства“ [1]).

На этотъ разъ не нашлось у Пушкина заступника. Скорѣе друзья, чѣмъ враги его, привели дѣло къ такому исходу. По своему легкомыслію они носились съ его письмомъ, какъ и со всякимъ его стихотвореніемъ, не заботясь о его репутаціи. Пушкинъ имѣлъ право сказать о нихъ въ одной строфѣ „Евгенія Онѣгина“:

Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!
О нихъ не даромъ вспомнилъ я.

Письмо Несельроде наводитъ на мысль, что по своимъ взглядамъ правительство само бережно наказывало Пушкина, признавая въ немъ сильный талантъ, который жалко было бы погубить. Оно разсчитывало, что поэтъ при другой обстановкѣ жизни образумится, и рѣшилось терпѣть, не предавая его всей строгости законовъ. Въ этомъ случаѣ оно стояло выше и было благодушнѣе того большинства людей, на которое указываетъ генералъ Скобелевъ.

---

[1]) Матеріалы для біографіи Пушкина. Лейпцигское изданіе 1875 года.

По назначенному маршруту Пушкинъ выѣхалъ изъ Одессы 30-го іюля 1824 года. Съ него была взята подписка, что онъ нигдѣ не будетъ останавливаться на пути по своему произволу и по прибытіи во Псковъ тотчасъ же явится къ гражданскому губернатору. Прощаясь съ моремъ, Пушкинъ представлялъ себѣ ту глушь, въ которой будетъ вспоминать о немъ:

Въ лѣса, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и шумъ, и говоръ волнъ.

Мы должны согласиться съ Липранди, что удаленіе Пушкина изъ Одессы именно въ этотъ моментъ должно назвать счастливымъ для его послѣдующей жизни. Вслѣдъ за его выѣздомъ поселился въ Одессѣ князь С. Г. Волконскій, женившійся на Раевской; пріѣхали нѣкоторые члены тайныхъ обществъ, которые вновь тогда составлялись; изъ арміи наѣзжали: Юшневскій, Пестель и другіе, черезъ годъ оказавшіеся въ числѣ декабристовъ. Всѣ они посѣщали князя Волконскаго. Остался ли бы въ сторонѣ отъ нихъ Пушкинъ съ своимъ мрачно-ожесточеннымъ духомъ?

VI.

Въ селѣ Михайловскомъ.

Я еще
Былъ молодъ, но уже судьба
Меня борьбой неравной истомила;
Я былъ ожесточенъ.

Вотъ въ какомъ настроеніи духа прибылъ Пушкинъ въ деревню,

гдѣ Петра питомецъ,
Царей, царицъ любимый рабъ
И ихъ забытый однодомецъ
Скрывался, прадѣдъ мой, Арапъ [1]).
Гдѣ, позабывъ Елизаветы
И дворъ, и пышные обѣты,
Подъ сѣнью липовыхъ алей
Онъ думалъ въ охлажденны лѣты
О дальней Африкѣ своей.

Подъ сѣнью михайловскихъ рощъ слишкомъ два года пришлось прожить нашему поэту. Здѣсь онъ нашелъ всю свою семью, съ которой не видался болѣе четырехъ лѣтъ. Хотя онъ и былъ не совсѣмъ доволенъ своими родными, думая, что его забыли въ изгнаніи, хотя въ своихъ письмахъ къ

[1]) Арабъ Ибрагимъ Ганибалъ получилъ деревни въ Псковской губерніи отъ императрицы Елизаветы, которая произвела его въ генералъ-аншефы и пожаловала ему александровскую ленту. Одну изъ псковскихъ деревень, село Михайловское, Зуево тожъ, получила въ приданое внука его, мать Пушкина.

брату не разъ высказывалъ неудовольствіе на отца, что не получаетъ отъ него денежныхъ пособій [1]), но по его жалобамъ мы не можемъ заключать, что кто-либо въ семьѣ былъ къ нему равнодушенъ.

Судя по разсказамъ Липранди, который въ 1822 году видѣлъ въ Петербургѣ всю семью Пушкиныхъ, исполняя порученіе поэта, мы, напротивъ, убѣждаемся, что онъ былъ не совсѣмъ справедливъ къ отцу, который, какъ извѣстно, самъ всегда былъ безъ денегъ. Правда, онъ любилъ поворчать на неразсчетливаго сына, но, будучи довольно тщеславенъ, не могъ втайнѣ не гордиться его талантомъ. Отецъ и сынъ могли бы жить въ мирѣ, особенно въ Михайловскомъ, гдѣ и не требовалось большихъ денегъ, если бы совершенно посторонняя сила не внесла въ семью неестественныя отношенія. Пушкину было поставлено на видъ, что онъ отставляется отъ службы за дурное поведеніе. Отставка могла его только обрадовать, такъ какъ она снимала съ него всякую тѣнь чиновничества, которымъ онъ тяготился. Причина отставки также не могла пе-

[1]) Въ августѣ 1823 г. онъ писалъ къ брату: «Изъясни отцу, что я безъ его денегъ жить не могу. Жить перомъ мнѣ невозможно при нынѣшней цензурѣ; ремеслу же столярному я не обучался; въ учителя я не могу идти, хоть я знаю законъ Божій и 4 первыя правила, но служу и не по своей волѣ, и въ отставку идти невозможно. Все и всѣ меня обманываютъ, на кого же, кажется, надѣяться, если не на ближнихъ и родныхъ. На хлѣбахъ у Воронцова я не стану жить, не хочу и полно... крайность можетъ довести до крайности. Мнѣ больно видѣть равнодушіе отца моего къ моему состоянію—хоть письма его очень любезны».

чалить его, потому что ему и всѣмъ было извѣстно, что на оффиціальномъ языкѣ дурное поведеніе не означало дѣйствительно дурного поведенія въ смыслѣ нравственномъ. Въ извѣстномъ кругу съ такой аттестаціей [1]) Пушкинъ могъ даже выиграть. Но логическому уму его трудно было найти причинность между его ссылкою и тремя строками, прочитанными въ частномъ его письмѣ, гдѣ не угрожалось никакимъ зломъ никому. Набожный человѣкъ, прочтя его, могъ бы только глубоко по-

[1]) Въ это самое время Дельвигъ писалъ какъ бы въ утѣшеніе Пушкину: «Великій Пушкинъ, маленькое дитя! Иди, какъ шелъ, т.-е. дѣлай, какъ хочешь; но не сердись на мѣры людей и безъ тебя довольно напуганныхъ! Общее мнѣніе для тебя существуетъ и хорошо мститъ. Я не видалъ ни одного порядочнаго человѣка, который бы не бранилъ за тебя Воронцова, на котораго всѣ шишки упали. Ежели-бъ ты пріѣхалъ въ Петербургъ, бьюсь объ закладъ, у тебя бы цѣлую недѣлю была толкотня отъ знакомыхъ и незнакомыхъ почитателей. Никто изъ писателей русскихъ не поворачивалъ такъ каменными сердцами нашими, какъ ты. Чего тебѣ недостаетъ? Маленькаго снисхожденія къ слабымъ? Не дразни ихъ годъ или два, Бога ради! Употреби получше время твоего изгнанія. Продавъ второе изданіе новыхъ сочиненій, пришлю тебѣ и денегъ и, ежели хочешь, новыхъ книгъ. Объяви только волю, какихъ и много ли. Журналы всѣ будешь получать. Сестра, братъ, природа и чтеніе, съ ними не умрешь со скуки... Нѣтъ ничего скучнѣе теперешняго Петербурга...» Въ этомъ же письмѣ Дельвигъ, занятый своимъ альманахомъ «Сѣверные цвѣты» на 1825 г., непривлекательно рисуетъ петербургскій литературный кругъ: «Съ пріѣзда Воейкова изъ Дерпта и съ появленія Булгарина литература наша совсѣмъ погибла: Подлецъ на подлецѣ подлеца погоняетъ. Ѣздятъ въ Грузино (къ Аракчееву), перебиваютъ другъ у друга случай сдѣлать мерзость, алтынничаютъ...».

жалѣть автора. Но въ немъ не было и тѣни преступленія. Выставляли на видъ вредныя идеи, которыхъ онъ держится и отъ вліянія которыхъ будто бы нужно было спасти все общество. Но въ этомъ виноваты были тѣ, которые читали его письмо въ обществѣ, тогда какъ авторъ, очевидно, и не предназначалъ его для такого чтенія. Между тѣмъ ни откуда не было обвиненій, что Пушкинъ лично своими разговорами совращалъ другихъ. Его винили въ нескромности и невоздержности его пера: но жизнь въ отцовскомъ имѣніи, подъ надзоромъ мѣстнаго начальства, нисколько не ограничивала его въ этомъ средствѣ, если бы у него въ самомъ дѣлѣ было намѣреніе имъ пользоваться. Такимъ образомъ въ этомъ насильственномъ распоряженіи своей личностью Пушкинъ не могъ видѣть и тѣни справедливости. Отсюда онъ не могъ и разсчитывать на какой-нибудь лучшій исходъ дѣла въ ближайшемъ будущемъ. Ожесточеніе его дѣлается намъ понятно, и онъ считалъ себя въ правѣ говорить:

Злобно мной играетъ счастье:
Давно безъ крова я ношусь,
Куда подуетъ самовластье:
Уснувъ, не знаю, гдѣ проснусь.
Теперь одинъ въ глухомъ изгнаньѣ
Влачу томительные дни...

Возвратясь подъ отеческій кровъ, Пушкинъ, по собственнымъ его словамъ, былъ обласканъ; но забылъ о распоряженіи, переданномъ ему еще въ Одессѣ — явиться къ псковскому губернатору, о чемъ черезъ нѣсколько времени ему напомнили

вызовомъ въ Псковъ. Затѣмъ оказалось, что мѣстный надзоръ надъ нимъ былъ очень обширенъ. Въ правительственные и духовные опекуны къ нему попали не только псковской губернаторъ Адеркасъ, но и начальникъ западнаго края, къ которому была причислена Псковская губернія, маркизъ Паулуччи, и предводитель дворянства Опочецкаго уѣзда, въ который входило село Михайловское, Пещуровъ, и настоятель сосѣдняго Святогорскаго монастыря. Но и этого казалось мало: какъ было слѣдить властямъ за молодымъ неугомоннымъ человѣкомъ, жившимъ на свободѣ въ деревнѣ? Рѣшились прибѣгнуть къ средству наиболѣе практическому: пригласили отца Пушкина, польстили его именемъ честнѣйшаго и добронравнѣйшаго человѣка, напугали его безнравственностью и развращенностью сына, котораго правительство можетъ покарать еще болѣе, если отецъ не поможетъ ему исправить молодого человѣка; словомъ, убѣдили недальновиднаго Сергѣя Львовича принять на себя ближайшій надзоръ за сыномъ, т.-е. быть какъ бы полицейскимъ агентомъ. Конечно, отецъ до этого времени и не подозрѣвалъ, что сынъ его такой опасный человѣкъ въ глазахъ правительства; а извѣстіе объ его признанномъ атеизмѣ должно было сильно напугать и взволновать его, хотя онъ и не отличался особенной набожностью. Старикъ поддался совѣту начальства, не разсудивъ, что ему не слѣдуетъ ставить себя въ семьѣ въ такое ложное положеніе — обратиться въ правительственнаго шпіона при своемъ родномъ сынѣ, съ правомъ пере-

хватывать его переписку и читать адресованныя къ нему письма. Опасаясь за нравственность своей дочери и младшаго сына, которымъ „это чудовище и сынъ погибели“ можетъ проповѣдовать безвѣріе, онъ приказываетъ имъ удаляться отъ него. Положеніе нашего Пушкина сдѣлалось дѣйствительно невыносимо: считаться какимъ-то зачумленнымъ въ своей родной семьѣ, видѣть въ отцѣ шпіона, постоянно слышать упреки и опасенія—нѣтъ, лучше ужъ просить заключенія въ крѣпости или самой дальней ссылки. Такія мысли приходили Пушкину. Будь его натура болѣе спокойная, онъ нашелъ бы возможность показать отцу безнравственную сторону его поступка и непристойность начальственныхъ покушеній на водвореніе семейнаго разлада. Но арабская кровь нашего поэта мѣшала спокойному объясненію. Чѣмъ болѣе онъ чувствовалъ безнравственную основу всего этого дѣла, тѣмъ болѣе закипала эта кровь, тѣмъ больше дерзостей отецъ находилъ въ сынѣ, и тѣмъ меньше былъ расположенъ уступить ему. Произошелъ одинъ изъ тѣхъ припадковъ бѣшенства, которые иногда находили на нашего поэта отъ его неукротимаго темперамента и о которыхъ свидѣтельствуютъ намъ нѣкоторые изъ его современниковъ. Отцу показалось, что сынъ хочетъ его бить. Обвиненіе, вынесенное на весь домъ, готово было перейти въ жалобу правительству. Пушкинъ увидѣлъ себя на краю полной погибели. И въ самомъ дѣлѣ, какое оправданіе могло быть человѣку, противъ котораго были такъ предубѣждены всѣ власти? Со стороны

отца достаточно было малѣйшаго намека, чтобъ стали считать сына тяжкимъ преступникомъ. Въ такомъ положеніи Пушкинъ рѣшился обратиться къ посредству стараго пріятеля Сергѣя Львовича, Жуковскаго, съ возгласомъ „спаси меня!“ Самъ Сергѣй Львовичъ одумался и отрекся отъ своего обвиненія. Семейная трагическая сцена не дошла до крайняго своего развитія. Старикъ-Пушкинъ увезъ свою семью на зиму въ Петербургъ и оставилъ ссыльнаго поэта одного; а затѣмъ прислалъ формальный рѣшительный отказъ отъ правительственнаго опекунства надъ сыномъ.

Пушкинъ успокоился, хотя, конечно, горечь отъ всего этого надолго должна была остаться въ сердцѣ. Кромѣ этого печальнаго факта, все остальное въ теченіе двухъ лѣтъ не представляетъ, повидимому, ничего такого, что̀ давало бы ему поводъ жаловаться на свою тяжелую судьбу. Прослѣдивъ всѣ факты въ подробностяхъ, едва ли можно не назвать эти два года наиболѣе счастливыми въ его жизни. Онъ зналъ и „трудъ и вдохновенье“, которыми всегда такъ дорожилъ, зналъ и удовольствія въ кругу дружеской семьи — обитательницъ сосѣдняго Тригорскаго, имѣлъ свободную переписку съ своими столичными пріятелями. Прослѣдивъ всѣ его работы умственныя и поэтическія за эти годы, невольно удивляешься, какъ у него достало времени на все это; кажется, не могло пропасть ни одной минуты праздно. Такою непрерывною и разнообразною дѣятельностью от-

личались его духовныя силы. Ея наиболѣе мы и коснемся, обозрѣвая эти годы его жизни.

Въ первую пору своего пребыванія въ Михайловскомъ поэтъ еще переживалъ впечатлѣнія отъ прежняго времени. Такъ политическія бури послѣднихъ годовъ европейской жизни выразились въ его фантазіи въ образѣ Аквилона въ прекрасномъ стихотвореніи, озаглавленномъ этимъ же именемъ.

Здѣсь поэтическая фантазія удачно сблизила политическія потрясенія съ бурными движеніями въ природѣ, послѣ которыхъ очищается атмосфера и настаютъ красные дни. Поэтъ и для политической жизни ждетъ того же:

Пускай же солнца ясный ликъ
Отнынѣ радостью блистаетъ,
И облакомъ зефиръ играетъ,
И тихо зыблется тростникъ.

Такихъ дней онъ могъ желать и для себя: и онъ много потерпѣлъ отъ налетѣвшаго аквилона, и онъ, также величавый русскій дубъ, былъ вполовину низвергнутъ.

Въ первое же время въ Михайловскомъ Пушкинъ задумалъ издать первую главу Евгенія Онѣгина и вмѣсто предисловія къ нему написалъ извѣстный „Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“, который показываетъ, какимъ жизненнымъ вопросомъ для него былъ вопросъ о поэзіи и какъ настойчиво онъ старался разъяснить его, смотря на него, какъ на задачу жизни. Въ немъ онъ выказалъ

уже зрѣлый умъ, умѣющій примирять тѣ кажущіяся противорѣчія, которыя другихъ приводятъ въ недоумѣніе. Онъ выходитъ изъ той мысли, которую такъ настойчиво постоянно поддерживалъ передъ друзьями и на которую еще такъ недавно указывалъ своему бывшему начальству, будто онъ пишетъ стихи для денегъ. Друзья, конечно, не хотѣли ему вѣрить, считая это за одну изъ его оригинальностей и странностей, которыми онъ любилъ отличать себя. Вдохновеніе, всегда почитавшееся основною силою поэзіи, и матеріальные разсчеты и выгоды никакъ не могли соединиться въ ихъ понятіи. Языкъ боговъ, какъ до тѣхъ поръ называли поэзію, и языкъ коммерціи—два языка, совершенно несродные. У Пушкина легко соединилось все это, лишь только онъ посмотрѣлъ на поэзію, какъ на свободный трудъ, который можетъ сдѣлаться трудомъ всей жизни. Многіе съ мыслью о платѣ соединяли что-то низкое, ремесленное, исключающее вдохновеніе. Пушкинъ только отдѣлилъ процессъ творчества отъ готовой работы, которая уже получаетъ матеріальную цѣнность. По его взгляду, поэзія есть чистое творчество, зависимое только отъ впечатлѣній жизни, гдѣ бы она ни проявлялась; самый процессъ творчества не въ волѣ поэта; онъ происходитъ въ душѣ его какъ бы безсознательно для него самого по извѣстнымъ психическимъ законамъ. Живой, вдохновенной рѣчью представляетъ Пушкинъ этотъ творческій процессъ „въ часы ночного вдохновенья“:

Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ,
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ размѣры стройные стекались
Мои послушныя слова
И звонкой риѳмой замыкались.

Это дѣйствительно „пиръ воображенья“. И можетъ ли при такомъ высокомъ настроеніи творческаго духа быть не только рѣчь, но даже какая-нибудь темная мысль о платѣ, о торговлѣ:

Въ безмолвіи трудовъ
Дѣлиться не былъ я готовъ
Съ толпою пламеннымъ восторгомъ
И музы сладостныхъ даровъ
Не унижалъ постыднымъ торгомъ.
Я былъ хранитель ихъ скупой...

Итакъ, творчество есть потребность поэтической души и, слѣдовательно, цѣлью его не можетъ быть матеріальная выгода или разсчетъ; ближайшее слѣдствіе его есть высшее духовное наслажденіе и желаніе продлить его, а не денежная оцѣнка; отъ нея оно вполнѣ свободно. Далѣе поэтъ освобождаетъ его и отъ другихъ цѣлей, которыя могли бы повредить его свободѣ. Обыкновенно говорили, что поэзія не безкорыстна, что поэту нужна слава, и что ни одинъ поэтъ не взялся бы за перо, если бы не надѣялся имѣть читателей,

что въ этомъ случаѣ наука безкорыстнѣе поэзіи: ученый будетъ заниматься и на необитаемомъ островѣ ради одной истины, а поэтъ будто бы откажется отъ своей поэзіи. Слѣдовательно, мысль о славѣ не отдѣлима отъ поэзіи, а эта мысль должна подчинить поэта требованіямъ читателей и сдѣлать его ихъ угодникомъ. Гдѣ же тутъ вопросъ о свободномъ творчествѣ? Въ вопросѣ о славѣ Пушкинъ болѣе чѣмъ кто-либо могъ имѣть голосъ. Онъ сталъ знакомиться съ нею со школьной скамьи, пріобрѣталъ ее безъ всякаго труда, и самъ стремился къ ней, хотѣлъ ее и, наконецъ, послѣ разныхъ превратностей жизни, увѣрился, что слава расходится со счастіемъ, которое только и дорого человѣку. Послѣ многихъ лѣтъ славы поэту приходилось не разъ задумываться надъ ея опредѣленіемъ:

Что слава? Шопотъ ли чтеца,
Гоненье-ль низкаго невѣжды,
Иль восхищеніе глупца?

—

Скажи мнѣ, что такое слава?
Могильный гулъ, хвалебный гласъ,
Изъ рода въ роды звукъ бѣгущій,
Или подъ сѣнью дымной кущи
Цыгана дикаго разсказъ...

Опредѣленія въ родѣ этихъ попадаются и въ письмахъ Пушкина къ пріятелямъ за то же время. Извѣдавъ славу, поэтъ находитъ, что не стоитъ дорожить ею, отрекается отъ нея и ставитъ выше нея блаженство души въ свободномъ творчествѣ:

Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья,
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за чувство воздаянья!
Блаженъ, кто молча былъ поэтъ
И, терномъ славы не увитый,
Презрѣнной чернію забытый,
Безъ имени покинулъ свѣтъ.

Затѣмъ поэзію часто соединяли поэты съ любовью, съ возлюбленной женщиной, которую возводили въ идеалъ, которой поклонялись и подчиняли свое творчество. Пушкинъ отъ ранней юности увлекался женской красотой и, какъ страстная натура, мучился и въ любви и въ ревности; много хвалебныхъ стиховъ сложилъ онъ въ любовныхъ признаніяхъ; но не хотѣлъ и за любовью признать власти надъ поэтическимъ творчествомъ. Любовь соединяется только съ юностью и черезъ нея можетъ быть временно цѣлью поэзіи. Оглядываясь назадъ на „своихъ идоловъ“, нашъ поэтъ сдѣлалъ самое печальное о нихъ заключеніе:

Теперь въ глуши
Безмолвно жизнь моя несется
Стонъ лиры вѣрной не коснется
Ихъ легкой, вѣтряной души;
Не чисто въ нихъ воображенье,
Не понимаетъ насъ оно,
И признакъ Бога — вдохновенье
Для нихъ и чуждо, и смѣшно.
Когда на память мнѣ невольно
Придетъ внушенный ими стихъ,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мнѣ стыдно идоловъ моихъ.

Къ чему, несчастный, я стремился?
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился?

Не возвышенный образъ женщины въ русской средѣ создался у нашего поэта, но не онъ виноватъ, если только такія впечатлѣнія оставила ему жизнь. Правда, рядомъ съ этимъ образомъ онъ ставитъ и идеальное представленіе, которое онъ нашелъ только въ одномъ женскомъ существѣ; но

Земныхъ восторговъ изліянье,
Какъ божеству, не нужно ей.

Такимъ образомъ, отказавшись отъ всѣхъ постороннихъ цѣлей для поэзіи, поэтъ избираетъ себѣ одну свободу. Сдѣлавъ такой выборъ, онъ тотчасъ же дѣлаетъ неожиданный, но и неизбѣжный поворотъ къ тому вопросу, съ котораго началъ „Разговоръ"—къ вопросу о платѣ за поэтическій трудъ:

Внемлите истинѣ полезной:
Нашъ вѣкъ торгашъ; въ сей вѣкъ желѣзной
Безъ денегъ и свободы нѣтъ.

Можно отречься отъ славы: она „яркая заплата на ветхомъ рубищѣ пѣвца"; но это ветхое рубище уже гласитъ о тѣхъ житейскихъ нуждахъ, которыя, требуя удовлетворенія, ставятъ въ зависимость и свободу творчества отъ постороннихъ силъ; и тогда уже нѣтъ свободы. Забота о физическомъ существованіи человѣка соединяется съ

трудомъ, который долженъ обезпечивать его самостоятельность въ жизни и давать твердую опору его свободѣ, ограждая ее отъ всякой посторонней зависимости и отъ всякихъ притязаній другихъ силъ. Полная свобода творчества можетъ быть только при свободѣ человѣка независимаго; а независимость опирается на свободный трудъ, который имѣетъ право оцѣнивать себя и требовать оплаты. Изъ всего этого слѣдуетъ, что для свободы творчества нужно, чтобы оно считалось трудомъ жизни и, слѣдовательно, имѣло бы одинакія права со всякимъ трудомъ. Чрезъ это не пострадаетъ достоинство творчества. Нашъ поэтъ рѣшаетъ вопросъ очень просто:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

Рукопись, какъ плодъ труда, дѣлается уже товаромъ. Вотъ какъ поэтъ дошелъ до рѣшенія этого вопроса. Въ зависимость отъ него онъ ставитъ самый важный для себя вопросъ о свободѣ творчества, съ которой у него соединилось понятіе объ истинной поэзіи, какъ объ искусствѣ. Здѣсь Пушкинъ является не какъ теоретикъ, который съ помощью отвлеченныхъ выводовъ отыскиваетъ общіе принципы, а какъ чуткій, геніальный артистъ, который въ самомъ себѣ ощущаетъ эти принципы. Вопросъ для Пушкина былъ рѣшенъ навсегда. Онъ почувствовалъ себя на твердой почвѣ зрѣлымъ поэтомъ, и съ этихъ поръ уже никакія теоріи, никакія вліянія и внушенія не могли со-

вратить его съ дороги: онъ, какъ увидимъ, пошелъ прямо по своему пути и до конца остался себѣ вѣренъ.

Съ этого времени Пушкинъ сталъ критически и вполнѣ самостоятельно со своей опредѣленной точки зрѣнія относиться ко всѣмъ литературнымъ авторитетамъ. Байронъ пересталъ имѣть даже и слабое вліяніе на его творчество; отъ него онъ уже пересталъ сходить съ ума, какъ было за два года; зато сталъ лучше понимать его и судить о немъ. „Тебѣ грустно, — писалъ онъ князю Вяземскому, — грустно по Байронѣ, а я такъ радъ его смерти, какъ высокому предмету для поэзіи. Геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостью. Въ своихъ трагедіяхъ, не исключая и Каина, онъ уже не тотъ пламенный демонъ, который создалъ Гяура и Чальдъ-Гарольда. Первыя двѣ пѣсни Донъ-Жуана выше слѣдующихъ. Его поэзія видимо измѣнилась. Онъ весь созданъ былъ навыворотъ. Постепенности въ немъ не было; онъ вдругъ созрѣлъ и возмужалъ—пропѣлъ и замолчалъ, и первые звуки его уже не возвратились. Послѣ 4-й пѣсни Чальдъ-Гарольда Байрона мы не слыхали, а какой-то другой поэтъ съ высокимъ человѣческимъ талантомъ“ [1]). И въ это-то время, когда Пушкинъ, такъ

[1]) Какъ бы въ знакъ того, что Байронъ навсегда отдѣлился отъ его творчества, Пушкинъ отслужилъ въ Святогорскомъ монастырѣ панихиду по «бояринѣ Георгіи». На эту выходку смотрятъ только какъ на легкомысленную шалость. Но намъ она представляется образнымъ выраженіемъ того, что́ совершилось въ душѣ поэта.

сказать, совсѣмъ разсчитался съ Байрономъ, нѣкоторые изъ его пріятелей настойчиво хотѣли видѣть въ немъ повтореніе англійскаго поэта не только въ его поэзіи, но и въ образѣ жизни. Рылѣевъ въ своихъ письмахъ умолялъ его бросить желаніе быть русскимъ Байрономъ, а сдѣлаться лучше Пушкинымъ, называя его въ то же время чудотворцемъ, чародѣемъ, геніемъ. Впрочемъ и самъ Пушкинъ иногда подавалъ поводъ къ такому сближенію. Такъ, въ письмѣ къ Дельвигу онъ называетъ Евгенія Онѣгина, пока еще ненапечатаннаго, повѣстью въ родѣ Верро Байрона, хотя на самомъ дѣлѣ ни одна изъ написанныхъ тогда главъ романа не имѣла рѣшительно ничего общаго съ шутливою и малосодержательною повѣстью британскаго поэта, развѣ только частыя отступленія отъ разсказа; но ихъ много также и въ „Чальдъ-Гарольдѣ“, и въ „Донъ-Жуанѣ“, чѣмъ вообще отличаются поэмы Байрона. Пушкинъ усвоилъ себѣ этотъ способъ, потому что, по его взгляду, романъ требуетъ болтовни, какъ выразился онъ въ письмѣ къ Ал. Бестужеву. Въ письмѣ къ князю Вяземскому онъ говорилъ: „я пишу теперь не романъ, а романъ въ стихахъ — дьявольская разница — въ родѣ Донъ-Жуана“. Тотъ же Бестужевъ сравнивалъ первую главу Онѣгина также съ Донъ-Жуаномъ, противъ чего уже сильно возсталъ Пушкинъ. „Никто больше меня не уважалъ Донъ-Жуана, — писалъ онъ, — но въ немъ нѣтъ ничего общаго съ Онѣгинымъ. Ты говоришь о сатирѣ англичанина Байрона и

сравниваешь ее съ моею, и требуешь отъ меня таковой же. Нѣтъ, душа моя — многаго хочешь. Гдѣ у меня сатира? О ней и помину нѣтъ въ Евгеніи Онѣгинѣ. У меня бы затрещала набережная, если бы коснулся я сатиры. Самое слово сатирическій не должно находиться въ предисловіи". А между тѣмъ это предисловіе при первой главѣ Онѣгина было написано самимъ Пушкинымъ, который назвалъ себя сатирическимъ писателемъ и указалъ при этомъ на то, что̀, по его мнѣнію, составляло достоинство сатиры: „отсутствіе оскорбительной личности и наблюденіе полной благопристойности въ шуточномъ описаніи нравовъ". Такимъ образомъ критики, благодаря самому же поэту, сбивались въ своихъ сужденіяхъ о новыхъ произведеніяхъ Пушкина и не могли сразу понять того рѣзкаго поворота, который сдѣлалъ нашъ поэтъ. Въ то время какъ онъ, отдавшись самостоятельному творчеству, считалъ Евгенія Онѣгина своимъ лучшимъ произведеніемъ, никто съ нимъ не хотѣлъ согласиться; иные ставили его романъ даже ниже „Руслана и Людмилы". А между тѣмъ самъ поэтъ заявлялъ, что въ этомъ романѣ онъ намѣренъ войти въ поэтическое состязаніе съ Байрономъ, какъ равный съ равнымъ: „кто выйдетъ милѣе и прелестнѣе, Татьяна или Юлія (въ Донъ-Жуанѣ)" [1]. Съ байронизмомъ у Пушкина было уже совершенно по-

[1]) Письмо къ Бестужеву въ лейпцигскомъ изданіи «Матеріаловъ для біографіи Пушкина».

кончено, но не вслѣдствіе настояній и убѣжденій пріятелей, а вслѣдствіе того, что онъ самъ понялъ тайны истиннаго поэтическаго творчества и глубоко увѣровалъ въ него, какъ въ существенный принципъ поэзіи. Этимъ онъ сталъ выше своихъ критиковъ, которые шатались въ своихъ безпринципныхъ сужденіяхъ, толкуя о слогѣ да о мѣстномъ его колоритѣ. Теперь никакіе критики не могли подѣйствовать на Пушкина и навести сомнѣніе въ неправотѣ его взглядовъ. Только изъ наблюденій надъ собственнымъ творчествомъ онъ могъ назвать поэзію „исключительно страстью немногихъ, родившихся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни“ [1]). Вотъ эта-то страсть и составляетъ сущность геніальной артистичности Пушкина. Она-то и повела его къ полной самостоятельности, связала его поэзію съ жизнью и ввела его въ живую сферу общенародной жизни.

Разойдясь съ Байрономъ въ своихъ поэтическихъ міросозерцаніяхъ, Пушкинъ впослѣдствіи, въ болѣе зрѣлые годы, любилъ часто о немъ заговаривать и объяснять нѣкоторыя черты его жизни, какъ бы съ цѣлью оправдать разные бурные порывы своей собственной юности, вызывавшей осужденія со стороны такъ называемыхъ благоразумныхъ и степенныхъ людей. Чувствова-

[1]) «Московскій Телеграфъ» 1825 г. О предисловіи Лемоне къ переводу басенъ Крылова.

лось Пушкинымъ что-то общее между своей и другою геніальною натурою, какова была натура Байрона.

Уяснивъ себѣ сущность поэтическаго творчества, Пушкинъ очень скоро разобрался со всѣми русскими литературными авторитетами стараго времени. Это сдѣлать ему было необходимо, чтобы вполнѣ опредѣлить ту дѣйствительную сферу, въ которую онъ вносилъ трудъ своей жизни и съ которою связывалъ ея главные интересы. Онъ разбиралъ не правила, которыхъ держались или должны были держаться эти авторитеты, не слогъ, о которомъ болѣе всего толковали критики, а ту степень творчества, какая выказывалась въ ихъ произведеніяхъ. Онъ искалъ въ нихъ золота и отдѣлялъ отъ нихъ мишуру, которыя до того смѣшивались. Онъ, такъ сказать, налагалъ пробу на таланты и опредѣлялъ истинную цѣнность русской литературы. Она оказывалась очень невысокою. Здѣсь Пушкинъ въ своихъ взглядахъ расходился со всѣми критиками и въ пріятельскихъ письмахъ вступалъ даже въ полемику, въ особенности съ Ал. Бестужевымъ, который печаталъ свои критическія обозрѣнія въ ежегодномъ альманахѣ „Полярная звѣзда“, гдѣ встрѣчались имена лучшихъ тогдашнихъ писателей, преимущественно изъ молодыхъ. Видя, какъ безъ разбора смѣшивались у насъ писатели талантливые и безталантные въ одну кучу авторитетовъ, Пушкинъ дошелъ до отрицанія всякой критики въ нашей литературѣ, вопреки мысли Бестужева, будто у насъ есть кри-

тика и нѣтъ литературы. „Нѣтъ,—говорилъ Пушкинъ, — литература еще кой-какая у насъ есть, а критики нѣтъ... Отселѣ репутація Ломоносова и Хераскова, и если послѣдній упалъ въ общемъ мнѣніи, то вѣрно не отъ критики Мерзлякова [1]). Кумиръ Державина, 1/4 золотой, 3/4 свинцовый, донынѣ еще не оцѣненъ. Ода Фелица стоитъ на ряду съ Вельможей, ода Богъ съ одой На смерть Мещерскаго [2])... Княжнинъ безмятежно пользуется своею славою; Богдановичъ причисленъ къ лику великихъ поэтовъ; Дмитріевъ — также. Мы не имѣемъ ни единаго комментарія, ни единой критической книги. Мы не знаемъ, что̀ такое Крыловъ; Крыловъ, который сталъ уже выше Лафонтена, какъ Державинъ—выше Ж. Б. Руссо. Что̀ же ты называешь критикою? Вѣстникъ Европы и Благонамѣренный? Библіографическія извѣстія Греча и Булгарина? Свои статьи? Но признайся, что все это не можетъ установить какого-нибудь мнѣнія въ публикѣ, не можетъ почесться уложеніемъ вкуса. Каченовскій [3]) тупъ и скученъ, Гречъ и ты—остры и забавны—вотъ все, что̀ можно сказать о васъ. Но гдѣ же критика?“ Въ другомъ письмѣ Пушкинъ упрекаетъ Бестужева за то, что тотъ не высказалъ своего откровеннаго мнѣнія объ Евгеніи Онѣгинѣ, и прибавляетъ: „покамѣстъ

[1]) Мерзляковъ разбиралъ Россіаду Хераскова въ журналѣ «Амфіонъ», въ 1817 г.

[2]) Т.-е. въ Вельможѣ и На смерть Мещерскаго видится истинный поэтъ, а въ Фелицѣ и въ одѣ Богъ—риторъ.

[3]) Редакторъ «Вѣстника Европы».

мы будемъ руководствоваться личными нашими отношеніями, критики у насъ не будетъ"...

Забота о критикѣ, основанной на какихъ-нибудь опредѣленныхъ принципахъ, съ этого времени сдѣлалась однимъ изъ завѣтныхъ стремленій Пушкина.

Въ то время, какъ Рылѣевъ въ письмѣ къ Пушкину увѣрялъ его, что онъ сталъ выше всѣхъ русскихъ писателей, что остался только одинъ Державинъ, съ которымъ онъ еще можетъ равняться, но и то навѣрно не надолго, Пушкинъ въ письмѣ къ Дельвигу дѣлалъ такую оцѣнку Державина: „Перечелъ я Державина всего, и вотъ мое окончательное мнѣніе: этотъ чудакъ не зналъ ни русской граматы, ни духа русскаго языка (вотъ почему онъ и ниже Ломоносова); онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ, ни о гармоніи, ни даже о правилахъ стихосложенія. Вотъ почему онъ и долженъ бѣсить всякое разборчивое ухо. Онъ не только не выдерживаетъ оды, не можетъ выдержать и строфы. Что-жъ въ немъ: мысли, картины и движенія - истинно поэтическія. Читая его, кажется, читаешь дурной вольный переводъ съ какого-то чудеснаго подлинника. Ей Богу, его геній думалъ по-татарски, а русской граматы не зналъ за недосугомъ. Державинъ, современемъ переведенный, изумитъ Европу, а мы изъ гордости народной не скажемъ всего, что̀ мы знаемъ о немъ. У Державина должно сохранить будетъ одъ восемь, да нѣсколько отрывковъ, а прочее сжечь. Геній его можно сравнить съ геніемъ Суворова—

жаль, что нашъ поэтъ слишкомъ часто кричалъ пѣтухомъ".

Въ небольшой статейкѣ „Московскаго Телеграфа" въ 1825 г. Пушкинъ оцѣниваетъ и Ломоносова все съ той же точки зрѣнія. Онъ видитъ въ немъ генія, который, соединивъ необыкновенную силу воли съ необыкновенною силою понятія, обнялъ всѣ отрасли просвѣщенія, но въ его стихотворныхъ произведеніяхъ не видитъ творчества и лучшими его произведеніями въ этомъ родѣ считаетъ только переложенія псалмовъ и близкія подражанія высокой поэзіи священныхъ книгъ: „они останутся вѣчными памятниками русской словесности, замѣчаетъ онъ, по нимъ долго еще должны мы будемъ изучаться стихотворному языку нашему. Но странно жаловаться, прибавляетъ Пушкинъ, что свѣтскіе люди не читаютъ Ломоносова, и требовать, чтобъ человѣкъ, умершій семьдесятъ лѣтъ тому назадъ, оставался и нынѣ любимцемъ публики. Какъ будто нужны для славы великаго Ломоносова мелочныя почести моднаго писателя".

Много спорилъ Пушкинъ о И. И. Дмитріевѣ съ княземъ Вяземскимъ, который въ 1823 году напечаталъ большую статью „Извѣстіе о жизни и стихотвореніяхъ И. И. Дмитріева". Въ ней онъ, превознося Дмитріева, какъ поэта, ставитъ его въ образцовые русскіе классики. Пушкинъ вообще не находилъ поэзіи въ стихахъ Дмитріева, а превозноситъ его басню послѣ басенъ Крылова ему казалось — не цѣнить послѣдняго. Нѣсколько разъ Пушкинъ принимался оспаривать мнѣніе князя

Вяземскаго о Дмитріевѣ. Объ этомъ спорѣ князь Вяземскій вспомнилъ не задолго до своей смерти и, въ виду того, что „судъ Пушкина былъ для него многозначителенъ, дорогъ и могъ задирать его совѣсть за живое“, онъ написалъ въ поясненіе нѣсколько интересныхъ строкъ, которыхъ мы не можемъ обойти молчаніемъ. Онъ объясняетъ нелюбовь Пушкина къ Дмитріеву, какъ поэту, личными отношеніями. „Дмитріевъ, какъ классикъ, не очень ласково привѣтствовалъ первые опыты Пушкина, а особенно поэму его Русланъ и Людмила. Онъ даже отозвался о ней колко и несправедливо. Вѣроятно, отзывъ этотъ дошелъ до молодого поэта, и тѣмъ онъ былъ ему чувствительнѣе, что приговоръ исходилъ отъ судіи, который возвышался надъ рядомъ обыкновенныхъ судей и котораго въ глубинѣ души и дарованія своего Пушкинъ не могъ не уважать. Пушкинъ въ жизни обыкновенной, ежедневной, въ сношеніяхъ житейскихъ былъ непомѣрно добросердеченъ и простосердеченъ. Но умомъ при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ бывалъ онъ злопамятенъ, не только въ отношеніи къ недоброжелателямъ, но и къ постороннимъ и даже къ пріятелямъ своимъ“. Хотя мы и не имѣемъ основанія оспаривать предположеніе князя Вяземскаго и готовы принять, что у Пушкина было личное нерасположеніе къ Дмитріеву, но намъ кажется, что самъ князь Вяземскій не ясно понималъ, на основаніи какого критерія въ то время Пушкинъ дѣлалъ оцѣнку русскихъ писателей. Поэтъ, и такой, какъ Пушкинъ, скорѣе всего можетъ

распознать поэта. Онъ не находилъ въ стихахъ Дмитріева того творчества, какого не проглядѣлъ, однако, въ стихахъ Державина между множествомъ тяжелыхъ риторическихъ строфъ и стиховъ, и имѣлъ полное основаніе причислить Дмитріева къ Хераскову, Богдановичу и другимъ развѣнчаннымъ имъ авторитетамъ. Въ этомъ случаѣ онъ былъ совершенно правъ и не могъ произнести другого суда, чтобъ остаться вѣрнымъ самому себѣ. Непремѣнно онъ сдѣлалъ бы то же самое, еслибы у него и не было никакой непріязни къ Дмитріеву. „Споры наши о Дмитріевѣ часто возобновлялись, еще приписываетъ князь Вяземскій, и, какъ обыкновенно въ спорахъ бываетъ, отзывы, сужденія, возраженія становились все болѣе рѣзки и заносчивы. Были мы оба натуры спорныя и другъ передъ другомъ ни на шагъ отступать не хотѣли. При задорной перестрѣлкѣ нашей мы горячились: онъ все ниже и ниже унижалъ Дмитріева, я все выше и выше поднималъ его. Однимъ словомъ, оба были мы не правы. Помню, что однажды въ пылу спора сказалъ я ему: „да ты, кажется, завидуешь Дмитріеву“. Пушкинъ тутъ зардѣлъ, какъ маковъ цвѣтъ; съ выраженіемъ глубокаго упрека взглянулъ на меня и протяжно, будто отчеканивая каждое слово, сказалъ: „Какъ? Я завидую Дмитріеву?“ Споръ нашъ этимъ кончился“.

Зная, какъ смотрѣлъ Пушкинъ на критику и какого безпристрастія требовалъ отъ нея даже по отношенію къ самому себѣ, мы поймемъ, какъ должно было оскорбить его пріятельское подозрѣ-

ніе въ низкой страсти. Самъ князь Вяземскій сознается, что его вспышка была оскорбительна и несправедлива.

„Изъ всѣхъ современниковъ, замѣчаетъ далѣе князь Вяземскій, кажется, Карамзинъ и Жуковскій одни внушали Пушкину безусловное уваженіе и довѣріе къ ихъ суду. Онъ по влеченію и сознательно подчинялся нравственному и литературному авторитету ихъ. Съ ними онъ не считался. До конца видѣлъ онъ въ нихъ не совмѣстниковъ, а старшихъ и, такъ сказать, воспріемниковъ и наставниковъ. Сужденія другихъ, а именно даже образованнѣйшихъ изъ арзамасцевъ, были ему ни по чемъ“ [1])...

Признавъ свободу творчества за главное основаніе истинной поэзіи, Пушкинъ не могъ и стѣснять свою поэтическую мысль какими бы ни было цензурными требованіями. Онъ не думалъ о цензурѣ въ то время, когда обрабатывалъ свое произведеніе. Ему было все равно, будетъ ли оно напечатано или нѣтъ, лишь бы только вполнѣ выразило то, что̀ создавалось въ его артистической душѣ. Нѣкоторыя произведенія онъ писалъ съ полной увѣренностью, что цензура не позволитъ ихъ напечатать; но это нисколько не ослабляло его творчества, онъ всегда былъ далекъ отъ мысли поддѣлываться подъ цензуру. Къ нему цензора были особенно строги, какъ къ писателю съ замаранной репутаціей. Еще въ 1821 г. изъ Киши-

[1]) Полное собраніе сочиненій кн. Вяземскаго, т. I, стр. 158.

нева, въ посланіи къ Дельвигу, Пушкинъ замѣтилъ:

Поклонникъ правды и свободы,
Бывало, что̀ ни напишу,
Все для иныхъ не Русью пахнетъ,
О чемъ цензуру ни прошу,
Ото всего Тимковскій ахнетъ.

Тимковскій, Бируковъ, Красовскій — эти имена тогдашнихъ цензоровъ были на языкѣ у всей пишущей братіи. Въ 1823 г. благонамѣреннѣйшій изъ арзамасцевъ, Дашковъ писалъ къ благонамѣреннѣйшему изъ стихотворцевъ Дмитріеву: „Цензоры съ бѣдными авторами суровѣе, нежели когда-нибудь. Одна отъ нихъ бываетъ поживка, а именно, когда Бируковъ поссорится съ товарищемъ своимъ Красовскимъ, тогда онъ пропускаетъ на зло между позволеннымъ иногда и сомнительное. Но у Красовскаго всякая вина виновата: самому Агамемнону въ Иліадѣ запрещается говорить, что Клитемнестра вышла за него замужъ дѣвою, и если какой-нибудь риѳмачъ заговоритъ въ восторгѣ о чуждой землѣ и чуждомъ небѣ, разсудительный цензоръ тотчасъ остановитъ его, напомнивъ, что небо одно и земля одна. Такихъ анекдотовъ много“ [1]). Одну уступку цензурѣ позволялъ себѣ Пушкинъ: стихи уже въ обработанномъ стихотвореніи, которые, по его мнѣнію, не могли пройти въ цѣлости черезъ придирчивую цензуру, онъ замѣнялъ точками, или вмѣсто своего имени подписывалъ какую-нибудь

[1]) Русск. Арх. 1868 № 4, 5.

букву, или ставилъ звѣздочку; а чаще совсѣмъ не отдавалъ въ печать, довольствуясь малымъ пріятельскимъ кругомъ читателей. Пушкинъ обыкновенно любилъ подсмѣиваться надъ цензурой. Еще въ 1822 г. онъ писалъ Бестужеву: „кланяйтесь отъ меня цензурѣ, старинной моей пріятельницѣ; кажется, голубушка еще не поумнѣла. Не понимаю, что могло встревожить ея цѣломудренность въ моихъ элегическихъ отрывкахъ... Предвижу препятствіе въ напечатаніи стиховъ къ Овидію, но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа; повидимому, ее настращали моимъ именемъ: не называйте меня, а поднесите ей мои стихи подъ именемъ кого вамъ угодно (напр., услужливаго Плетнева или какого-нибудь нѣжнаго путешественника, скитающагося по Тавридѣ). Повторяю вамъ: она ужасно безтолкова, но, впрочемъ, довольно сговорчива. Главное дѣло въ томъ, чтобъ имя мое до нея не дошло, и все будетъ слажено...“

Сообщая князю Вяземскому объ Евгеніи Онѣгинѣ, Пушкинъ прибавляетъ: „о печати и думать нечего: пишу спустя рукава. Цензура наша такъ своенравна, что съ нею невозможно и размѣрить кругъ своего дѣйствія. Лучше объ ней и не думать. А если брать, такъ брать; не то, что и когтей марать“.

Находясь постоянно подъ впечатлѣніемъ разныхъ цензурныхъ выходокъ, Пушкинъ понималъ, какой страшный вредъ наносятъ онѣ литературѣ, и въ концѣ 1824 года написалъ два посланія къ Аристарху, двѣ сатиры, въ которыхъ показалъ,

какъ близки его сердцу интересы отечественной литературы. Конечно, онъ былъ увѣренъ, что онѣ не дойдутъ до публики, но, какъ мы сказали, онъ не заботился о томъ, когда его мысль созрѣвала въ образѣ; онъ только отвѣчалъ своей потребности высказаться. Пушкинъ явился здѣсь на сторонѣ угнетенной силы, которая считалась силою общественною и которая была стѣснена со всѣхъ сторонъ. Поэтъ выразилъ общее настроеніе литературной среды:

Тяжкою цензурой угнетенъ,
Послѣднихъ жалкихъ правъ безъ милости лишенъ,
Со всею братіей гонимый совокупно,
Я, вспыхнувъ, говорилъ тебѣ немного крупно:
Потѣшилъ языка бранчивую свербежъ;
Но извини меня, мнѣ было не втерпежъ.

Въ первомъ посланіи Пушкинъ представляетъ, въ какомъ жалкомъ положеніи была русская литература, отданная въ руки глупыхъ людей; поэтъ хотѣлъ бы имя цензора соединить съ идеаломъ гражданина, выставляя въ немъ такія черты, которыя были какъ разъ противоположны дѣйствительнымъ чертамъ тогдашнихъ цензоровъ.

Припоминая время Екатерины, когда распространялись идеи „Наказа“ о гражданскихъ правахъ, равно „дней Александровыхъ прекрасное начало“, Пушкинъ находилъ, что тогда положеніе русскихъ писателей было значительно легче, и въ этой напасти винитъ невѣжественныхъ цензоровъ, прибавляя:

На поприщѣ ума нельзя намъ отступать!

На все это цензоръ отвѣчаетъ: жена и дѣти!

Жена и дѣти, другъ, повѣрь, большое зло:
Отъ нихъ все скверное у насъ произошло!
Но дѣлать нечего! Такъ если невозможно
Домой тебѣ убраться осторожно
И службою своей ты нуженъ для царя,
Хоть умнаго себѣ возьми секретаря.

Второе посланіе посвящено преимущественно надеждамъ на министерство Шишкова, который въ этомъ году смѣнилъ тяжелое министерство князя Голицына, и на первыхъ порахъ разрѣшилъ поэтамъ употреблять разныя метафоры, преслѣдуемыя цензурой. Но надежды Пушкина оказались обманчивы.

Чтеніе у Пушкина шло непрерывно и было весьма разнообразно: одна книга смѣняла другую. Но при этомъ его фантазія не оставалась праздною; его геніальная артистическая натура выказывалась и здѣсь. Подъ впечатлѣніемъ отъ той или другой книги его фантазія тотчасъ же создавала образъ, который тогда же или потомъ вырабатывался въ какомъ-либо поэтическомъ произведеніи. Такъ, читая алкоранъ, онъ увлекся духомъ жгучей арабской поэзіи и въ девяти маленькихъ стихотвореніяхъ прекрасно передалъ поэтическую сторону священной книги мусульманъ. Читая римскаго писателя IV вѣка Аврелія Виктора,. онъ создалъ блестящій образъ Клеопатры, которымъ потомъ воспользовался въ Египетскихъ ночахъ. За чтеніемъ римскаго историка Тацита въ его фантазіи своеобразно рисовался образъ императора Тиверія.

Чтеніе русскихъ лѣтописей отразилось нѣсколькими живыми типами древне-русской жизни, которые тогда же вошли въ сцены Бориса Годунова. Чтеніе стихотвореній французскаго поэта, жертвы революціи Андре Шенье, вызвало прекрасную элегическую пьесу „Андрей Шенье", въ которой высказывается завѣтная мысль Пушкина о высокомъ назначеніи поэта въ общей гражданской жизни народа:

Гордись и радуйся, поэтъ!
Ты не поникъ главой послушной
Передъ позоромъ нашихъ лѣтъ;
Ты презрѣлъ мощнаго злодѣя,
Твой свѣточъ, грозно пламенѣя,
Жестокимъ блескомъ озарилъ
Совѣтъ правителей безславныхъ;
Твой бичъ настигнулъ ихъ, казнилъ
Сихъ палачей...
Твой стихъ свисталъ по ихъ главамъ;
Ты звалъ на нихъ, ты славилъ Немезиду;
Ты пѣлъ Маратовымъ жрецамъ
Кинжалъ и дѣву—Эвмениду...
Гордись, гордись, пѣвецъ.

Такое разнообразіе произведеній за одно и то же время объясняется той творческой душой, въ которой быстро перерабатывались всѣ впечатлѣнія, откуда бы они ни приходили. Отсюда же вытекаетъ и рѣдкая способность нашего поэта усвоивать себѣ колоритъ мѣстности и языка разныхъ историческихъ эпохъ русской жизни, что особенно начало выказываться въ немъ въ эти годы, когда онъ сталъ обращаться къ русскимъ лѣтописямъ

и русскимъ сказкамъ, записывая ихъ по пересказамъ своей старушки-няни, раздѣлявшей его уединеніе, и когда, наконецъ, сталъ прислушиваться къ народному говору. Особенно два небольшія стихотворенія „Зимній вечеръ“ и „Зимняя дорога“, нѣкоторыя строфы изъ Евгенія Онѣгина и разговоры въ Борисѣ Годуновѣ заставляютъ удивляться, какъ живо и вѣрно воспринимала фантазія поэта всѣ впечатлѣнія отъ русской жизни и русской природы.

Чтеніе только-что вышедшихъ X и XI томовъ „Исторіи Государства Россійскаго“ Карамзина особенно заняло Пушкина. Его фантазію наиболѣе привлекла исторія Бориса Годунова. Съ этимъ именемъ у него связалось нѣкоторое представленіе, какъ мы видѣли, еще въ дѣтствѣ, когда онъ жилъ въ подмосковной родительской деревнѣ Захаровѣ, сосѣдней съ селомъ Вяземомъ, сохранившимъ нѣкоторыя преданія о Годуновѣ. Но, конечно, не это было главною причиною, если онъ теперь остановился съ особеннымъ вниманіемъ на личности несчастнаго московскаго царя. Намъ представляется достаточно болѣе сильныхъ связей поэта съ эпохой Годунова для того, чтобы въ нихъ найти удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ: почему изъ всей старой русской исторіи именно это лицо такъ заняло его фантазію? Мы уже упоминали, что онъ любилъ задумываться надъ фактами изъ русской исторіи XVIII столѣтія, съ которыми былъ знакомъ болѣе по преданію; съ ними онъ связывалъ свою мысль о значеніи стараго русскаго ро-

довитаго дворянства, оттѣсненнаго отъ двора новыми лицами, попадавшими въ случай. Это старое дворянство или боярство, какъ сословіе, потеряло свою силу, а между тѣмъ у него было болѣе историческихъ связей съ народомъ; могли бы быть и сильныя нравственныя связи, если бы не крѣпостное рабство разрывало ихъ. Въ исторіи русскаго дворянства или боярства время Бориса Годунова представляетъ весьма видный и важный моментъ, который не могъ не остановить вниманія Пушкина по вопросу, его занимавшему.

Въ это время авторитетъ родового боярства оказался подточеннымъ. Не изъ ихъ среды выбранъ царь, когда прекратилась многовѣковая династія, а явился случайный человѣкъ, вчерашній рабъ, татаринъ, сильный лишь своимъ умомъ, ловкостью, смѣлостью, умѣвшій и страхомъ, и любовью, и славою народъ очаровать. Прежніе же совѣтники московскихъ князей, освободители и собиратели русской земли, многіе сами природные князья, иные Рюриковой крови, давно обратились лишь въ царскихъ подручниковъ. Не столько царь Иванъ Васильевичъ своими лютыми казнями ослабилъ ихъ, сколько Годуновъ въ мирной роли царскаго совѣтника показавъ, что и безъ нихъ царь можетъ править кротко и безъ смутъ. И Годуновъ выбранъ всѣмъ Великимъ соборомъ. Но въ самомъ ли дѣлѣ соборъ свободно выбиралъ этого случайнаго человѣка? Собственно народу нуженъ былъ только православный царь, а кто именно будетъ, ему было все равно, лишь бы только защи-

щалъ его отъ поганыхъ. Значитъ, на соборѣ дѣйствовала скрытная сила, которая направляла народъ. Это та сила, изъ которой потомъ стало выходить новое дворянство черезъ личныя свои качества—духовенство и приказный людъ; представителями ея были патріархъ и дьякъ Щелкаловъ. Они собственно, опираясь на равнодушную массу, возвели Бориса въ цари, а бояре, застигнутые врасплохъ, не приготовились для дѣйствія и оставались въ сторонѣ.

Существенный ударъ нанесъ имъ и Борисъ, закрѣпостивъ крестьянъ и разорвавъ всякую нравственную связь между тѣми и другими. Боярство осталось, повидимому, безъ значенія. Но опомнившись, хоть нѣсколько и поздно, оно вступило въ тайную борьбу съ новымъ царемъ, избраннымъ всенародно, и подточило его престолъ. Оно показало свою силу и значеніе самымъ печальнымъ образомъ, и, скрѣпя сердце, должно было признать надъ собою царемъ бродягу. Правда, оно погубило и его, но не поддержало своего достоинства, выставивъ, наконецъ, царя изъ своей среды. Онъ не защитилъ московскаго царства отъ враговъ, а долженъ былъ уступить свой престолъ чуждому королевичу, изъ націи, враждебной всему русскому народу. Послѣ многихъ бѣдствій и разореній боярство въ лицѣ Ляпунова и князя Пожарскаго, уже въ тѣсной связи съ народомъ, очистило Москву и дало Россіи царя изъ своей среды, въ лицѣ Романова, избраннаго дѣйствительно всенароднымъ соборомъ. Боярство еще нѣсколько десятковъ лѣтъ

силилось поддерживать свое значеніе, но не доблестями, а родовою спесью, которая наконецъ получила сильный ударъ въ уничтоженіи разрядныхъ книгъ. Затѣмъ, съ Петра Великаго пошли новые случайные люди, а табель о рангахъ вывела новое дворянство, у котораго съ народомъ не было уже никакой связи и которому выгодно было жить на счетъ народа.

Симпатіи Пушкина, какъ мы видѣли, были на сторонѣ стараго боярства, хотя онъ и старался относиться къ нему безпристрастно. Такъ, между мелкими его замѣтками, сохранившимся въ его бумагахъ, мы читаемъ: „Иностранцы, утверждающіе, что въ древнемъ нашемъ дворянствѣ не существовало понятіе о чести (point d'honneur), очень ошибаются. Сія честь, состоящая въ готовности жертвовать всѣмъ для поддержанія какого-нибудь условнаго правила, во всемъ блескѣ своего безумія видна въ древнемъ нашемъ мѣстничествѣ. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословныя распри. Юный Ѳеодоръ, уничтоживъ сію спесивую дворянскую оппозицію, сдѣлалъ то, на что̀ не рѣшились ни могучій Іоаннъ III, ни нетерпѣливый внукъ его, ни тайно злобствующій Годуновъ".

По исторіи Карамзина Пушкинъ могъ познакомиться не со всею эпохою междуцарствія, такъ какъ послѣдній томъ исторіи былъ изданъ уже послѣ смерти Карамзина; но онъ интересовался продолженіемъ его труда даже не безкорыстно; въ ту эпоху играли роль его предки, въ особен-

ности же Гаврило Пушкинъ занималъ его фантазію, введенный и въ самую его драму. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1825 года Пушкинъ спрашивалъ Дельвига: „видѣлъ ли ты Николая Михайловича (Карамзина), идетъ ли впередъ исторія? гдѣ онъ остановился? Не на избраніи ли Романовыхъ? Неблагодарные! Шесть Пушкиныхъ подписали избирательную грамоту, да два руку приложили за неумѣньемъ писать! А я, грамотный потомокъ ихъ, что я? гдѣ я?.. [1])".

Изъ этого видно, что Пушкину уже въ то время былъ не чуждъ вопросъ объ его предкахъ,—вопросъ, который у него соединялся съ общимъ вопросомъ о старомъ дворянствѣ:

Водились Пушкины съ царями,
Изъ нихъ былъ славенъ не одинъ,
Когда тягался съ поляками
Нижегородскій мѣщанинъ.
Смиривъ крамолы и коварство
И ярость бранныхъ непогодъ,
Когда Романовыхъ на царство
Звалъ въ грамотѣ своей народъ—
Мы къ оной руку приложили,
Насъ жаловалъ страдальца сынъ,
Бывало нами дорожили...

Вотъ какими связями связывалась мысль Пушкина съ началомъ XVII столѣтія нашей исторіи. Но кромѣ того, самое лицо Бориса Годунова должно было привлечь его фантазію своимъ особеннымъ положеніемъ. Изъ всей допетровской

[1]) Лейпцигское изданіе матеріаловъ для біографіи Пушкина.

русской исторіи эта личность должна была быть особенно симпатична новѣйшему времени по раздвоенности своей натуры, по тѣмъ внутреннимъ противорѣчіямъ, какими отличались и большинство новыхъ людей, ставшихъ выше толпы своимъ умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ. Такія лица являлись даже и на престолѣ, несмотря на полную, повидимому, возможность дѣйствовать согласно съ своимъ высокимъ идеаломъ. Страстное желаніе внести этотъ идеалъ въ жизнь и въ то же время чувство безсилія исполнить это на почвѣ, которая была для того не подготовлена, и производило то томительное внутреннее противорѣчіе, при которомъ невозможенъ былъ вопросъ о счастіи. Въ поэзіи, чуткой ко всѣмъ явленіямъ жизни, не могли не отражаться такіе типы.

Мы видѣли, что всѣ герои пушкинскихъ поэмъ отличаются этимъ противорѣчіемъ. Понятно, отчего и Борисъ Годуновъ привлекъ вниманіе поэта. Человѣкъ, возвысившійся надъ толпою умомъ, понятіями и талантами, вкусившій не только сладость власти, но и сладость дѣлать добро, съ идеаломъ властителя-благодѣтеля народа, этотъ человѣкъ покупаетъ себѣ право примѣнять съ престола свой идеалъ къ дѣйствительной жизни, покупаетъ цѣною своей совѣсти, кровавымъ преступленіемъ. Правда, въ свое время оно было скрыто, человѣческій законъ не покаралъ его; но это обстоятельство не снимало съ совѣсти преступленія. Вотъ то противорѣчіе, съ какимъ Годуновъ вступилъ на престолъ; оно не изгладилось массою добра, сдѣ-

ланнаго имъ, а росло все болѣе и болѣе. Народныя бѣдствія, являвшіяся отъ стихійныхъ силъ, за которыя никто не могъ отвѣчать, давали ему возможность благодѣтельствовать въ самыхъ широкихъ размѣрахъ; но та почва, на которой стоялъ онъ, была полита невинной кровью царевича. Борисъ не былъ названъ благодѣтелемъ. На всѣ бѣдствія народъ смотрѣлъ какъ на Божью кару, а по его понятіямъ, Богъ казнитъ народъ за грѣхи царей. И вдругъ откуда-то всплылъ этотъ царскій грѣхъ; кто-то шепнулъ о немъ, и быстро пошла ходить молва... Заговорило въ царѣ чувство самосохраненія, поневолѣ пришлось брать строгія, крутыя и даже преступныя мѣры; добро сдѣлалось невозможнымъ, при всемъ желаніи дѣлать его; посѣянное зло разрасталось въ зло и не давало всходить сѣянному добру. Пушкинъ понималъ трагичность такой расколотой натуры и остановился на ней, тѣмъ болѣе, что въ преданіяхъ новой русской исторической жизни повторялись факты, сходные съ тѣмъ, который сдѣлалъ Годуновъ отвѣтственнымъ передъ нравственнымъ судомъ потомства.

Наконецъ, во всей этой исторіи является еще одна личность, которая должна была привлечь вниманіе Пушкина—Гришка Отрепьевъ, какъ представитель той бродячей силы, какая во всѣ времена до послѣдняго момента выдавалась въ русской жизни. Она видна и въ Алекѣ, и въ Евгеніи Онѣгинѣ, на что̀ указалъ и Достоевскій въ своей горячей рѣчи на пушкинскомъ праздникѣ, назвавъ

ихъ несчастными скитальцами въ родной странѣ и историческими русскими страдальцами. Но Достоевскій находитъ это скитальчество явленіемъ новымъ въ русской жизни: „человѣкъ этотъ, говоритъ онъ, зародился какъ разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой петровской реформы въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы". Мы же говоримъ, что скитальчество составляетъ коренную черту русской жизни отъ самаго начала ея исторіи. Все, что было недовольно установившеюся обыденною жизнью, скованною старыми правилами, порядками и преданіями, все отдавалось скитальчеству, чему благопріятствовала ширь русской земли съ ея степями и лѣсами. Всѣ эти неспокойныя натуры, съ неопредѣленными стремленіями, съ неясными желаніями бродили, чего-то искали и ни на чемъ не успокоивались. Они выразились въ народныхъ эпическихъ пѣсняхъ въ разныхъ типахъ—поленицъ, бродячихъ удальцовъ, каликъ перехожихъ, а въ дѣйствительной жизни являлись и являются въ образѣ странниковъ, богомольцевъ, юродивыхъ, разныхъ бродягъ—нищихъ и монаховъ. Могилы ихъ разсѣяны по всей русской землѣ и даже за рубежами ея. Это же скитальчество перешло и въ новую образованную среду, и тамъ оно вызывается тѣми же причинами: недовольствомъ обыденною жизнью, мертвеннымъ покоемъ, стремленіемъ къ чему-то другому, лучшему, хоть, быть можетъ, и мечтательному, и несбыточному. — Вообще душевное безпокойство въ русскомъ человѣкѣ

выражается въ охотѣ къ перемѣнѣ мѣстъ, что̀ выказалось и въ самомъ Пушкинѣ. Эта черта прошла и въ Кавказскомъ плѣнникѣ, еще рѣзче проявилась въ Алекѣ, подготовлялась въ Евгеніи Онѣгинѣ; она же не могла не привлечь вниманія поэта, уже выразившись какъ сила, давшая лицу историческое значеніе. Въ самомъ дѣлѣ, Григорій Отрепьевъ тѣмъ въ особенности и интересенъ, что является представителемъ вѣковой бродячей силы въ русской землѣ. Изъ рода боярскихъ дѣтей, возвысившись надъ толпой грамотностью, увлекаемый безпокойнымъ духомъ, онъ скитается то по монастырямъ, то среди казаковъ, какъ будто чего-то ищетъ, носитъ какую-то неясную идею, наконецъ перебирается за рубежъ, въ Польшу, и тамъ дѣлается орудіемъ іезуитовъ, прикрытый именемъ русскаго царевича. Обстоятельства помогаютъ ему, и вотъ бродяга быстро является на русскомъ престолѣ, какъ какой-нибудь сказочный удалецъ. Пушкинъ хорошо понялъ, что это былъ не простой плутъ-пройдоха, не обыкновенный искатель приключеній, а та типическая русская натура, не находящая себѣ покоя въ своемъ состояніи, ищущая себѣ исхода въ бродячей жизни, отданной на произволъ случайностей. Гибнутъ наши скитальцы отъ разныхъ случайностей. Одна изъ нихъ довела до гибели и Григорія Отрепьева черезъ московскій престолъ.

Исторія самозванца сближаетъ двѣ родственныя и враждебныя національности—русскую и польскую. Историческое вѣковое столкновеніе между ними составляло жгучій вопросъ и во время Пуш-

кина, какъ и прежде, и послѣ него. Тогда была рѣчь о примиреніи, но на условіяхъ, обидныхъ для русскаго самолюбія и патріотизма. Извѣстно, что императоръ Александръ, давъ Польшѣ отдѣльную конституцію, предполагалъ присоединить къ ней Литву и нѣкоторыя области съ кореннымъ русскимъ населеніемъ. Можетъ быть, онъ и сдѣлалъ бы это, если бы не послышался явный ропотъ со стороны русскихъ патріотовъ, которые нашли выраженіе своей мысли и чувства въ извѣстной запискѣ Карамзина о Польшѣ. Понятно, что представленіе одного изъ важныхъ моментовъ столкновенія должно было имѣть интересъ не только историческій, но и жизненный, современный. Пушкинъ видѣлъ, что могъ прекрасно воспользоваться этой эпохой, поставивъ рядомъ типы старорусскіе и польскіе. Въ изображеніи послѣднихъ выказалась вся сила геніальнаго его творчества: они вышли столько же вѣрные и живые, какъ и первые. Видно, что они создались ни по отвлеченной идеѣ, ни по разсудочнымъ соображеніямъ, а изъ такихъ же живыхъ впечатлѣній, изъ какихъ фантазія поэта только и брала себѣ матеріалы. Невольно спрашивается: откуда же у него могъ быть такой запасъ впечатлѣній? Конечно, съ современными поляками онъ могъ часто встрѣчаться и въ Кишиневѣ, и въ Кіевѣ, и въ Одессѣ. Но ему нужно было создавать историческіе типы, слѣдовательно, хоть нѣсколько познакомиться съ польскими національными писателями стараго времени, чтобы уловить коренныя черты народности. По нѣкоторымъ даннымъ мы

можемъ заключить, что Пушкинъ былъ знакомъ съ польскимъ языкомъ, слѣдовательно, и польская литература была ему доступна; но намъ неизвѣстно, что̀ именно изъ нея прочиталъ онъ для созданія нужныхъ ему типовъ. Какъ бы то ни было, но фантазія Пушкина нашла матеріалы, чтобы рѣзко представить польскую національность въ соприкосновеніи ея съ московско-русскою. Мы видимъ у него Польшу, развившуюся подъ сильнымъ вліяніемъ римско-католическаго образованія съ значительной долей іезуитизма, видимъ, что главная точка враждебнаго соприкосновенія двухъ народностей была въ различіи вѣроисповѣданій, видимъ, что вызовъ въ этомъ дѣлѣ былъ сдѣланъ Польшей, у которой соединялись разсчеты религіозные съ государственными. Но взяла верхъ не польская сила, а русская измѣна въ лицѣ новаго случайнаго человѣка, честолюбиваго Басманова, ради котораго царь „сломилъ рогъ родовому боярству, презрѣлъ и чинъ разрядный и гнѣвъ бояръ“, назначивъ его главнымъ предводителемъ войска и ввѣривъ защиту престола со всей землею. Русская сила сама себя побѣдила и не унижена передъ польскою.

Особенно проявится разница въ типахъ обѣихъ національностей, если поставить рядомъ патера Черниковскаго и простодушнаго и наивнаго патріарха съ игуменомъ и Пименомъ; пановъ Мнишка и Вишневецкаго съ ихъ европейскимъ лоскомъ, съ чувствомъ польской вольности, и бояръ Шуйскаго, Воротынскаго, Пушкина; Марину и Ксенію, служанку Рузю и мамку Ксеніи, піиту, предсказываю-

щаго побѣду латинскими стихами, и юродиваго, грозящаго бѣдою.

Мы старались показать, что̀ Пушкинъ нашелъ въ исторіи Бориса Годунова, чтобы передѣлать ее въ драму и дать ей интересъ современнаго живого произведенія. Оказалось въ ней много сторонъ, которыя могли вдохновить поэта близкимъ отношеніемъ къ его современности. Руководствуемый разсказами Карамзина, лѣтописями и разными историческими документами, онъ могъ создавать типическіе образы и даже отдѣльныя сцены, но этого было недостаточно для того, чтобы сложилась полная драма. Ему нужно было еще выяснить, въ чемъ заключается драматическое искусство и какихъ правилъ слѣдуетъ держаться драматическому писателю. Онъ былъ хорошо знакомъ съ теоріей французской драмы; но въ ней онъ видѣлъ много фальши и такихъ условныхъ требованій, которыя стѣсняли свободу творчества. Онъ сталъ изучать Шекспира и восхитился тою жизненностью, какою отличаются всѣ его характеры. Сравненіе шекспировскихъ драмъ съ трагедіями Корнеля, Расина, Байрона и съ комедіями Мольера вполнѣ опредѣлило ему недостатки послѣднихъ и выяснило художественныя достоинства первыхъ, гдѣ человѣкъ въ каждую минуту и на каждомъ мѣстѣ является полнымъ человѣкомъ и притомъ такимъ, какимъ онъ долженъ быть въ своемъ положеніи, а не ходульнымъ олицетвореніемъ какой-нибудь идеи или страсти, чѣмъ отличаются французскія трагедіи и комедіи. Мы не приводимъ здѣсь всѣхъ разсужденій Пушкина по

поводу Шекспира, укажемъ только на выводы, какіе онъ для себя сдѣлалъ: настоящіе законы трагедіи—правдоподобіе положеній, истина разговора, правдоподобіе характеровъ, истина чувствъ. Это устраняетъ всякое субъективное отношеніе къ лицамъ и требуетъ, чтобы каждое лицо жило своею собственною жизнью. „Шекспиру подражалъ я,— писалъ Пушкинъ,—въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ". Но собственно это нельзя назвать подражаніемъ. Точнѣе было бы сказать, что у Шекспира онъ научился изображать характеры; въ самыхъ же характерахъ у него нѣтъ подражанія. Но мы нигдѣ не видимъ, чтобы Пушкинъ выяснилъ себѣ сущность драматическаго искусства, въ чемъ долженъ заключаться главный интересъ драмы. Въ одномъ письмѣ къ Бестужеву въ томъ же 1825 году, когда онъ изучалъ Шекспира и задумывался надъ вопросомъ о драмѣ, говоря о комедіи „Горе отъ ума", Пушкинъ замѣчаетъ: „Драматическаго писателя должно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собою признаннымъ". Слѣдовательно, онъ не полагаетъ никакихъ общихъ законовъ драмы. Это какъ нельзя болѣе согласуется съ той свободой творчества, которую онъ ставитъ непремѣннымъ условіемъ истинной поэзіи. Цѣль драмы, по его взгляду — характеры и рѣзкая картина нравовъ. „Я старался соединить оба эти рода", говоритъ онъ. А между тѣмъ у Шекспира кромѣ этого въ каждой драмѣ есть глубокій драматическій интересъ, кипучая борьба страстей, отъ которыхъ и зависитъ судьба личностей. На это Пуш-

кинъ не обратилъ вниманія, отчего у него изъ отдѣльныхъ, прекрасно обработанныхъ сценъ и не вышло драмы. „Карамзину слѣдовалъ я въ свѣтломъ развитіи происшествій", говоритъ онъ, значитъ, вся забота его была остаться вѣрнымъ Карамзину. Здѣсь онъ добровольно ограничилъ свою свободу авторитетомъ историка и сдѣлалъ большую ошибку, какъ историческую, такъ и художественную. Историческая ошибка произошла отъ смѣшенія взгляда историка со взглядами нѣкоторыхъ современниковъ Бориса Годунова. Но у послѣднихъ эти взгляды вытекали изъ недоброжелательнаго чувства и не возвышались надъ ихъ невѣжественными понятіями, а у историка они обратились въ объясненіе внутреннихъ причинъ событія и приняли уже мистическій характеръ, съ которымъ исторія не можетъ мириться. Отсюда всѣмъ движеніемъ будто бы управляла какая-то высшая таинственная сила въ родѣ судьбы или Немезиды, карающей за преступленія тѣхъ, которые стали недоступны человѣческому суду. Черезъ это пострадало и искусство: драматическій интересъ въ лицахъ пропалъ, и сдѣлалось невозможнымъ развитіе сильныхъ характеровъ. И вотъ рѣзкое различіе между Шекспиромъ и Пушкинымъ: у Шекспира характеры свободно развиваются и съ этимъ вмѣстѣ исчерпываются до глубины; у Пушкина изображаются какъ готовые типы; отсюда второстепенныя лица вышли у него наиболѣе живыми и художественными, тогда какъ главные—Борисъ Годуновъ и Григорій Отрепьевъ, — на которыхъ

долженъ бы былъ сосредоточиться весь интересъ драмы, вышли слабы. Мы не будемъ разбирать ихъ въ подробности, такъ какъ уже прежде насъ, давно, Бѣлинскій съ свойственнымъ ему художественнымъ чутьемъ указалъ на этотъ недостатокъ [1]). Прибавимъ только къ этому, что самозванецъ, какимъ онъ явился въ Польшѣ, у Пушкина не имѣетъ ничего общаго съ Григорьемъ Отрепьевымъ: одинъ въ другого никакъ не могъ переродиться, это—двѣ разныя личности, выросшія на разныхъ почвахъ, при разныхъ вліяніяхъ. Надо полагать, что на созданіе этого двойственнаго лица имѣли вліяніе, кромѣ русскихъ, еще польскіе или какіе-нибудь иностранные источники.

Отъ невыясненныхъ общихъ законовъ драматическаго искусства у Пушкина произошло колебаніе, когда ему пришлось дать какое-нибудь видовое названіе своему поэтическому произведенію: сначала онъ его назвалъ комедіей о Царѣ Борисѣ, потомъ скоро перемѣнилъ это названіе на трагедію, и наконецъ въ печати уничтожилъ всякое названіе. Бѣлинскій впослѣдствіи называлъ его эпической поэмой въ разговорной формѣ, также драматической хроникой. Это послѣднее названіе стали повторять въ послѣдующемъ поколѣніи, какъ бы изъ желанія отдѣлаться отъ вопроса: къ какому виду драмы слѣдуетъ отнести произведеніе? Но этимъ собственно ничего не опредѣляли и не устранили того неопредѣленнаго чувства или впе-

[1]) Сочиненія Бѣлинскаго, т. VIII.

чатлѣнія, какое оставалось по прочтеніи всѣхъ сценъ. Почти каждая изъ нихъ сама по себѣ говоритъ, что надъ ней работалъ геніальный художникъ; но въ цѣломъ нѣтъ живой, опредѣленной идеи и чувствуется какая-то фальшь.

Въ одной изъ своихъ замѣтокъ Пушкинъ назвалъ эпоху, имъ выбранную, одною изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новѣйшей исторіи. Значитъ, драматизмъ ему представлялся не въ лицахъ, а въ цѣлой эпохѣ, т.-е. какъ будто бы весь народъ былъ поставленъ въ драматическое положеніе и напрягалъ всѣ свои силы—физическія и нравственныя, въ борьбѣ за существованіе. Кажется, что эта сторона въ особенности и занимала Пушкина: въ Борисѣ Годуновѣ въ самомъ дѣлѣ главною дѣйствующею силою представляется народъ въ широкомъ значеніи этого слова, хотя онъ всею массою рѣдко является на сцену; но его безпокойный, тревожный, иногда бурливый голосъ слышится повсюду; онъ начинаетъ представленіе, онъ и кончаетъ его, какъ будто идетъ вездѣ вопросъ о его судьбѣ, а не объ интересахъ какихъ-нибудь личностей, какія обыкновенно изображаются въ драмахъ. Съ этой точки зрѣнія произведеніе Пушкина дѣйствительно могло бы представить особый видъ драмы, если бы въ немъ выразилась вся та эпоха, которую онъ назвалъ драматическою. Но въ немъ мы видимъ только первое дѣйствіе, конецъ же долженъ бы быть въ народномъ соборѣ выборныхъ отъ русской земли 1613 года. Не эта ли мысль была у Пушкина, когда онъ освѣдомлялся,

чѣмъ Карамзинъ думаетъ закончить свою исторію, доведетъ ли ее до избранія Романовыхъ? У насъ есть свѣдѣнія, что его дѣйствительно занимала мысль представить въ особыхъ пьесахъ Василія Шуйскаго, Марину Мнишекъ, и, слѣдовательно, изобразить всю драматическую эпоху. Тогда, можетъ быть, и Борисъ Годуновъ получилъ бы особое для насъ значеніе, какъ часть цѣлаго; тогда, можетъ быть, еще съ большей силой дѣйствовало бы это народное молчаніе въ отвѣтъ на вызовъ кричать „да здравствуетъ царь Дмитрій“. Тогда вышла бы и народная драма, надъ которой задумывался Пушкинъ.

„Я знаю, что силы мои развились совершенно, и чувствую, что могу творить“, писалъ Пушкинъ въ сознаніи своихъ могучихъ силъ, работая надъ Борисомъ Годуновымъ. Но эта работа принесла ему еще нравственную пользу: онъ почувствовалъ сердцемъ свою кровную связь съ русской стариною, съ давно-прошедшею жизнью, развившеюся при особенныхъ историческихъ условіяхъ, живѣе почувствовалъ себя гражданиномъ своей земли, понялъ, что нельзя безпочвенному человѣку быть безкорыстнымъ общественнымъ дѣятелемъ, а пока онъ не проникъ въ исторію своего народа, онъ человѣкъ безпочвенный. Съ этого времени Пушкинъ сталъ больше углубляться въ изученіе исторической русской жизни и въ ней укрѣплять корни русской поэзіи. Она была возвращена на свою настоящую почву.

Благодаря Борису Годунову, Пушкинъ долженъ

былъ обратить особенное вниманіе на народный русскій языкъ, на колоритъ старинной русской рѣчи. Надъ языкомъ вообще онъ задумывался и прежде. Еще изъ Одессы писалъ онъ князю Вяземскому: „Я желалъ бы русскому языку оставить нѣкоторую библейскую откровенность. Я не люблю видѣть въ первобытномъ нашемъ языкѣ слѣды европейскаго жеманства и французской утонченности. Грубость и простота болѣе ему пристала. Проповѣдую изъ внутренняго убѣжденія, но по привычкѣ пишу иначе". Этого Пушкинъ уже не могъ сказать о языкѣ въ Борисѣ Годуновѣ. Онъ выработанъ артистически; возвращенный къ первобытной простотѣ нашей народной рѣчи, въ немъ выражается не только складъ русскаго ума, но и типическія сословныя черты, сколько ихъ можно уловить въ старинныхъ памятникахъ русской письменности: языкъ боярскій, дьяческій, монашескій, простонародный, каждый отличается своими особенностями и свидѣтельствуетъ, что надъ нимъ работалъ еще небывалый художникъ.

Особенно производительны для Пушкина были первые мѣсяцы по пріѣздѣ его въ Михайловское. Какъ будто съ новыми впечатлѣніями, съ новой обстановкой фантазія его получила особенную силу. По свидѣтельству г. Анненкова, сцена въ Чудовомъ монастырѣ была имъ набросана въ началѣ января 1825 года, слѣдовательно, надо полагать, что до этого было соображено все произведеніе по крайней мѣрѣ въ общихъ чертахъ, причемъ и много перечитано. Съ этимъ вмѣстѣ были окончены

Цыганы, были почти наготовѣ III и IV главы Онѣгина, комѣ тѣхъ произведеній, на которыя мы уже указали прежде. Припомнимъ, что въ Михайловское онъ явился въ августѣ мѣсяцѣ, что въ концѣ осени долженъ былъ пережить мучительное столкновеніе съ отцомъ, что́, конечно, должно было отвлекать его отъ работъ. Но и тутъ далеко не все время поэтъ отдавалъ литературнымъ занятіямъ или приготовленію къ нимъ. Его подвижная, нервная натура требовала разнообразія, развлеченій. На его счастье, въ близкомъ сосѣдствѣ мирно жило помѣщичье семейство, которое занимаетъ въ біографіи Пушкина видное мѣсто. Владѣтельница села Тригорскаго, вдова Прасковья Александровна Вульфъ-Осипова, женщина съ образованнымъ умомъ и добрымъ сердцемъ, жила тамъ съ двумя взрослыми дочерьми отъ перваго брака съ Вульфомъ и съ двумя малолѣтними отъ второго—съ Осиповымъ и съ падчерицею, также взрослою. Семья иногда увеличивалась пріѣздомъ племянницъ Прасковьи Александровны и дерптскаго студента Вульфа, родного ея сына. Пушкину легко было сблизиться съ этимъ семействомъ, такъ какъ еще прежде оно было въ дружескихъ отношеніяхъ съ его семьею. Зная, какъ легко привязывался онъ къ женщинѣ, какъ любилъ вести бесѣду въ женскомъ обществѣ, въ которомъ всегда являлся неистощимымъ въ остроумныхъ словахъ, въ шуткахъ, въ разсказахъ, мы можемъ себѣ представить, какъ онъ проводилъ время въ этомъ шумномъ, веселомъ кругу молодыхъ особъ. Намъ не приходится

входить въ подробности его отношеній ко всѣмъ членамъ семьи, такъ какъ о томъ говорили уже другіе [1]). Имя Тригорскаго не разъ попадается въ его стихотвореніяхъ съ выраженіемъ самаго теплаго чувства. Первое время по пріѣздѣ въ Михайловское сердце Пушкина было еще занято одесскими сердечными привязанностями; но впечатлѣнія отъ прошедшаго скоро уступили мѣсто настоящему. Поэтъ сталъ слегка увлекаться по очереди каждою изъ молодыхъ хозяекъ Тригорскаго, пока наконецъ сильная страсть снова не вспыхнула въ немъ, какъ увидимъ далѣе. Повидимому, для болѣе полной жизни ему недоставало только общества друзей; но этотъ недостатокъ отчасти вознаграждался частою перепискою съ ними, въ которой, какъ мы видѣли, поэтъ касался очень серьезныхъ предметовъ. Впрочемъ и тутъ судьба раза два сжалилась надъ нимъ. Въ началѣ 1825 года къ нему на однѣ сутки пріѣзжалъ лицейскій его товарищъ Пущинъ, написавшій впослѣдствіи свое воспоминаніе объ этой дружеской встрѣчѣ. Съ самаго выхода изъ лицея онъ попалъ въ члены таїнаго общества и оставался вѣренъ намѣченной себѣ цѣли до самаго 14 декабря. Пушкинъ, еще живя въ Петербургѣ, подозрѣвалъ его въ этомъ соучастіи, всегда настойчиво выспрашивалъ, но ничего не могъ добиться. „Образъ его мыслей всѣмъ былъ извѣстенъ, говоритъ Пущинъ, но не

[1]) См. «С.-Петербургскія Вѣдомости» 1866 г., № 139—168, статья Семевскаго.

было полнаго къ нему довѣрія", т.-е. всѣ смотрѣли на него какъ на легкомысленнаго юношу, который противъ воли, по одной опрометчивости, могъ проболтаться въ разговорахъ или даже стихахъ. Говоря о неумолкаемой бесѣдѣ въ Михайловскомъ, Пущинъ замѣчаетъ: „Незамѣтно коснулись опять подозрѣній насчетъ общества (т.-е. тайнаго). Когда я ему сказалъ, что не я одинъ поступилъ въ это новое служеніе отечеству, онъ вскочилъ со стула и вскрикнулъ: „Вѣрно все это въ связи съ маіоромъ Раевскимъ, котораго пятый годъ держатъ въ Тираспольской крѣпости и ничего не могутъ выпытать". Потомъ, успокоившись, продолжалъ: „Впрочемъ, я не заставлю тебя говорить" [1]). Пушкинъ хорошо понималъ, что, находясь подъ тройнымъ надзоромъ, онъ не можетъ быть дѣятельнымъ членомъ какого бы ни было общества; а о надзорѣ ему только-что напомнилъ настоятель Святогорскаго монастыря, прервавшій своимъ визитомъ бесѣду его съ другомъ, пріѣздъ котораго возбудилъ монашеское любопытство. Пушкинъ долженъ былъ ловко выживать незванаго гостя, ублаготворяя его пуншемъ. У поэта въ головѣ въ это время гнѣздилась своя тайная мысль, вызываемая чувствомъ неволи.

„Мочи нѣтъ, хочется Дельвига", взывалъ Пушкинъ въ Петербургъ и весною того же года онъ увидѣлъ своего Дельвига; а вскорѣ потомъ чувство дружбы, наполнявшее его сердце, уступило мѣсто

[1]) Лейпцигское изданіе Матеріаловъ для біографіи Пушкина.

чувству любви, которое перешло въ бѣшеный порывъ страсти. Арабская кровь снова закипѣла отъ встрѣчи, которая еще за нѣсколько лѣтъ произвела на поэта сильное впечатлѣніе. Въ семейство Осиповой на лѣто пріѣхала замужняя племянница Анна Петровна Кернъ, мужъ которой, старый генералъ, былъ рижскимъ комендантомъ. Она была племянница извѣстнаго петербургскаго мецената Оленина, у котораго Пушкинъ въ первый разъ встрѣтился съ нею незадолго до своей ссылки, былъ пораженъ ея красотою, но напрасно старался обратить на себя ея вниманіе. Она едва замѣтила его и сильно уязвила его юное самолюбіе. Но тогда она сама была еще застѣнчивая, несмѣлая... Время и жизнь развили ее. Странствуя со своимъ старымъ и нелюбимымъ мужемъ по командировкамъ и по смотрамъ, она обратила на себя вниманіе даже императора Александра Павловича, цѣнителя женской красоты, и благодаря этому обстоятельству мужъ ея, впавшій было въ немилость, получилъ спокойное мѣсто рижскаго коменданта. Все еще красивая и молодая, веселая, она затмила постоянныхъ обитательницъ Тригорскаго. Пушкинъ припомнилъ свою первую встрѣчу съ нею, съ которою соединялось и воспоминаніе объ оскорбленномъ самолюбіи, и это-то, вѣроятно, раздуло первую искру, которая вспыхнула въ его сердцѣ. Какъ сильно подѣйствовала на Пушкина эта красавица, видно изъ его стихотворенія, отнесеннаго къ ней: „Я помню чудное мгновенье“—

Въ глуши, во мракѣ заточенья,
Тянулись тихо дни мои
Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви...
Душѣ настало пробужденье:
И вотъ опять явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты.
И сердце бьется въ упоеньѣ,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Въ дополненіе къ этой поэзіи у насъ есть письма влюбленнаго поэта, писанныя уже тогда, когда Прасковья Александровна, опасаясь бѣды, увезла свою красавицу-племянницу къ мужу въ Ригу. Пушкинъ получилъ отъ нея позволеніе писать, и тутъ-то высказалась вполнѣ эта страстная натура. Прочитавъ его письма, каждый скажетъ, что ихъ пишетъ не только влюбленный до безумія человѣкъ, но и человѣкъ необыкновенный. Тутъ раскрывается вся душа его, какъ и у всякаго въ порывѣ страсти. Всѣ вообще его пріятельскія письма отличаются необыкновеннымъ остроуміемъ, неожидаемыми оборотами рѣчи, шутливымъ тономъ, даже и тогда, когда, кажется, совсѣмъ бы не до шутокъ; но въ письмахъ къ любимой женщинѣ все это еще усиливается; а между тѣмъ здѣсь слышатся и бѣшеная любовь, и нѣжность, и опасенія, и подозрѣнія, и ревность, и ничего нѣтъ натянутаго, фальшиваго, придуманнаго. Воспользуемся переводомъ нѣкоторыхъ от-

рывковъ этихъ писемъ, писанныхъ по-французски [1]).

„Переписка ни къ чему не ведетъ, но у меня нѣтъ силъ противиться желанію имѣть слово, написанное хорошенькою вашею ручкою. Въ моей печальной деревенской глуши не могу сдѣлать ничего лучшаго, какъ стараться больше не думать о васъ... Прощайте, божественная, бѣшусь и падаю къ вашимъ ножкамъ... Опять берусь за перо, ибо умираю со скуки и могу заниматься только вами. Надѣюсь, что письмо это вы прочтете украдкою—спрячете его опять у себя на груди".

Переписка началась 25 іюля и продолжалась до конца года. 14 августа Пушкинъ писалъ: „Перечитываю ваше письмо вдоль и поперекъ и говорю: милая, прелесть, божественная! а потомъ: ахъ, мерзкая! Простите, прелестная, кроткая моя, но это такъ! Несомнѣнно, что вы божественны, но иногда въ васъ не случается здраваго смысла; еще разъ простите и утѣшьтесь, ибо отъ этого вы еще прелестнѣе... Вы говорите, что я не знаю вашего характера. А какое мнѣ до него дѣло; очень я о немъ думаю, и развѣ у хорошенькихъ женщинъ долженъ быть характеръ? Самое главное: глаза, зубы, ручки и ножки... Что подагра вашего супруга?.. Божественная, ради Бога, постарайтесь, чтобъ онъ игралъ и чтобъ у него была подагра, подагра! Въ этомъ вся моя надежда!"...

---

[1]) Вполнѣ они напечатаны въ «Русск. Старинѣ» 1879, ноябрь.

Черезъ двѣ недѣли вотъ ужъ какое предложеніе пишетъ влюбленный: „Если вашъ почтенный супругъ слишкомъ надоѣдаетъ вамъ, бросьте его, но знаете ли какъ? Оставьте вы ваше семейство, возьмите почтовыхъ въ Островъ и пріѣзжайте... куда? въ Тригорское? Ничуть не бывало,— въ Михайловское! Но понимаете ли, какое это было бы для меня счастіе. Вы скажете: а огласка? а скандалъ? Кой чортъ! Разставаясь съ мужемъ, дѣлаютъ полнѣйшій скандалъ, и все прочее—ничто или очень мало Но сознайтесь, что проектъ мой романическій... Увижу ли я васъ опять? Мысль, что нѣтъ, приводитъ меня въ трепетъ. Вы скажете: утѣшьтесь! Очень хорошо, но чѣмъ и какъ? Влюбиться невозможно. Прежде всего надобно позабыть ваши прелести. Бѣжать въ чужіе края, удавиться, жениться? Все это сопряжено съ большими затрудненіями и все это мнѣ отвратительно... Не правда ли, я гораздо любезнѣе въ письмахъ, чѣмъ съ глазу на глазъ. Но если вы пріѣдете, я обѣщаю вамъ быть любезнымъ до чрезвычайности — я буду веселъ въ понедѣльникъ, восторженъ во вторникъ, нѣженъ въ среду, ловокъ и прытокъ въ четвергъ, въ пятницу, субботу и воскресенье буду чѣмъ вамъ угодно, и всю недѣлю у вашихъ ногъ“.

А вотъ слышится и голосъ ревности: „Вы мнѣ клянетесь всѣми богами, что ни съ кѣмъ не кокетничаете; а между тѣмъ вы на ты съ вашимъ кузеномъ. Не говорите мнѣ о томъ, что восхищаетесь мною: восхищеніе не есть чувство. Говорите мнѣ о любви, вотъ чего я жажду. Но въ особен-

ности не говорите мнѣ о стихахъ... Не стану я проповѣдывать морали, но опять же къ мужу должно питать уваженіе, иначе никто не захотѣлъ бы быть мужемъ... Весьма желательно мнѣ знать, почему двоюродный вашъ братецъ выѣхалъ изъ Риги лишь 15 числа текущаго мѣсяца, и почему имя его три раза сорвалось съ вашего пера въ вашемъ письмѣ ко мнѣ? Нескромность въ сторону: нельзя ли это узнать".

Въ письмѣ отъ 8 декабря повторяются все тѣ же страстныя рѣчи: „Опять берусь за перо, чтобъ сказать вамъ, что я у ногъ вашихъ, что я все васъ люблю, что иногда ненавижу васъ, что третьяго дня говорилъ про васъ ужасныя вещи, что я цѣлую ваши прелестныя ручки, что цѣлую ихъ еще въ ожиданіи лучшаго, что больше силъ моихъ нѣтъ, что вы божественны".

Изъ всего сказаннаго нами о жизни Пушкина въ Михайловскомъ нельзя заключить, что она текла однообразно, вяло; натура обыкновенная была бы, пожалуй, даже довольна ею, но геніальная натура Пушкина требовала себѣ не того для жизни; тѣ треволненія, которыя случались, не могли удовлетворить его стремленіямъ. Ему нужна была дѣятельность широкая, общественная; онъ могъ успокоиться только въ буряхъ. Къ нему какъ нельзя лучше примѣнимъ стихъ Лермонтова о парусѣ: „онъ, несчастный, ищетъ бури, какъ будто въ буряхъ есть покой". Такимъ натурамъ нужна открытая борьба, безъ которой имъ некуда дѣть запаса своихъ громадныхъ силъ. Въ ранніе, юные годы

эта, пока еще безсознательная, потребность борьбы выразилась у него въ стремленіи къ военной службѣ ради войны, какъ мы уже видѣли; другой борьбы, кромѣ военной, ему не представлялось. Онъ приводитъ и своего героя, утомленнаго жизнью кавказскаго плѣнника на Кавказъ для борьбы съ горцами. Написавъ въ Кишиневѣ стихотвореніе „Война“ по поводу греческаго возстанія, онъ замѣчаетъ въ письмѣ къ брату: „Мечта воина привела въ задумчивость воина, что̀ служитъ въ иностранной коллегіи и находится нынѣ въ бессарабской канцеляріи“. Съ большей ироніей нельзя было выразиться о своемъ положеніи. Чѣмъ, какъ не жаждой борьбы, можно лучше объяснить тѣ столкновенія, на которыя онъ часто какъ бы напрашивался, даже самое столкновеніе съ графомъ Воронцовымъ? Въ Михайловскомъ усилилось еще чувство неволи, тяжелое для всякаго, а для такой натуры мучительное. Безъ позволенія начальства онъ не могъ даже пріѣхать въ городъ. Это чувство прекрасно выразилось и ранѣе въ стихотвореніи „Узникъ“, написанномъ еще въ концѣ 1822 года. Его мысль, какъ „вскормленный на волѣ молодой орелъ“, взываетъ къ нему:

Давай улетимъ!
Мы вольныя птицы, пора, братъ, пора!
Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
Туда, гдѣ гуляемъ лишь вѣтеръ да я!

Этотъ послѣдній стихъ показываетъ, какую широкую свободу представляла поэту его фантазія.

„Давай улетимъ!“ было въ мысляхъ Пушкина и тогда, когда въ его глазахъ отплывали корабли изъ одесскаго порта. Желаніе путешествовать въ чужихъ краяхъ было его любимою мечтою въ самыхъ юныхъ годахъ. Въ 1822 г. онъ писалъ князю Вяземскому: „Говорятъ, Чадаевъ ѣдетъ за границу. Давно бы такъ; но мнѣ его жаль изъ эгоизма. Любимая моя надежда была съ нимъ путешествовать“. А черезъ годъ у него была мысль сѣсть на корабль безъ вѣдома начальства, но какая-то сердечная привязанность, „могучая страсть“, какъ онъ выражается въ стихотвореніи „Къ морю“, удержала его отъ этого:

Не удалось навѣкъ оставить
Мнѣ скучный, неподвижный брегъ.

Въ Михайловскомъ снова заняла его мысль— бѣжать на чужбину, чтобы освободить свой духъ отъ чувства неволи, чтобы насладиться сознаніемъ свободы. Другого средства онъ не представлялъ себѣ получить возможность жить такъ, какъ хочется душѣ. Много горечи слышится въ словахъ Пушкина, обращенныхъ къ кн. Вяземскому: „вотъ одна изъ невыгодъ моей ссылки: не имѣю способовъ учиться, пока пора! Грѣхъ гонителямъ моимъ“ [1]). Въ письмѣ къ Ал. Бестужеву онъ замѣ-

[1]) Въ письмѣ къ Дельвигу Пушкинъ дѣлаетъ приписку: «нѣкто Вибій Серекъ, по доносу своего сына, былъ присужденъ римскимъ сенатомъ къ заключенію на какомъ-то безлюдномъ островѣ. Тиберій воспротивился сему рѣшенію, говоря, что человѣка, коему дарована жизнь, не должно лишать

чаетъ: „ты, да, кажется Вяземскій, одни изъ нашихъ литераторовъ учатся; всѣ прочіе разучаются. Жаль! Высокій примѣръ Карамзина долженъ бы былъ ихъ образумить“. Этому примѣру хотѣлось и ему слѣдовать, но въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же было учиться въ деревенской глуши? И вотъ у Пушкина сталъ созрѣвать планъ бѣгства. Въ немъ приняли участіе сама П. А. Осипова и сынъ ея, студентъ Вульфъ, съ которымъ Пушкинъ очень подружился. Нужно было прежде всего попасть въ Дерптъ, откуда уже не представлялось большихъ затрудненій перешагнуть черезъ границу. Для этого слѣдовало указать на какую-нибудь серьезную болѣзнь, которая требовала бы помощи искусныхъ медиковъ; а въ Дерптѣ, какъ университетскомъ городѣ, можно было найти ихъ. Болѣзнь нашлась. Еще въ Одессѣ въ письмѣ объ отставкѣ Пушкинъ писалъ: „Вы, можетъ быть, не знаете, что у меня аневризмъ. Вотъ ужъ 8 лѣтъ, какъ я ношу съ собою смерть. Могу представить свидѣтельство котораго угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня въ покоѣ на остатокъ жизни, которая вѣрно не продлится“. Казалось ли Пушкину, что у него дѣйствительно была эта болѣзнь, или то былъ невинный вымыселъ, мы не знаемъ, но только на этой самой болѣзни былъ основанъ и планъ бѣгства. Пушкинъ написалъ императору письмо „дѣльное и благоразумное“, какъ онъ гово-

---

способовъ къ поддержанію жизни. Слова, достойныя ума свѣтлаго и человѣколюбиваго!»

ритъ, съ просьбою позволить лѣчиться ему въ Дерптѣ или въ какой-нибудь столицѣ. Но письмо не дошло по назначенію. Оно только всполошило всю семью Пушкина, не знавшую настоящей дѣйствительности. Мать его написала чувствительное письмо государю, подняла на ноги Жуковскаго, Карамзина и друг. И вотъ, въ то время, какъ поэтъ писалъ къ отсутствующей П. А. Осиповой:

Быть можетъ, ужъ недолго мнѣ
Въ изгнаньи мирномъ оставаться,
Вздыхать о мирной старинѣ
И сельской музѣ въ тишинѣ
Душой безпечной предаваться.
Но и вдали, въ краю чужомъ,
Я буду мыслію всегдашней
Бродить Тригорскаго кругомъ,

онъ получилъ извѣстіе изъ Петербурга, что ему позволено лѣчиться, но только во Псковѣ, куда его родные черезъ посредство Жуковскаго приглашали изъ Дерпта знаменитаго хирурга Мойера. Не ожидая такого рѣшенія, Пушкинъ былъ внѣ себя и объявилъ рѣшительно, что отъ Пскова онъ отказывается. Не останавливаясь на подробностяхъ всего этого дѣла [1]), мы только воспользуемся нѣкоторыми отрывками письма князя Вяземскаго, который въ качествѣ друга накинулся на поэта за его странное и двусмысленное поведеніе [2]). Оно

[1]) Онѣ изложены у г. Анненкова въ книгѣ «Пушкинъ въ Александровскую эпоху».

[2]) «Русск. Арх.» 1874 г. № 1.

показываетъ, какъ близкіе къ поэту люди, не понимая его психическаго состоянія, стали смотрѣть на него. Оно писано 28 августа 1825 года: „Твоя мать узнала, что у тебя аневризмъ въ ногѣ: она совѣтуется съ людьми, явно въ твою пользу расположенными—Карамзинымъ, Жуковскимъ. Жуковскій вызывается доставить тебѣ помощь Мойера, извѣстнаго искусствомъ своимъ. Государь назначаетъ тебѣ Псковъ. Кто же тутъ виноватъ? Каждый дѣлалъ свое дѣло, одинъ ты не дѣлаешь своего и портишь дѣло другихъ, а особливо же свое. Отказываясь ѣхать, ты наводишь подозрѣніе на свою мать, что она хотѣла обольстить довѣренность царя и вымышленнымъ аневризмомъ насильно выхватить твою волю. Портишь свое положеніе для будущаго времени, ибо этимъ отказомъ подаешь новый поводъ къ тысячѣ заключеній о твоихъ намѣреніяхъ, видахъ, надеждахъ. И для насъ, тебя знающихъ, есть какая-то таинственность, несообразность въ упорствѣ не ѣхать въ Псковъ. Что же должно быть въ умѣ тѣхъ, которые ни времени, ни охоты не имѣютъ ломать голову себѣ надъ разгадываніемъ твоихъ своенравныхъ и сумасбродныхъ логогрифовъ? Они удовольствуются первою разгадкою, что ты человѣкъ неугомонный, съ которымъ ничто не беретъ, который изъ охоты идетъ наперекоръ власти, друзей, родныхъ и котораго вѣрнѣе и спокойнѣе держать на привязи, подальше... Зачѣмъ же затягивать новый узелъ? Не могу понять, да вѣроятно ты и самъ не понимаешь, а любуешься въ суматохѣ: тебѣ хочется

жаловаться на судьбу, на людей, и гдѣ они тебѣ благопріятствуютъ, тамъ ты исподтишка путаешь все, что они ни сдѣлаютъ. Будь доволенъ. Ты не на пуховикахъ пронѣжилъ свою молодость и не въ оранжереяхъ взростилъ свои лавры. Можно войти погрѣться въ избу и поваляться на лежанкѣ. Уже довольно былъ ты въ раздражительности и довольно искръ вспыхнуло изъ этихъ электрическихъ потрясеній. Отдохни. Попробуй плыть по водѣ, ты довольно боролся съ теченіемъ. Разумѣется, не совѣтую плыть по водѣ къ грязному берегу, чтобъ запачкаться въ тинѣ; но въ новой стезѣ, открываемой передъ тобою, ничто не задѣнетъ совѣсти твоей, ничто не запятнаетъ характера... Душа должна быть тверда, но нехорошо ей и щетиниться при каждой встрѣчѣ. Ты можешь почерствѣть въ этой недовѣрчивости къ людямъ, которою ты закалиться хочешь. И какое право имѣешь ты на недовѣрчивость? Развѣ одну неблагодарность свою? Лучшіе люди въ Россіи за тебя. Имя твое сдѣлалось народною собственностью. Чего тебѣ недостаетъ? Ты ли одинъ терпишь и на тебѣ ли одномъ обрушилось бремя невзгодъ, сопряженныхъ съ настоящимъ положеніемъ не только нашимъ, но вообще европейскимъ? Если приперло тебя потѣснѣе, то вини свой пьедесталъ, который выше другого... Не самъ ли ты частью виноватъ въ своемъ положеніи? Ты сажалъ цвѣты, не сообразясь съ климатомъ. Морозъ сдѣлалъ свое, вотъ и все... Ты любуешься въ гоненіи. Оно у насъ, какъ и авторское ремесло, еще не есть почетное званіе. Оно—

званіе только для немногихъ; для народа оно не существуетъ. Гоненіе придаетъ державную власть гонимому только тамъ, гдѣ господствуютъ два раскола общественнаго мнѣнія. Ты, можетъ быть, силенъ у насъ только одною своею славою, тѣмъ, что тебя читаютъ съ удовольствіемъ, съ жадностью; но несчастіе у насъ не имѣетъ силъ ни на грошъ. Хоть будь въ кандалахъ... ихъ звукъ не разбудитъ ни одной новой мысли въ толпѣ, въ народѣ, который у насъ мало чутокъ... У насъ никому нѣтъ мѣста почетнаго... Оппозиція у насъ пустое и безплодное ремесло во всѣхъ отношеніяхъ... Оно не въ цѣнѣ у народа... Покланяемся мы одному счастію, и благородное несчастіе не имѣетъ еще кружка своего въ мѣсяцесловѣ народа ребяческаго... Пушкинъ по характеру своему, Пушкинъ, какъ блестящій примѣръ превратностей различныхъ, ничтоженъ въ русскомъ народѣ; за выкупъ его никто не дастъ алтына, хотя по шести рублей и платится каждая его стихотворная отрыжка... Донъ-Кишотъ новаго рода, ты снимаешь шляпу, кладешь земные поклоны и набожничаешь передъ вѣтряною мельницею, въ которой не только Бога или святого, но и мельника не бывало“..

Такимъ языкомъ нужно было говорить съ Пушкинымъ, чтобы укрощать кипучую его натуру. Это языкъ твердый, прямой, безпощадный, но въ то же время и дружескій, доброжелательный, и онъ могъ сдерживать ярость страстнаго человѣка и доводить до минуты хладнокровнаго разсужденія. На всѣ укоры Вяземскаго Пушкинъ отвѣчалъ нѣсколь-

кими словами, въ которыхъ слышатся и глубокая грусть, и иронія: „ты вбилъ въ голову, что я объѣдаюсь гоненіемъ. Охъ, душа моя, меня тошнитъ. Но предлагаемое да ѣдятъ“. Это было написано 15 сентября, а черезъ недѣлю Пушкинъ писалъ къ Аннѣ Петровнѣ Кернъ: „Вашъ совѣтъ написать его величеству тронулъ меня, какъ доказательство того, что вы обо мнѣ думали—благодарю тебя за него на колѣняхъ, но послѣдовать ему не могу. Участь моего существованія должна рѣшить судьба; я въ это дѣло не хочу вмѣшиваться“.

Изъ этихъ словъ видно, что невольникъ нѣсколько примирился со своей неудачей, конечно, ненадолго. „Экой ты неуимчивый!“ говорила ему его няня, и точнѣе слова нельзя было подобрать для опредѣленія его характера. Пушкину самому такъ оно понравилось, что онъ передалъ его въ письмѣ князю Вяземскому. Положившись на судьбу, онъ въ то же время старается увѣрить себя, что исходъ его неволи близокъ. Такъ, въ стихотвореніи 19-го октября, представляя себѣ пирующихъ въ этотъ день лицейскихъ товарищей и жалуясь на свое одиночество, онъ прибавляетъ:

Пора и мнѣ... Пируйте, о, друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните-жъ поэта предсказанье:
Промчится годъ—и съ вами снова я!
Исполнится завѣтъ моихъ мечтаній.
Промчится годъ, и я явлюся къ вамъ!
О, сколько слезъ и сколько восклицаній,
И сколько чашъ подъятыхъ къ небесамъ!

Но поэтъ, конечно, не предчувствовалъ, какія событія осуществятъ его завѣтную мечту. Умеръ императоръ Александръ Павловичъ. На тронѣ провозглашенъ Константинъ Павловичъ. Пушкинъ въ письмѣ къ Катенину радостно привѣтствовалъ его восшествіе: „бурная его молодость, писалъ онъ, напоминаетъ Генриха V, отъ новаго царствованія я ожидаю много хорошаго". Взглядъ его на умершаго правителя выразился въ письмѣ къ Жуковскому: „Говорятъ, ты написалъ стихи на смерть Александра I. Предметъ богатый! Но въ теченіе десяти лѣтъ его царствованія лира твоя молчала. Это лучшій упрекъ ему. Никто болѣе тебя не имѣетъ права сказать: гласъ лиры—гласъ народа; слѣдовательно, я не совсѣмъ былъ виноватъ, подсвистывая ему до самаго гроба".

Вслѣдъ затѣмъ было получено извѣстіе о 14-мъ декабря и его послѣдствіяхъ. Оно поразило Пушкина. Первый его порывъ былъ самовольно оставить Михайловское и мчаться къ Петербургу; но благоразуміе взяло верхъ. Онъ остался выжидать другихъ новостей. И онѣ были очень неутѣшительны. Много друзей, пріятелей, знакомыхъ, людей даровитѣйшихъ, умнѣйшихъ, образованнѣйшихъ сдѣлались жертвами событія. Пушкинъ почувствовалъ себя въ двусмысленномъ положеніи. Онъ не принималъ никакого участія въ заговорѣ,и даже не зналъ о немъ, значитъ, онъ не сознавалъ въ себѣ вины передъ новымъ правительствомъ и могъ просить его о своемъ освобожденіи; но, съ другой стороны, прошедшее его было далеко не безупречно

въ глазахъ государственной власти, которая могла дѣлать заключенія не въ его пользу. Нужно было очистить себя отъ всякихъ подозрѣній. Боясь за себя, Пушкинъ въ то же время опасался и за своихъ друзей, Раевскихъ, Кюхельбекера и др. На свои письма онъ получалъ неясные и неопредѣленные отвѣты, вѣроятно въ виду почтовой нескромности, которая практиковалась въ почтамтѣ. Переживая эти тяжелые часы въ неизвѣстности, онъ сердился на своихъ корреспондентовъ. Такъ въ письмѣ его къ Дельвигу видится совсѣмъ не то дружеское перо, какимъ обыкновенно писались его письма: „Милый баронъ! вы обо мнѣ безпокоитесь, и напрасно—я человѣкъ мирный. Но я безпокоюсь, и дай Богъ, чтобъ было понапрасну. Мнѣ сказывали, что А. Раевскій подъ арестомъ. Не сомнѣваюсь въ его политической безвинности, но онъ боленъ ногами и сырость казематовъ будетъ для него смертельна“... [1]).

Замѣчательно письмо его къ Жуковскому, гдѣ видится прямой, честный человѣкъ, который не вступаетъ ни въ какія сдѣлки съ своей совѣстью: „Мудрено мнѣ требовать твоего заступленія передъ государемъ; не хочу охмелить тебя въ этомъ пиру. Вѣроятно, правительство удостовѣрилось, что я заговору не принадлежу и съ возмутителями

[1]) На это письмо Дельвигъ отвѣчалъ Пушкину: «До тебя дошли ложные слухи о Раевскихъ. Правда, они оба въ Петербургѣ, но на совершенной свободѣ. Государь говорилъ съ ними, увѣрился въ ихъ невинности и, говорятъ, пожалъ имъ руку и поцѣловалъ ихъ. Отецъ ихъ сдѣланъ членомъ совѣта».

14-го декабря связей политическихъ не имѣлъ; но оно въ журналахъ объявило опалу и тѣмъ, которые, имѣя какія-нибудь свѣдѣнія о заговорѣ, не объявили о томъ полиціи. Но кто же кромѣ полиціи и правительства не зналъ о немъ? О заговорѣ кричали по всѣмъ переулкамъ, и это одна изъ причинъ моей безвинности. Все-таки я отъ жандарма еще не ушелъ: легко можетъ, уличатъ меня въ политическихъ разговорахъ съ какимъ-нибудь изъ обвиненныхъ. А между ними друзей моихъ довольно. Теперь положимъ, что правительство и захочетъ прекратить мою опалу: съ нимъ я готовъ условливаться (буде условія необходимы), но вамъ рѣшительно говорю: не отвѣчать и не ручаться за меня. Мое будущее поведеніе зависитъ отъ обстоятельствъ, отъ обхожденія со мною правительства etc... Прежде чѣмъ сожжешь это письмо, покажи его Карамзину и посовѣтуйся съ нимъ. Кажется, можно сказать царю: В. В., если Пушкинъ не замѣшанъ, то нельзя ли наконецъ позволить ему возвратиться".

Въ то же время Пушкинъ писалъ Дельвигу: „просить мнѣ какъ-то совѣстно, особенно нынѣ: образъ мыслей моихъ извѣстенъ. Гонимый 6 лѣтъ сряду, замаранный по службѣ выключкою, сосланный въ глухую деревню за двѣ строчки перехваченнаго письма, я, конечно, не могъ доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавалъ полную справедливость его достоинствамъ; но никогда я не проповѣдовалъ ни возмущеній, ни революціи — напротивъ... Какъ бы то ни было, я желалъ бы

вполнѣ и искренно помириться съ правительствомъ, и, конечно, это ни отъ кого, кромѣ него, не зависитъ. Въ этомъ желаніи болѣе благоразумія, нежели гордости съ моей стороны“ [1]).

Кажется, не нужно никакихъ поясненій, чтобы ясно представить себѣ этотъ могучій характеръ, выработанный несчастіями и гоненіемъ. Ими онъ завоевалъ себѣ положеніе и, не признавая за со-

---

[1]) Интересно также письмо Пушкина отъ 3 марта 1826 г. къ Плетневу, который завѣдывалъ въ это время изданіемъ сочиненій поэта. Оно писано въ отвѣтъ на письма Плетнева, въ которыхъ передавалось желаніе Карамзина прочесть въ рукописи драму «Борисъ Годуновъ» и извѣстіе о болѣзни исторіографа и Гнѣдича: «Карамзинъ боленъ! милый мой, это хуже многаго—ради Бога, успокой меня, не то мнѣ страшно вдвое будетъ распечатывать газеты. Гнѣдичъ не умретъ прежде совершенія Иліады, или реку въ сердцѣ моемъ: нѣсть Фебъ. Ты знаешь, что я пророкъ. Не будетъ вамъ Бориса, прежде чѣмъ не выпишите меня въ Петербургъ. Что это въ самомъ дѣлѣ? Стыдное дѣло. Слѣпушкину (стихотворцу изъ крестьянъ села Рыбацкаго на Невѣ) даютъ и кафтанъ, и часы, и полумедаль (въ 50 червонц. отъ россійской академіи), а Пушкину полному—шишъ. Такъ и быть, отказываюсь отъ фрака, штановъ и даже отъ академическаго четвертака (обычнаго жетона за каждое засѣданіе члена россійской академіи), (что мнѣ слѣдуетъ), по крайней мѣрѣ пускай позволятъ мнѣ бросить проклятое Михайловское. Вопросъ: невиненъ я или нѣтъ; но въ обоихъ случаяхъ давно бы мнѣ надлежало быть въ Петербургѣ. Вотъ каково быть честнымъ человѣкомъ: забудутъ и квитъ!.. А ты хорошъ! Пишешь мнѣ: переписывай да нанимай писцовъ опочкинскихъ, да издавай Онѣгина. Я самъ себя хочу издать или выдать въ свѣтъ. Батюшки, помогите! (Вѣстн. Евр. 1881 г. Мартъ. Статья Я. К. Грота).

бою никакой гражданской вины, не хотѣлъ отступить, склонивши покорную голову; не хотѣлъ просить и милости, а ждалъ должнаго—справедливости. Мы можемъ сказать, что у насъ поэтъ первый вырабатывалъ въ самомъ себѣ, въ своемъ характерѣ идеалъ гражданина, отказавшись отъ чести быть чиновникомъ.

Между тѣмъ въ Петербургѣ вліятельныя лица стали хлопотать въ пользу освобожденія Пушкина [1]). По словамъ Липранди, весною 1826 г. онъ слышалъ отъ отца поэта, что уже обѣщано въ скоромъ времени дозволить ему вернуться въ Петербургъ за отцовскимъ поручительствомъ. А братъ его Левъ даже сдѣлалъ нѣкоторое самопожертвованіе въ его пользу. Кто-то просилъ за Пушкина графа Бенкендорфа, лицо, сдѣлавшееся весьма сильнымъ при новомъ правительствѣ. Бенкендорфъ обѣщалъ принять въ немъ участіе, предложивъ въ то же время брату его вступить въ дивизіонъ жандармовъ, который въ то время только-что формировали и шефомъ котораго былъ назначенъ самъ Бенкендорфъ. Противъ такой службы были какъ отецъ, такъ и сынъ. Но лицо, ходатайствовавшее передъ Бенкендорфомъ за ссыльнаго поэта, напу-

[1]) Дельвигъ писалъ къ нему: Живи, душа моя, надеждами большими и высокими, трудись для просвѣщенныхъ внуковъ; надежды же близкія, земныя оставь на стараніе друзей твоихъ и доброй матери твоей. Онѣ очень исполнимы, но еще не теперь. Дождись коронаціи, тогда можно будетъ просить царя, тогда можно отъ него ждать для тебя новой жизни. Дай Богъ только, чтобы она полезна была для твой поэзіи.

гало ихъ, что отказомъ отъ предлагаемой службы могутъ окончательно повредить Александру Сергѣевичу, такъ какъ графъ можетъ принять такой отказъ за личное оскорбленіе. Этого было достаточно, чтобы побѣдить въ юношѣ, страстно любившемъ брата, нерасположеніе къ жандармской службѣ: онъ поспѣшилъ записаться юнкеромъ въ новый дивизіонъ. Самъ старикъ Пушкинъ не сопротивлялся, оцѣнивъ благородный порывъ младшаго сына. Такимъ образомъ всѣ люди, близкіе нашему поэту въ Петербургѣ, дѣлали все, чтобы направить его дѣло къ желанному концу. Въ началѣ лѣта онъ и самъ рѣшился подать о себѣ голосъ. Въ прошеніи на Высочайшее имя онъ указалъ на причину своей ссылки, заявилъ о твердомъ намѣреніи болѣе не противорѣчить своими мнѣніями общепринятому порядку и просилъ позволенія ѣхать въ Москву или въ Петербургъ, или въ чужіе края, чтобы возстановить свое разстроенное здоровье. Къ прошенію, вмѣстѣ съ медицинскимъ свидѣтельствомъ отъ Псковской врачебной управы, онъ присоединилъ отдѣльное обязательство не принадлежать ни къ какимъ тайнымъ обществамъ. Представивъ всѣ эти бумаги псковскому гражданскому губернатору, барону фонъ-Адеркасу, Пушкинъ сталъ спокойно ожидать конца дѣла. Болѣе всего плѣняла его мысль о заграничной поѣздкѣ. „Если царь дастъ мнѣ слободу, писалъ онъ князю Вяземскому, то я мѣсяца не останусь... Мы живемъ въ печальномъ вѣкѣ, но когда воображаю Лондонъ, чугунныя дороги, па-

ровые корабли, англійскіе журналы, или парижскіе театры, то мое глухое Михайловское наводитъ на меня тоску и бѣшенство". На просторъ рвалась душа поэта, хотѣлось ей свободно подышать воздухомъ просвѣщенныхъ странъ Европы. Минутами ему казалось, что онъ ненавидитъ свое отечество; но на самомъ дѣлѣ онъ ненавидѣлъ отечественное невѣжество, тотъ нравственный гнетъ, который вытекалъ изъ оффиціальныхъ порядковъ родной земли. Еще въ самые юные годы Пушкинъ соединилъ съ чужими краями такія идеальныя представленія, почвы для которыхъ не находилъ на родинѣ:

Краевъ чужихъ неопытный любитель
И своего всегдашній обвинитель,
Я говорилъ: «въ отечествѣ моемъ,
Гдѣ вѣрный умъ, гдѣ геній мы найдемъ?
Гдѣ гражданинъ съ душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Гдѣ женщина не съ мертвой красотой,
Но съ огненной, плѣнительной, живой?
Гдѣ разговоръ найду непринужденный,
Плѣнительный, веселый, просвѣщенный?
Съ кѣмъ можно быть не хладнымъ, не пустымъ?..
Отечество почти я ненавидѣлъ!..

Поэтъ дѣйствительно многое ненавидѣлъ въ отечествѣ; но въ то же время и глубоко любилъ его, только съ этой любовью не соединялось ничто свѣтлое, успокоительное, отрадное, а, наоборотъ, что-то грустное, страдательное. Такъ любитъ мать своего искалѣченнаго, но все же милаго ребенка. Не могъ не любить отечества тотъ чело-

вѣкъ, который съ такой сердечной горечью писалъ слѣдующія строки:

„Мы въ отношеніяхъ съ иностранцами не имѣемъ ни гордости, ни стыда. При англичанахъ дурачимъ Василья Львовича [1]); предъ madame Stael заставляемъ Милорадовича отличаться въ мазуркѣ. Русскій баринъ кричитъ: мальчикъ, забавляй Гектора (датскаго кобеля). Мы хохочемъ и переводимъ эти барскія слова любопытному путешественнику. Все это попадаетъ въ его журналъ и печатается въ Европѣ. Это мерзко. Я, конечно, презираю отечество мое съ головы до ногъ, но мнѣ досадно, если иностранецъ раздѣляетъ со мною это чувство"... Вотъ эта-то досада и выдавала патріотизмъ нашего поэта, который не хотѣлъ въ немъ признаться.

Все лѣто 1826 г. у Пушкина прошло въ ожиданіи свободы. Тригорское общество оживилось еще болѣе пріѣздомъ студента-поэта Языкова, съ которымъ Пушкинъ дружески сошелся. Но шумныя бесѣды и веселыя пирушки не помѣшали фантазіи поэта создать въ то же время грандіозный образъ пророка, гдѣ у него мысль возвышается до религіознаго настроенія. Ему открылось то высшее служеніе міру, до котораго человѣкъ можетъ дойти путемъ высшаго духовнаго просвѣщенія, путемъ томленія и страданія. Его единственнымъ орудіемъ дѣлается горячее слово, которымъ онъ будетъ жечь сердца, указывая высшія цѣли жизни.

---

[1]) Пушкина, дядю нашего поэта.

Прежній образъ поэта, выработанный Пушкинымъ, какъ общественнаго пѣвца, какъ участника славныхъ подвиговъ, теперь уже потерялъ свое значеніе Произошло крушеніе; всѣ пловцы погибли; остался только одинъ „таинственный пѣвецъ“, выброшенный на берегъ [1]). Некому уже пѣть ему, некого ободрять и одушевлять на подвиги своими пѣснями. И вотъ вмѣсто него возникаетъ одинокій, величественный образъ библейскаго пророка, у котораго уже другое назначеніе. Онъ не идетъ на ряду съ общественными дѣятелями-героями; онъ одиноко выходитъ изъ мрачной пустыни, просвѣтленный, одинъ несетъ въ сердцѣ горе людское и ждетъ высшаго призыва. Въ фантазіи нашего поэта призывъ этотъ совершается: пророкъ съ именемъ „пророка Россіи“ долженъ явиться передъ царемъ, „облекшись позорной ризой и съ вервіемъ на выѣ“ [2]). Вотъ какая роль предназначалась ему въ предѣлахъ родной земли. Но въ дѣйствительности вышло иначе. Самъ царь протянулъ руку одинокому пророку Россіи. 4 сентября Пушкинъ узналъ о перемѣнѣ своей судьбы. Неволя его, повидимому, окончилась; а его фантазія расширила предѣлы дѣятельности пророка—моря и земли.

Прошеніе Пушкина объ освобожденіи баронъ Адеркасъ переслалъ къ генералъ-губернатору маркизу Паулучи, который, можетъ быть, подготов-

[1]) См. стихотвореніе Аріонъ (1830):

Насъ было много на челнѣ...

[2]) По первоначальной редакціи стихотворенія «Пророкъ». См. въ «Русской Старинѣ» 1879 г.

ленный доброжелателями поэта, хорошо отозвался о немъ высшему начальству, впрочемъ, съ оговоркою „не дозволять Пушкину выѣзда за границу". Наконецъ 28 августа была подписана въ Москвѣ высочайшая резолюція: отправить за Пушкинымъ фельдъегеря, но позволить ему ѣхать свободно не въ видѣ арестанта. Черезъ семь дней фельдъегерь былъ уже во Псковѣ съ бумагою, гдѣ нашъ поэтъ названъ чиновникомъ 10 класса. Въ ту же ночь этотъ чиновникъ немедленно былъ вытребованъ въ Псковъ, откуда вмѣстѣ съ фельдъегеремъ помчался въ Москву, успокоенный письмомъ Дибича, начальника главнаго штаба, которое вручилъ ему оффиціальный его спутникъ. 8 сентября Пушкинъ прибылъ въ Москву и тотчасъ же въ дорожномъ платьѣ былъ представленъ императору въ Чудовомъ дворцѣ. А въ Тригорскомъ думали, что внезапно исчезнувшій изъ Михайловскаго поэтъ былъ уже на дорогѣ въ Сибирь.

VII.

Скитальческая жизнь.

Мы не знаемъ подробностей бесѣды царя съ поэтомъ при первой ихъ встрѣчѣ. Самъ Пушкинъ только записалъ, что государь принялъ его самымъ любезнымъ образомъ. Извѣстно, что императоръ Николай Павловичъ былъ большой любитель и цѣнитель искусства, всегда старался покровительство-

вать артистамъ и ласково къ нимъ относился; но, кромѣ того, Пушкинъ долженъ былъ обратить его вниманіе и своимъ умомъ, смѣлыми свободными словами, непринужденнымъ обращеніемъ. Зная характеръ Пушкина, мы можемъ сказать, что онъ не унизилъ своего достоинства. Съ этой бесѣды царь сталъ уважать поэта и вынесъ убѣжденіе, что онъ узналъ умнаго и честнаго человѣка, на слово котораго можно положиться. Вызывая его на новые поэтическіе труды, онъ хотѣлъ избавить его отъ непріятныхъ сношеній съ цензурою, о которой вѣроятно у нихъ была рѣчь, и самъ вызвался быть его цензоромъ. Пушкинъ посмотрѣлъ на это, какъ на особенную для себя честь и соединилъ съ молодымъ царемъ лучшія надежды на будущее. Такимъ образомъ примиреніе между представителемъ верховной власти и поэтомъ, еще недавно ожесточеннымъ, было искреннее. И личныя ихъ отношенія, основанныя на взаимномъ уваженіи, никогда не измѣнялись. Какое впечатлѣніе на образованный кругъ молодыхъ людей и на его семью произвело возвращеніе Пушкину свободы, видно изъ письма Дельвига: „Поздравляю тебя, милый Пушкинъ, съ перемѣной судьбы твоей. У насъ даже люди прыгаютъ отъ радости. Я съ братомъ Львомъ развезъ прекрасную новость по всему Петербургу. Петровъ, Козловъ, Гнѣдичъ, Оленинъ, Кернъ Анна Николаевна, всѣ прыгаютъ и поздравляютъ тебя. Какъ счастлива семья твоя, ты не можешь представить. Особливо мать: она наверху блаженства. Я знаю твою благородную душу: ты не воз-

мутишь ихъ счастія упорнымъ молчаніемъ. Ты напишешь имъ. Они доказали тебѣ любовь свою. Душа моя, меня пугаетъ положеніе твоей няни. Какъ она перенесла совсѣмъ неожиданную разлуку съ тобою. Что касается до Осиповой, она меня испугала отчаяннымъ письмомъ"...

Поэтъ ожидалъ красныхъ дней и не предчувствовалъ, какая борьба еще ожидала его, не предвидѣлъ, что царское слово, спасая его отъ ссылки и давая большій просторъ его мысли, не спасло его отъ чувства неволи. Императоръ назначилъ посредникомъ между нимъ и поэтомъ лицо, приближенное къ себѣ, которому онъ вполнѣ довѣрялъ, графа Бенкендорфа. Мы не имѣемъ никакого повода предполагать, что въ этомъ назначеніи была какая-нибудь задняя мысль или желаніе поставить поэта подъ скрытый надзоръ тайной полиціи и стѣснить его дѣятельность, прикрывая особенной честью. Тутъ произошло просто недоразумѣніе, которое стоило поэту многихъ непріятностей и отравляло его жизнь. У насъ нѣтъ достаточно біографическихъ данныхъ, чтобъ сдѣлать рѣшительное заключеніе о графѣ Бенкендорфѣ. Нѣкоторые изъ современниковъ отзывались о немъ съ хорошей стороны. Можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ, по понятіямъ того общества, былъ хорошій человѣкъ; но онъ былъ царедворецъ и главный въ числѣ тѣхъ, которые явились тогда при дворѣ какъ лица съ возложенною на нихъ задачею искоренить либерализмъ, развитый царствованіемъ Александра I. Они приняли къ сердцу эту задачу, но отнеслись

къ ней не какъ государственные люди, которые прежде всего выясняютъ причину явленія и уже дѣйствуютъ согласно съ нею, а какъ царедворцы, которые соединили ее съ личными своими выгодами, потому что собственно она и дала имъ высокое положеніе. У нихъ была своя логика и дѣлались свои силлогизмы, въ родѣ слѣдующихъ: либерализмъ привелъ къ 14 декабря, слѣдовательно, онъ пагубенъ для государства. Преслѣдованіе либерализма спасаетъ отъ пагубы государство, слѣдовательно выражаетъ настоящую службу престолу и отечеству; значитъ, выказать усердіе къ службѣ можно безпощаднымъ преслѣдованіемъ либерализма. Но что̀ такое либерализмъ выяснить это понятіе никто особенно не заботился; все, что̀ не служило выгодамъ царедворцевъ, все, что̀ обличало ихъ своекорыстные поступки, все, что̀ было выше ихъ узкихъ и односторонннихъ понятій, всякая живая мысль, всякое свободное движеніе чувства, всякій стонъ подавляемой человѣческой природы, все это шло за либерализмъ и все это выставлялось за элементы, вредные для общественнаго спокойствія. Одни изъ этихъ царедворцевъ выходили изъ того общества благомыслящихъ гражданъ и порядочныхъ людей, на которыхъ, какъ мы видѣли, указывалъ Скобелевъ въ доказательство того, что большой еще перевѣсъ оставался на сторонѣ благочестія: они уже давно добирались до клочковъ шкуры либераловъ и безъ соболѣзнованія рѣшились бы удавить даже дѣтей [1]). Отечество и служба

[1]) «Русск. Стар.» 1871, декабрь.

для нихъ были дороги потому, что изъ нихъ они могли извлекать для себя и личныя обильныя выгоды. У другихъ съ именемъ Россіи не соединялось даже представленія отечества. У нихъ былъ свой фатерландъ въ остзейскомъ краѣ, а съ Россіей не было никакой нравственной связи. Понятно, чего они должны были искать, прикрываясь службой царю и отечеству, и какъ они должны были относиться ко всему, что̀, по ихъ взгляду, могло хоть сколько-нибудь поколебать ихъ положеніе. Помощниками и исполнителями своихъ распоряженій они выбирали по большей части своихъ одноземцевъ, у которыхъ наибольшія личныя выгоды отъ службы были также на первомъ планѣ. Но ужъ, конечно, никому изъ нихъ не было никакого дѣла ни до русской поэзіи, ни до успѣховъ русской литературы; для нихъ было бы лучше, если бы ея вѣкъ не существовало.

Бенкендорфъ считалъ своею обязанностью слѣдить за развитіемъ мысли въ обществѣ и въ литературѣ и направлять ее по своему усмотрѣнію. Поэтому на посредничество, возложенное на него императоромъ, онъ посмотрѣлъ по-своему: онъ принялъ его за тайный полицейскій надзоръ, подъ который будто бы Пушкинъ отдавался ему, и сталъ считать своею обязанностью не спускать глазъ съ освобожденнаго поэта. Въ его глазахъ Пушкинъ долженъ былъ считаться за человѣка опаснаго, такъ какъ былъ на дурномъ счету у прежняго правительства и былъ способенъ возбуждать молодежь своими стихами. Это былъ не только его лич-

ный взглядъ, но взглядъ всего того чиновно-канцелярскаго общества, всѣхъ тѣхъ старыхъ служакъ, которые получили особенную силу въ новомъ правительствѣ. Правда, Пушкинъ не былъ замѣшанъ въ дѣлѣ декабристовъ, но это обстоятельство нисколько не спасало его отъ подозрѣнія царедворцевъ, считавшихъ своимъ призваніемъ спасать отечество. „Если онъ не попался, говорили они, то потому, что былъ умнѣе и осторожнѣе другихъ“. По крайней мѣрѣ, такую фразу повторяли они, примѣняя ее къ людямъ, менѣе его вліятельнымъ [1]). Пушкину сначала трудно было замѣтить, въ какомъ странномъ и исключительномъ положеніи очутился онъ передъ этимъ правительственнымъ классомъ, онъ, получившій свободный доступъ къ царю, и въ то же время по своему оффиціальному положенію не больше, какъ уволенный отъ службы коллежскій секретарь. Онъ не думалъ, что у него будетъ особое начальство, несмотря на то, что онъ не состоитъ ни на какой государственной службѣ. Но ему скоро пришлось убѣдиться, что въ благоустроенномъ государствѣ и у поэта должно быть свое начальство, безъ позволенія котораго онъ не въ правѣ сдѣлать ни одного свободнаго шага.

Вскорѣ послѣ перваго свиданія Пушкина съ императоромъ въ Москвѣ, Бенкендорфъ писалъ поэту въ изысканно-вѣжливыхъ выраженіяхъ: „Государь императоръ самъ будетъ и первымъ цѣнителемъ

[1]) См. соч. Вяземскаго, т. II, «Моя исповѣдь».

произведеній вашихъ и цензоромъ. Его величество совершенно остается увѣреннымъ, что вы употребите отличныя способности ваши на переданіе потомству славы нашего отечества, передавъ вмѣстѣ безсмертію имя ваше". Зная послѣдующее отношеніе шефа жандармовъ къ нашему поэту, мы готовы принять за тонкую иронію это приглашеніе передавать потомству славу отечества. Здѣсь невольно припоминается положеніе соловья въ когтяхъ у кошки. Пушкинъ, конечно, принялъ вызовъ императора быть его цензоромъ на тотъ только случай, если бы общая цензура затруднялась пропустить его произведеніе, но никакъ не могъ предполагать, что этотъ милостивый, какъ онъ думалъ, вызовъ лишаетъ его права печатать свои произведенія на общемъ для всѣхъ основаніи. Но скоро объяснилось, что Бенкендорфъ по-своему понималъ оказанную поэту милость. Ее онъ употреблялъ для того, чтобы поставить его въ полную отъ себя зависимость. Въ томъ же письмѣ Пушкину именемъ государя предлагался очень важный трудъ, который, впрочемъ, не имѣлъ ничего общаго съ тѣмъ поэтическимъ призваніемъ, на которое передъ этимъ ему указывалось: ему поручалось заняться „предметомъ о воспитаніи юношества". Правда, такая тема была самою современною, такъ какъ вся вина политическихъ смутъ была взведена на воспитаніе, что̀ было не совсѣмъ справедливо, но что́ безъ всякихъ изслѣдованій принято за очевидную истину. „Вамъ предоставляется, прибавилъ Бенкендорфъ при этомъ предложеніи, совершенная и полная сво-

бода, когда и какъ представить ваши мысли и соображенія. Предметъ сей долженъ представить вамъ тѣмъ обширнѣйшій кругъ, что вы на опытѣ видѣли всѣ пагубныя послѣдствія ложной системы воспитанія". Въ этихъ словахъ уже слышится язвительный намекъ на прошедшее поэта, который дорого заплатилъ за него и который въ правѣ былъ ожидать, что оно будетъ забыто послѣ милости, оказанной ему царемъ, и послѣ честныхъ обѣщаній, данныхъ имъ новому правительству. Такое напоминаніе не могло обѣщать ничего хорошаго.

Пушкинъ, неопытный въ оффиціальныхъ сношеніяхъ, не отозвался никакимъ отвѣтомъ на заявленіе Бенкендорфа. Это вызвало второе письмо шефа жандармовъ, которое удостовѣряло, что за нимъ очень внимательно слѣдили въ Москвѣ, гдѣ онъ принималъ участіе во всѣхъ увеселеніяхъ и празднествахъ по случаю коронаціи и гдѣ въ нѣкоторыхъ литературныхъ собраніяхъ читалъ своего Бориса Годунова. Въ письмѣ поэтъ прочиталъ не только выговоръ за то, что оставилъ безъ отвѣта первое письмо, но и обвиненіе въ ослушаніи волѣ государя: онъ позволилъ себѣ читать трагедію въ обществѣ, тогда какъ прежде долженъ былъ представить ее въ высочайшую цензуру. Это обвиненіе показывало, съ одной стороны, какіе исправные шпіоны были заведены шефомъ жандармовъ, а съ другой, въ какое незавидное положеніе ставили поэта, котораго приглашали въ то же время славить отечество и котораго еще недавно лично

ободрялъ самъ царь, предлагая собственную и, конечно, разумную и снисходительную цензуру. Поэтъ увидѣлъ, что его лишаютъ даже права каждаго писателя—читать въ рукописи въ пріятельскомъ кругу свое произведеніе и воспользоваться совѣтами другихъ, прежде чѣмъ оно будетъ напечатано. Слишкомъ своеобразно понималъ Бенкендорфъ милость, которую царь оказывалъ поэту. Пушкину же ничего не оставалось, какъ признать обвиненія и извиниться: „Я читалъ въ Москвѣ свою трагедію, отписывался онъ, нѣкоторымъ лицамъ не изъ ослушанія, но только потому, что худо понялъ волю государя... Я не осмѣлился прежде сего представить ее глазамъ императора, намѣреваясь сперва выбросить нѣкоторыя непристойныя выраженія". Съ этимъ вмѣстѣ во избѣжаніе дальнѣйшихъ выговоровъ и обвиненій, поэтъ спѣшилъ сообщить, что онъ уже роздалъ нѣсколько мелкихъ своихъ сочиненій въ разные журналы и альманахи по просьбѣ издателей. На это Бенкендорфъ поспѣшилъ написать поэту: „прошу васъ сообщить мнѣ для разсмотрѣнія государя всѣ и мелкіе труды блистательнаго вашего пера". Какой ироніей отзываются эти льстивыя выраженія, которыми хотѣли прикрыть грубость и непристойность своихъ требованій. О всемъ этомъ Пушкинъ насмѣшливо писалъ своему пріятелю Соболевскому: „Освобожденный отъ цензуры, я долженъ однакоже прежде, чѣмъ что-нибудь напечатать, представить оное выше, хотя бы бездѣлицу. Мнѣ уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову. Конечно, я

въ точности исполню высшую волю и для того писалъ Погодину дать знать въ цензуру, чтобъ моего ничего нигдѣ не пропускали. Изъ этого вижу для себя большую пользу: освобожденія отъ альманашниковъ, журнальщиковъ и прочихъ щепетильныхъ „литературщиковъ“.

Работа, заданная Пушкину, „заняться предметомъ о воспитаніи юношества“, не могла быть ему по душѣ: во-первыхъ, дорожа свободой своей мысли, онъ имѣлъ отвращеніе ко всѣмъ задаваемымъ темамъ; во-вторыхъ, онъ никогда не занимался этимъ предметомъ, не имѣлъ случая вдумываться въ него, не имѣлъ никакихъ и данныхъ для обстоятельной разработки темы. Въ самомъ дѣлѣ, какія практическія мысли и соображенія объ этомъ предметѣ могъ представить онъ, шесть лѣтъ проведшій вдали отъ столичнаго общества, гдѣ еще можно было дѣлать какія-нибудь наблюденія. Вѣроятно, онъ не скоро принялся бы за эту тему, а, можетъ быть, и совсѣмъ устранилъ бы ее, въ надеждѣ, что о ней забудутъ, тѣмъ болѣе, что ему дана свобода: „когда и какъ представить свой трудъ“. Но нетерпѣливый шефъ жандармовъ забылъ только это послѣднее обстоятельство и новымъ письмомъ торопилъ поэта скорѣе исполнить волю государя. Пушкинъ принужденъ былъ взяться за перо и написалъ небольшую статейку, видимо только для того, чтобы отдѣлаться отъ заказной работы. Въ ней, какъ бы мимоходомъ, Пушкинъ указываетъ на свое ложное положеніе передъ навязаннымъ ему начальствомъ, которое судитъ о

немъ, уже возмужавшемъ человѣкѣ, по проступкамъ его неопытной юности [1]). Но этотъ упрекъ и намекъ, высказанный въ общей мысли, не привлекъ вниманія начальства, которое, воспользовавшись другою мыслью автора, также сказанною мимоходомъ, поспѣшило снова упрекнуть его прошедшимъ. Пушкинъ высказалъ вполнѣ справедливую мысль, что просвѣщеніе и геній служатъ основаніемъ совершенству [2]). Но эта-то мысль и не понравилась въ высшей сферѣ и вызвала замѣчаніе въ письмѣ Бенкендорфа, замѣчаніе, которое должно войти въ исторію русскаго воспитанія: „принятое ваше правило, будто бы просвѣщеніе и геній служатъ исключительнымъ основаніемъ совершенству, есть правило опасное для общаго спокойствія, завлекшее васъ самихъ на край пропасти и повергшее въ оную толикое число молодыхъ людей. Нравственность, прилежное служеніе, усердіе предпочесть должно просвѣщенію неопытному, безнравственному и безполезному. На сихъ-то началахъ должно быть основано благонаправленное воспитаніе“.

Употребляя слово „просвѣщеніе“, Пушкинъ, ко-

---

[1]) «Наказывать юношу или взрослаго человѣка за вину отрока есть дѣло ужасное и, къ несчастію, слишкомъ у насъ обыкновенное». Девятнадцатый вѣкъ, Бартенева, т. II.

[2]) Этой мысли, впрочемъ, нѣтъ въ извѣстной намъ запискѣ, напечатанной г. Бартеневымъ. Тамъ сказано: «одно просвѣщеніе въ состояніи удержать новыя безумства, новыя общественныя бѣдствія». Надо полагать, что записка была подана въ другомъ видѣ.

нечно, не предполагалъ, что у царедворцевъ съ нимъ соединяется совсѣмъ другое понятіе, не просвѣщеніе ума и сердца, не нравственный подъемъ человѣка, а что-то другое, съ чѣмъ можно соединять эпитеты „неопытный, безнравственный, безполезный“. Самое понятіе о нравственности не было выяснено этими людьми, хотя они и старались соединить его съ евангельскимъ ученіемъ; но оттуда они извлекали нѣкоторыя выраженія, выгодныя для нихъ, и ограничивали высокую христіанскую нравственность только прилежнымъ служеніемъ и усердіемъ, которое хотѣли обратить какъ бы въ догматъ, сдѣлавъ его основаніемъ воспитанія съ натянутымъ эпитетомъ благонаправленное. При такомъ смѣшеніи понятій нельзя было придумать лучшей системы для воспитанія человѣка-раба, котораго Пушкинъ потомъ идеализировалъ въ своемъ стихотвореніи „Анчаръ“, гдѣ единственную добродѣтель человѣка составляютъ прилежаніе и усердіе. Это стихотвореніе было настоящимъ отвѣтомъ поэта, котораго снова кольнули его мнимой безнравственностью, выказавъ въ то же время свои неразвитыя понятія о нравственности и просвѣщеніи. Но оффиціально Пушкину пришлось тогда же отвѣчать извиненіемъ въ томъ, что онъ не могъ глубже вникнуть въ предметъ, мало ему знакомый.

Удерживая за собою право при всякомъ случаѣ корить и колоть поэта его прежнимъ поведеніемъ, то же самое начальство не съумѣло сохранить передъ нимъ своего нравственнаго достоинства. Пуш-

кинъ просилъ его возстановить свое право на литературную собственность, нарушенное чиновникомъ, подчиненнымъ Бенкендорфу, Ольдекопомъ. Еще въ 1824 году Ольдекопъ перевелъ на нѣмецкій языкъ „Кавказскаго плѣнника“ и напечаталъ его вмѣстѣ съ оригиналомъ безъ согласія автора, черезъ что лишалъ его на нѣкоторое время возможности сдѣлать второе изданіе своей поэмы. Пушкинъ потерпѣлъ большой убытокъ. Живя въ Одессѣ, онъ не могъ самъ вступиться за свою собственность и поручилъ отцу хлопотать за себя. Сергѣй Львовичъ обратился съ жалобою куда слѣдуетъ, но не получилъ никакого удовлетворенія. Ольдекопа оригинально оправдывали тѣмъ, что онъ перепечаталъ „Кавказскаго плѣнника“ для справокъ оригинала съ нѣмецкимъ переводомъ и что въ Россіи будто бы „не существуетъ закона противу перепечатанія книгъ“. Впрочемъ, при этомъ было прибавлено, что если Пушкинъ хочетъ преслѣдовать Ольдекопа, то „токмо развѣ яко мошенника“. Черезъ три года Пушкинъ уже въ Петербургѣ вздумалъ снова поднять это дѣло и писалъ Бенкендорфу, что онъ не смѣлъ согласиться преслѣдовать Ольдекопа, какъ мошенника, изъ уваженія къ его званію, опасаясь заплатить за безчестье; но что онъ проситъ хотя оградить его отъ подобныхъ покушеній на свою собственность. Для Пушкина это былъ насущный вопросъ, такъ какъ кромѣ литературныхъ трудовъ у него не было другихъ источниковъ существованія. Бенкендорфъ слишкомъ неловко взялъ на себя не-

справедливую защиту своего подчиненнаго. Онъ отвѣчалъ, что перепечатаніе послѣдовало съ дозволенія цензуры, которая имѣетъ на то свои правила, и что даже тамъ, гдѣ находятся положительные законы на счетъ перепечатанія книгъ, не возбраняется издавать переводы вмѣстѣ съ подлинниками. На это Пушкинъ писалъ: „сіе относится только къ сочиненіямъ древнихъ или умершихъ писателей, иначе невозможно будетъ оградить литературную собственность отъ покушенія хищника". Поэтъ просилъ составить постоянныя правила для обезпеченія литературной собственности. Но Бенкендорфъ почелъ за лучшее не отвѣчать на эту просьбу. Таково было положеніе Пушкина, освобожденнаго отъ опалы и доведеннаго почти до полнаго безправія. Онъ даже не посмѣлъ безъ позволенія переѣхать въ Петербургъ изъ Москвы, гдѣ проживалъ первые мѣсяцы по освобожденіи. На его просьбу отъ 24 апрѣля 1827 года ему отвѣчали не безъ колкости: „Его величество не сомнѣвается въ томъ, что данное русскимъ дворяниномъ государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будетъ въ полномъ смыслѣ сдержано".

Что же оставалось дѣлать поэту, явившемуся съ величавымъ образомъ пророка, готоваго служить человѣчеству? Какое поприще, какую дѣятельность онъ могъ найти себѣ въ этой казенной атмосферѣ, подъ гнетомъ царедворческаго прилежнаго служенія и усердія? Конечно, только этотъ образъ и могъ удержать его на той нравственной

высотѣ, гдѣ легче переживаютъ личныя оскорбленія, въ виду сознаннаго высокаго призванія пророка. Онъ понялъ, какая рѣчь должна выходить изъ устъ пророка тамъ, гдѣ оказалось столько падшихъ и пострадавшихъ. Его фантазія создаетъ идеалъ царя, связавъ его съ тѣмъ образомъ, который былъ знакомъ каждому русскому человѣку, знакомъ потому, что съ нимъ связывалось представленіе народнаго просвѣщенія, неутомимаго труда на общую пользу, строгой справедливости, безкорыстнаго служенія государству и, наконецъ, царской милости. Этотъ образъ фантазія поэта не сочинила, а только воскресила или вызвала изъ прошедшаго, пережитаго русскимъ народомъ, образъ, принадлежащій русской исторіи, образъ народный, который можно поставить въ подражаніе царю, какъ высокій идеалъ. И перо поэта написало:

Въ надеждѣ славы и добра
Гляжу впередъ я безъ боязни:
Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни;
Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но нравы укротилъ наукой... и проч.

И послѣдній стихъ, выразившій желаніе поэта, чтобы новый царь былъ „памятью какъ онъ незлобивъ“, выражаетъ въ то же время и самую симпатичную черту царственнаго идеала. Это былъ и призывъ „милости къ падшимъ“, тотъ подвигъ, на который впослѣдствіи нашъ поэтъ указалъ, какъ на свое право жить долго въ памяти потом-

ства. Скоро поэтъ достойнымъ образомъ отвѣтилъ тѣмъ мелкимъ умамъ, которые не хотѣли понять его высокихъ стремленій и думали нравственно уронить его, обозвавъ царскимъ льстецомъ:

Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю;
Я смѣло чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю...

И тутъ же онъ отличаетъ себя отъ тѣхъ льстецовъ-царедворцевъ, которые уже выказали свои качества въ своихъ сношеніяхъ съ поэтомъ:

Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ:
Онъ горе на царя накличетъ,
Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничитъ.
Онъ скажетъ: презирай народъ,
Гнети природы голосъ нѣжный!
Онъ скажетъ: просвѣщенья плодъ —
Страстей и воли духъ мятежный!

И затѣмъ печальная картина видѣлась пророку:

Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ
Одни приближены къ престолу,
А небомъ избранный пѣвецъ
Молчитъ, потупя очи долу.

Это стихотвореніе въ высшей цензурѣ не было разрѣшено къ печати; но оно было прочитано тѣми, кого касалось. Пришло ли имъ на мысль, что ихъ запрещеніе не помѣшаетъ поэтическому правдивому слову перейти въ потомство, которое съумѣетъ объяснить, кѣмъ и чѣмъ оно вызвано?

Къ этому же времени относится и стихотво-

реніе Пушкина „Ангелъ“, которое имѣетъ связь съ прежнимъ его стихотвореніемъ „Демонъ“. Здѣсь „духъ отрицанья и сомнѣнья“ уже уступаетъ мѣсто тому высокому идеалу жизни, передъ которымъ смягчаются даже демоническія силы:

Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья
На духа чистаго взиралъ,
И жаръ невольный умиленья
Впервые смутно познавалъ.
Прости, онъ рекъ, тебя я видѣлъ,
И ты не даромъ мнѣ сіялъ,
Не все я въ мірѣ ненавидѣлъ
Не все я въ мірѣ презиралъ.

Прошла пора юношескаго скептицизма для нашего поэта. Наставала пора мужества и нравственной крѣпости, а съ тѣмъ вмѣстѣ и просвѣтленнаго взгляда какъ на идеальную, такъ и на дѣйствительную жизнь. Строже сталъ относиться поэтъ къ самому себѣ и ко всему прошлому. Но не могли этого замѣтить тѣ, кто выставлялъ жизни на видъ свои полицейскіе идеалы.

Въ обществѣ, гдѣ пришлось вращаться Пушкину, уже не оказалось того круга, съ которымъ прежде онъ былъ единомысленъ, который ободрялъ его въ извѣстномъ направленіи, возбуждая въ немъ „недоступныя мечты“, который превозносилъ каждый его стихъ. Большинство изъ него было разсѣяно, все остальное замерло; замерли и тѣ силы, представителемъ которыхъ еще недавно считалъ себя нашъ поэтъ. Въ Москвѣ онъ сблизился съ небольшимъ кругомъ молодыхъ ученыхъ, съ Пого-

динымъ, Шевыревымъ, которые задумывали изданіе новаго журнала „Московскій Вѣстникъ“ съ дѣльной критикой, въ противодѣйствіе петербургскимъ журналамъ Булгарина и Греча, которые считались продажными и нечестными. Хотя и много надеждъ было у нихъ на будущее, но въ то же время робко и запуганно смотрѣли они кругомъ [1]). Пушкинъ обѣщалъ имъ свое ревностное участіе въ журналѣ; но жизнь въ тѣсномъ кружкѣ не могла удовлетворить его, а внѣ этого кружка господствовали и геройствовали Фамусовы, Скалозубы и вся компанія Грибоѣдовской комедіи, которая уже начинала распространяться въ рукописяхъ по русской землѣ. Въ Петербургѣ Пушкинъ нашелъ нѣкоторыхъ изъ своихъ старыхъ друзей: Жуковскаго, князя Вяземскаго, Дельвига, Баратынскаго, Плетнева, но общество представилось ему чинною и вмѣстѣ чиновною толпою, съ которою у него не нашлось почти ничего общаго. Высшій или аристократическій кругъ, къ которому Пушкинъ принадлежалъ по своимъ родственнымъ связямъ, отличался невниманіемъ и холодностью ко всему русскому. „Политика и литература для нихъ не существуютъ, писалъ Пушкинъ, остроуміе давно въ опалѣ, какъ признакъ легкомыслія; о чемъ же станутъ они говорить? О самихъ себѣ? Нѣтъ, для этого

[1]) Погодинъ въ своихъ воспоминаніяхъ, говоря о московскихъ литературныхъ вечерахъ конца 1826 и начала слѣдующаго года, на которыхъ присутствовалъ и Пушкинъ, прибавляетъ: «Горько мнѣ сознаться, что я пропустилъ нѣсколько изъ этихъ драгоцѣнныхъ вечеровъ, страха ради іудейска».

они слишкомъ хорошо воспитаны. Остается имъ разговоръ какой-то домашній, мелочной, понятный только для немногихъ, для избранныхъ. И человѣкъ, не принадлежащій къ этому малому кругу, принятъ какъ чужой, не только иностранецъ, но и свой. Между тѣмъ всѣ чувствуютъ необходимость разговора общаго, но гдѣ его взять? И кто захочетъ выступить первый на сцену?“ Понятно, что общаго разговора и быть не могло, когда были подавлены всѣ общіе или общественные интересы жизни. Не могло такое общество привлекать къ себѣ поэта и наполнять его душу. Не много нужно было ему времени, чтобъ приглядѣться къ этой мертвящей средѣ и почувствовать къ ней отвращеніе. Вскорѣ послѣ своего переселенія въ Петербургъ онъ уже писалъ къ Осиповой: „Пошлость и глупость (l'insipidité et la stupidité) нашихъ обѣихъ столицъ одна и та же, хотя и въ различномъ родѣ... Это житье довольно пошло, и я горю желаніемъ измѣнить его тѣмъ или другимъ образомъ... Шумъ и суета Петербурга сдѣлались мнѣ совершенно чужды, я съ трудомъ ихъ переношу. Я предпочитаю вашъ прекрасный садъ и красивый берегъ Сороти (въ Тригорскомъ). Вы видите, что у меня вкусъ еще поэтическій, несмотря на скверную прозу моего настоящаго существованія“. Впечатлѣніе отъ этой жизни съ глубокой грустью высказалось и въ VIII главѣ Онѣгина, строфы которой поэтъ набрасывалъ въ это время:

Несносно видѣть предъ собою
Однихъ обѣдовъ длинный рядъ,

Смотрѣть на жизнь какъ на обрядъ
И вслѣдъ за чинною толпою
Идти, не раздѣляя съ ней
Ни общихъ мнѣній, ни страстей.

Отсюда должно быть понятно, почему Пушкинъ не любилъ слыть въ такомъ обществѣ поэтомъ или сочинителемъ. Онъ зналъ, какъ мало способно оно понимать истинную поэзію и какъ склонно унижать поэта разными оскорбительными шутками и глупыми выходками. Онъ зналъ преданія о нашихъ старыхъ писателяхъ, которые должны были играть незавидную роль въ обществѣ вельможъ, считавшихъ себя образованными. Онъ дорожилъ тѣмъ высокимъ образомъ поэта, который развивался въ его фантазіи, и боялся, чтобы въ его лицѣ не былъ оскорбленъ этотъ образъ какимъ-нибудь нахаломъ. Онъ не любилъ повѣрять свои творческія думы даже близкимъ пріятелямъ; тѣмъ болѣе несносны были ему любопытные вопросы постороннихъ людей, сопровождаемые разными улыбками, не написалъ ли онъ чего-нибудь новенькаго. „Публика, говорилъ Пушкинъ, смотритъ на поэта, какъ на свою собственность, считаетъ себя въ правѣ требовать отъ него отчета въ малѣйшемъ шагѣ; по ея мнѣнію, онъ рожденъ для ея пользы и удовольствія и дышетъ для того только, чтобы подбирать риѳмы“.

Такой взглядъ уже профанировалъ поэта въ глазахъ Пушкина, который не находилъ себѣ въ этомъ обществѣ даже настоящей оцѣнки ни нравственной, ни эстетической. Онъ не могъ не почув-

ствовать себя одинокимъ въ этой толпѣ людей, а между тѣмъ его натура требовала широкой общественной жизни; общество же могло представить ему только пустую свѣтскую жизнь съ ея мелкими, низменными идеалами. Что же удивительнаго, если въ такой средѣ, по страстной, впечатлительной натурѣ артиста, ему приходилось иногда отдаваться увлеченіямъ болѣе всякаго другого? И вотъ въ этомъ же обществѣ начинается злорадство; пошлые люди довольны, что могутъ указать пальцемъ на его увлеченія, поставить себя судьею его жизни, сложить нѣсколько фразъ не въ его пользу.

> И сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ
> Неотразимыя обиды.

Этотъ судъ доходитъ до слуха поэта, и онъ отвѣчаетъ своимъ судьямъ стихотвореніемъ „Поэтъ“: попавъ въ толпу между ничтожными людьми, поэтъ можетъ показаться ничтожнѣе всѣхъ—такова его увлекающаяся натура; но онъ отличается отъ всѣхъ тѣмъ, что можетъ подниматься до такой высоты, на которой у него нѣтъ уже ничего общаго съ ихъ кумирами: тогда онъ бѣжитъ отъ ихъ сообщничества и въ уединеніи предается творчеству.

Все это объясняетъ намъ, почему Пушкинъ нѣсколько лѣтъ велъ скитальческую жизнь. Ему было душно среди этого пышнаго города, гдѣ „духъ неволи, скука, холодъ и гранитъ“; его артистическая потребность была оживлять себя другими, новыми впечатлѣніями, и вотъ онъ скитается по Россіи изъ мѣста въ мѣсто, и чѣмъ далѣе онъ отъ мерт-

вящихъ столичныхъ впечатлѣній жизни, тѣмъ бодрѣе дѣлается духъ его, тѣмъ веселѣе работаетъ его фантазія. Но преобладающимъ чувствомъ его было томительное, тоскливое состояніе, которое онъ называлъ скукою. Это не та обыкновенная скука празднаго человѣка, не знающаго куда дѣвать свое время. Это совсѣмъ особенное чувство, являющееся отъ неудовлетворенныхъ требованій духовной жизни, не оставляющее человѣка и во время труда, и въ минуты пріятныхъ впечатлѣній. Еще изъ Михайловскаго Пушкинъ писалъ къ Рылѣеву: „тебѣ скучно въ Петербургѣ, а мнѣ скучно въ деревнѣ. Скука есть одна изъ принадлежностей мыслящаго существа. Какъ быть?“ Слѣдовательно, по его взгляду такое направленіе духа составляло какъ бы типическую черту современнаго образованнаго человѣка. Съ этимъ взглядомъ находится въ тѣсной связи небольшая сцена „Фаустъ и Мефистофель“, которая создалась у Пушкина вскорѣ послѣ того, какъ онъ снова вступилъ въ кругъ столичной жизни и, отдаваясь ея удовольствіямъ, быстро дошелъ до мысли объ ея пошлости. Скука его лишь усилилась и подъ ея впечатлѣніемъ создался у него образъ Фауста съ неизбѣжнымъ его спутникомъ Мефистофелемъ. Критики справедливо не нашли ничего общаго между этимъ Фаустомъ и Фаустомъ Гете; но они не указали, что̀ могло вызвать эту сцену и какая ея связь съ творческой мыслью поэта. Г. Анненковъ видитъ въ ней какъ бы отзывъ Пушкина на „Посланіе“ къ нему Веневитинова, который при-

зывалъ пѣвца Байрона и Шенье воспѣть великаго германскаго старца Гете; Пушкинъ, прибавляетъ г. Анненковъ, измѣнилъ отчасти образы германскаго поэта. Бѣлинскій находилъ, что Пушкинскій Мефистофель все тотъ же мелкій чертенокъ, котораго воспѣлъ поэтъ въ молодости подъ громкимъ именемъ „Демонъ“; это просто-на-просто острякъ прошлаго столѣтія, котораго скептицизмъ наводитъ теперь не разочарованіе, а зѣвоту и хорошій сонъ. Самъ же Фаустъ, по взгляду Бѣлинскаго, не измученный неудовлетворенною жаждою знанія человѣкъ, а какой-то пресытившійся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдетъ. Но эти Пушкинскіе образы представятся намъ совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ, если мы приведемъ ихъ въ связь съ тѣми образами, которые вынашивались поэтомъ въ эти годы, и съ тѣми впечатлѣніями, которыя довели его до мысли, что скука есть одна изъ принадлежностей мыслящаго существа. Пушкинскій Фаустъ сродни Евгенію Онѣгину, который въ свою очередь сродни самому Пушкину. Это русскій Фаустъ, т.-е. современный Пушкину русскій образованный человѣкъ, развитый чтеніемъ и не нашедшій себѣ въ общественной жизни дѣятельности по душѣ; какъ существо мыслящее, онъ осудилъ всѣ свои прежнія сердечныя увлеченія, свою пустую свѣтскую жизнь, для которой и былъ воспитанъ. Но напрасно онъ искалъ себѣ дѣятельности внѣ канцелярскаго міра, внѣ полкового ученія и парадовъ, внѣ той механической службы, которую предлагала жизнь; онъ оставался только при

напряженномъ состояніи ума размышляющаго, анализирующаго, резонерствующаго; но эти безцѣльныя упражненія ума не могли удовлетворять природной потребности человѣческаго духа — жить всѣми силами; а тутъ оказывалось силъ много, примѣнять же ихъ было не къ чему, и чѣмъ больше пріобрѣталось познаній, тѣмъ больше являлось пищи для размышленій и тѣмъ яснѣе видѣлись жизненныя противорѣчія, при которыхъ невозможно было ихъ примѣненіе. При такихъ условіяхъ могла быть только одна дѣятельность— борьба; но для этого нужно было, во-первыхъ, проникнуться какимъ-либо высокимъ идеаломъ, во имя котораго начать борьбу, и, во-вторыхъ, сознать въ самомъ себѣ силы или характеръ, котораго не могло развить и образовать свѣтское воспитаніе. Оставалось только размышлять и скучать въ бездѣятельности, потому что въ безцѣльномъ размышленіи нѣтъ дѣятельности. Вотъ какого рода скука была знакома многимъ русскимъ людямъ изъ свѣтскаго общества, у которыхъ умъ былъ возбужденъ односторонне и которые рано извѣдали жизнь въ разныхъ юношескихъ увлеченіяхъ, ослабивъ ими энергію своей души. Это были люди раздвоенные: у нихъ не было дѣятельности, которая занимала бы одинаково ихъ умъ и сердце; оно было пусто и искало себѣ жизни; а между тѣмъ размышляющій умъ анализировалъ всякое чувство и увлеченіе, находилъ его пошлымъ, осуждалъ и подавлялъ въ самомъ началѣ, не давъ развиться тому наслажденію, которое отъ него ожидалось. Люди безъ идеаловъ

и съ идеалами, но непримѣнимыми къ жизни, одинаково скучали и постоянно думали о томъ, чѣмъ бы подавить свою скуку. Если ихъ можно сблизить съ настоящимъ Фаустомъ, то развѣ противоположностями. Тотъ искалъ познаній, чтобы удовлетворить жаждѣ своего ума; эти, утомляясь одними размышленіями ума, искали жизни для сердца, которое не удовлетворялось тѣмъ, что̀ давала жизнь. Пушкинскій Фаустъ нашелъ, что „въ глубокомъ знаньи жизни нѣтъ“ и „проклялъ знаній ложный свѣтъ“.

Отсюда ясно, что роль Мефистофеля при этомъ Фаустѣ должна быть иная. Онъ вызванъ развлекать и увеселять резонирующаго и скучающаго человѣка послѣ того, какъ тотъ извлекъ изъ „темной пучины науки“ однѣ великодушныя мечты, непримѣнимыя къ дѣйствительной жизни. Послѣ многихъ неудачныхъ опытовъ Мефистофель сознаетъ свое безсиліе сражаться съ человѣческой скукой и какъ бы идти противъ человѣческой природы:

Таковъ вамъ положенъ предѣлъ,
Его-жъ никто не преступаетъ;
Вся тварь разумная скучаетъ.

Здѣсь подъ словами разумная тварь должно разумѣть не человѣка вообще, а, согласно съ мыслью Пушкина, мыслящее существо. Мефистофель глумится надъ этимъ разладомъ между умомъ и сердцемъ, надъ идеальными стремленіями и ихъ отрицаніемъ. Но въ сущности бѣсовскаго въ немъ нѣтъ ничего, кромѣ развѣ способности исполнять

всѣ прихоти и безцѣльныя задачи, которыя придумываетъ Фаустъ, чтобы на минуту развлечь себя. Какъ назвать этого бѣса, мы не знаемъ, но онъ не духъ отрицанья и сомнѣнья. Въ немъ отразилось само свѣтское общество, которое способно было глумиться надъ всѣмъ, не въ явѣ, такъ въ тайнѣ, и, за неимѣніемъ дѣятельности, которая бы заняла силы человѣка и удовлетворила бы его, брало на себя доставлять развлеченія, какія взбредутъ на умъ. Если Фаустъ называетъ его адскимъ твореніемъ, то по тому растлѣвающему дѣйствію, которому подвергался слабый человѣкъ.

Та же самая скука преслѣдуетъ и Евгенія Онѣгина, скитающагося по Россіи и напрасно ищущаго развлеченія. Смѣняющіяся впечатлѣнія наводятъ на разныя думы, въ которыхъ видится мыслящее существо, но онѣ не наполняютъ его души, не занимаютъ всѣхъ его силъ. Отсюда у него являются желанія, самыя невозможныя для человѣка съ здоровою душою:

И мыслитъ, грустью отуманенъ:
Зачѣмъ я пулей въ грудь не раненъ?
Зачѣмъ не хилый я старикъ,
Какъ этотъ бѣдный откупщикъ?
Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка;
Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска!

Конечно, подъ этотъ типъ мы не можемъ вполнѣ подвести нашего поэта, который находилъ себѣ

исходъ въ своемъ творчествѣ и ясно сознавалъ задачу своей жизни; но тѣмъ не менѣе онъ переживалъ такое чувство въ виду тѣхъ противодѣйствій жизни, которыя мѣшали исполнять ему эту задачу. Что̀, какъ не исканіе новыхъ впечатлѣній и развлеченія отъ тоски, заставило его въ апрѣлѣ 1828 года просить черезъ Бенкендорфа государя дозволить ему вступить въ армію, направленную на Дунай противъ турокъ? Война, какъ мы видѣли, и прежде манила Пушкина своими особенными впечатлѣніями. Въ виду того, что еще недавно его приглашали воспѣвать отечественную славу, онъ могъ надѣяться, что просьба его будетъ уважена. Но вышло наоборотъ—Пушкину было отказано. Это довело его до болѣзненности: въ немъ сильно разлилась желчь. Въ такомъ состояніи духа онъ останавливается на другой мысли—проситься въ Парижъ. Можетъ быть, съ досады онъ думалъ совсѣмъ остаться тамъ, чтобы имѣть волю свободно распоряжаться своей личностью: чувство опеки всегда гнетущимъ образомъ дѣйствуетъ на нравственно-развитого совершеннолѣтняго человѣка. Но Пушкина напугали дурными послѣдствіями отъ его прошенія и уговорили взять его назадъ. Въ утѣшеніе представляли ему, что отказъ императора принять его въ армію показываетъ только, что онъ расположенъ къ поэту и бережетъ его.

Вслѣдъ за этимъ новый случай еще болѣе подбавилъ горечи въ сердце поэта и усилилъ непріятность зависимаго его положенія. Тотъ же самый

генералъ Скобелевъ, который уже разъ сдѣлалъ доносъ на Пушкина, получившій теперь особенное значеніе своимъ доказаннымъ усердіемъ къ службѣ и употреблявшійся по секретнымъ дѣламъ, представилъ отрывокъ изъ извѣстнаго стихотворенія „Андрей Шенье“, ходившій въ рукописи, съ объясненіемъ, будто онъ написанъ по поводу 14 декабря. Лица, у которыхъ были найдены эти стихи, были отданы подъ судъ. На допросъ призывали и Пушкина. Его положеніе казалось ему опаснымъ; онъ ожидалъ очень дурныхъ послѣдствій, что̀ и выразилось въ его стихотвореніи „Предчувствіе“:

Снова тучи надо мною
Собрался въ тишинѣ;
Рокъ завистливый бѣдою
Угрожаетъ снова мнѣ,

гдѣ вмѣстѣ съ опасеніемъ слышится и бодрость духа, которая всегда являлась у Пушкина лицомъ къ лицу съ бѣдою:

Сохраню-ль къ судьбѣ презрѣнье?
Понесу-ль на встрѣчу ей
Непреклонность и терпѣнье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду;
Можетъ быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...

Но поэтъ не совсѣмъ былъ спасенъ. Сенатъ, производившій судъ, призналъ стихотвореніе „соблазнительнымъ и служившимъ къ распростране-

нію въ неблагонамѣренныхъ людяхъ того пагубнаго духа, который правительство обнаружило во всемъ его пространствѣ". Пушкинъ былъ избавленъ отъ слѣдствія и суда только потому, что преступленіе совершено имъ до манифеста 22-го августа 1826 г., которымъ объявлялось прощеніе разнымъ преступникамъ. Но въ то же время сенатъ рѣшилъ „обязать Пушкина подпискою, чтобы впредь никакихъ своихъ твореній безъ разсмотрѣнія цензуры не осмѣливался выпускать въ свѣтъ, подъ опасеніемъ строгаго по законамъ взысканія". А государственный совѣтъ, до котораго доходило дѣло о молодыхъ людяхъ по доносу Скобелева, прибавилъ, чтобы „за Пушкинымъ по неприличному выраженію его въ отвѣтахъ на счетъ происшествія 14 декабря и по духу самаго сочиненія его имѣлся секретный надзоръ" [1]). Конечно, это послѣднее рѣшеніе не было сообщено Пушкину, но онъ имѣлъ основаніе считать свое прошедшее какимъ-то рокомъ, который неустанно тяготѣлъ надъ его дальнѣйшею жизнью. Съ этихъ же поръ Бенкендорфъ и помощникъ его фонъ-Фоксъ стали смотрѣть на Пушкина окончательно, какъ на опаснаго вольнодумца, и усилили свой надзоръ надъ нимъ.

Въ какомъ состояніи духа былъ въ это время Пушкинъ, говоритъ намъ его стихотвореніе „Воспоминаніе", гдѣ поэтъ съ горечью осуждаетъ свое прошедшее, котораго не хотѣли простить ему ограниченные люди.

---

[1]) «Русск. Старина» 1874 г. Августъ.

Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ
Змѣи сердечной угрызенья;
Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской,
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

А въ день своего рожденія, 26 мая, когда ему наступилъ тридцатый годъ, онъ отозвался на всѣ горечи жизни извѣстнымъ стихотвореніемъ, полнымъ отчаянія „Даръ напрасный, даръ случайный".

Цѣли нѣтъ передо мною:
Сердце пусто, празденъ умъ
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.

Еще ни одно стихотвореніе Пушкина не оканчивалось такимъ безнадежнымъ взглядомъ на жизнь. Много нужно было перечувствовать и перестрадать поэту, чтобы наконецъ отвѣтить отрицательно на вопросъ о цѣли жизни. Но кто могъ понять это душевное его томленіе? За отчаяніе его же винили въ недостаткѣ религіи; даже московскій митрополитъ Филаретъ низошелъ къ нему съ обличительно-увѣщательнымъ стихотвореніемъ:

Самъ я своенравной властью
Зло изъ тайныхъ безднъ воззвалъ,
Душу самъ наполнилъ страстью
Умъ сомнѣньемъ взволновалъ.

Но поэтъ вдохновенной рѣчью отвѣчалъ на обвиненіе и показалъ, до какой высоты онъ можетъ возвышаться и какъ христіанскій поэтъ:

Твоимъ огнемъ душа палима
Отвергла мракъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ трепетѣ поэтъ [1]).

Отчаяніе Пушкина было только минутное. Цѣль жизни на самомъ дѣлѣ не была потеряна. Она выяснилась въ его творческихъ произведеніяхъ, которыя должны были дѣйствовать на нравственный подъемъ и эстетическое развитіе новаго поколѣнія. Большинство стараго относилось къ нему подозрительно и враждебно. Почти никто не понималъ, что онъ быстро идетъ впередъ, что нравственный его идеалъ очищается и совершенствуется, что онъ уже пережилъ кипучій юношескій возрастъ и относится къ жизни, какъ зрѣлый мужъ. Личное нравственное совершенствованіе входило въ задачу жизни Пушкина, и уже однимъ этимъ онъ становился много выше той свѣтской толпы, которая съ сомнѣніемъ продолжала смотрѣть на нравственность поэта. Жизнь каждой личности находится въ тѣсной связи съ жизнью общественной и національной, и потому нравственное ея совершенствованіе возможно только при ясномъ сознаніи этой связи. Но его-то и недоставало въ тогдашней русской жизни, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ оно было развито очень слабо; отсюда и нравственный

[1]) Стихотвореніе: «Въ часы забавъ и праздной скуки».

уровень его былъ очень низокъ; эгоистическимъ и корыстнымъ стремленіямъ каждаго былъ широкій просторъ. Пушкинъ хорошо понималъ это и видѣлъ, какъ необходимо пробудить въ обществѣ стремленіе узнать свое историческое значеніе, а съ этимъ вмѣстѣ и свою связь съ прежними поколѣніями. Только черезъ это стремленіе можно было дойти до мысли о національности и до пониманія ея интересовъ. Вотъ почему онъ такъ высоко сталъ цѣнить „Исторію“ Карамзина, называя ее „не только созданіемъ великаго писателя, но и подвигомъ честнаго человѣка“. Отсюда являются желчные его нападки на тѣхъ русскихъ людей, которые забыли о своей связи съ предками, въ свое время даже знаменитыми. „Прошедшее для насъ не существуетъ, писалъ онъ, жалкій народъ!.. Калмыки не имѣютъ ни дворянства, ни исторіи; дикость и невѣжество не уважаютъ прошедшаго, пресмыкаясь предъ однимъ настоящимъ. И у насъ иной потомокъ Рюрика болѣе дорожитъ звѣздою двоюроднаго дядюшки, чѣмъ исторіею своего дома, т.-е. исторіей отечества. И это вы ставите ему въ достоинство“... „Мы такъ положительны, что прошедшее для насъ не существуетъ, насмѣшливо замѣчаетъ Пушкинъ въ другомъ мѣстѣ: Карамзинъ недавно разсказалъ намъ нашу исторію, но едва ли мы выслушали ее. Мы гордимся не славою предковъ, но чиномъ какого-нибудь дяди дурака или баломъ двоюродной сестры. Мы на колѣнахъ предъ настоящимъ случаемъ, успѣхомъ, но очарованіе древности, благодарность къ про-

шедшему и уваженіе къ нравственнымъ качествамъ у насъ... Замѣтьте, что неуваженіе къ предкамъ есть первый признакъ безнравственности".

Изъ всѣхъ отрывочныхъ замѣтокъ, оставшихся въ бумагахъ Пушкина, г. Анненковъ выводитъ, что „уваженіе къ предкамъ Пушкинъ считаетъ нравственной силой, укрѣпляющей волю, создающей характеры, ставящей высокія жизненныя цѣли, и что онъ возвышается до степени ядовитаго сатирика и негодующаго патріота, когда принимается обличать слѣпоту и пустоту русскаго образованнаго общества, совершенно позабывшаго все свое прошлое для того, чтобы помнить только мелкіе и пошлые интересы дневного существованія, заниматься и питаться вопросами самаго низменнаго свойства, и притомъ въ такихъ размѣрахъ, къ какимъ способны бываютъ единственно люди, живущіе безъ идеаловъ" [1]).

Поставивъ уваженіе предковъ въ тѣсную связь съ вопросомъ о нравственности, Пушкинъ связываетъ съ нимъ и вопросъ о личныхъ достоинствахъ. „Есть достоинства выше знатности, говоритъ онъ, достоинства личныя. Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ всѣ наши старинныя родословныя; но неужто потомству ихъ смѣшно было бы гордиться сими именами?".. „Безкорыстная мысль, пишетъ онъ въ другой замѣткѣ, что внуки будутъ уважены за имя, нами имъ передан-

[1]) См. въ «Вѣстн. Европы» 1880 г. Іюнь: «Общественные идеалы Пушкина».

ное, не есть ли благороднѣйшая надежда человѣческаго сердца?"

Таковы были убѣжденія Пушкина, изъ которыхъ вытекало его собственное нравственное развитіе. Его даже укоряли, что онъ придаетъ особенное значеніе знатности рода, осмѣянной въ баснѣ Крылова „Гуси". Упреки въ самомъ дѣлѣ имѣли бы основаніе, еслибы онъ соединялъ съ знатностью какіе-либо эгоистическіе разсчеты и на ней бы только и основывалъ права на личный почетъ; но, поставивъ выше знатности личныя заслуги, онъ тѣмъ самымъ ограждаетъ себя отъ упрековъ, приписывая ей только нравственную силу поддерживать человѣка на высотѣ общественнаго служенія. Уважать предковъ — достоинство; кичиться предками—смѣшной недостатокъ.

Такое отношеніе Пушкина къ историческому прошлому и къ современному ему русскому обществу, которое не интересовалось своимъ прошлымъ въ ущербъ своего нравственнаго развитія, объясняетъ намъ, почему наиболѣе капитальные труды поэтической фантазіи Пушкина связываются съ русской исторіей. Занимаясь ею съ цѣлями не столько учеными, сколько съ нравственными и гражданскими, онъ тѣмъ самымъ уже давалъ матеріалы для работы своей фантазіи, которая, какъ мы знаемъ, быстро переработывала все, чѣмъ была занята мысль поэта. Съ другой стороны, приписывая историческимъ знаніямъ нравственное значеніе, Пушкинъ понималъ, что въ обществѣ, мало развитомъ нравственно, поэтъ своими художествен-

ными образами изъ исторической сферы можетъ сдѣлать болѣе историка: исторія народа принадлежитъ поэту, говорилъ онъ. Примѣромъ служилъ Карамзинъ, котораго мало читали въ этомъ обществѣ, потому что чтеніе его исторіи составляло тамъ непривычный умственный трудъ—страхъ большинства. Поэта же прочитаетъ каждый, даже не умѣющій цѣнить поэзіи. Здѣсь мы видимъ, что Пушкинъ, отказываясь отъ темъ, какія предлагало ему само общество для своего исправленія [1]), въ то же время не отказывался соединить свою поэзію съ потребностями того общества. Онъ только сознавалъ лучше его тѣ высшія потребности, безъ которыхъ оно коченѣло въ нравственномъ и умственномъ застоѣ.

Особенно много работала фантазія Пушкина надъ образомъ Петра Великаго, который положилъ начало новой русской жизни, въ связи съ европейскимъ просвѣщеніемъ, и о которомъ въ самомъ народѣ сохранилось много преданій. Мы уже видѣли, какъ онъ воспользовался этимъ образомъ, чтобы представить идеалъ царя и черезъ него вызвать „милость къ падшимъ“.

Но и раньше того съ этимъ величественнымъ образомъ поэтическая его фантазія соединяла образъ своего прадѣда арапа Ибрагима. Такъ, въ 1825 году онъ писалъ къ своему брату изъ Михайловскаго: „Присовѣтуй Рылѣеву въ новой его поэмѣ (Войнаровскій) помѣстить въ свитѣ Петра I

[1]) См. стих. «Поэтъ и чернь».

нашего дѣдушку. Его арабская рожа произведетъ странное дѣйствіе на всю картину Полтавской битвы". Въ Михайловскомъ же онъ собиралъ матеріалы, изъ которыхъ въ 1827 г. у него выработался разсказъ „Арапъ Петра Великаго", гдѣ образъ Петра является такимъ привлекательнымъ и въ простотѣ обыденной домашней жизни. А въ слѣдующемъ году въ поэмѣ „Полтава" представлена другая сторона жизни Петра, въ которой соединены всѣ героическія черты его характера, какъ царя-основателя новой могущественной европейской державы. Здѣсь поэтъ идеализировалъ образъ Петра только на основаніи историческихъ данныхъ и онъ вышелъ у него образомъ народнымъ, т.-е. согласнымъ съ преданіемъ, сохраненнымъ въ народной памяти. Съ нимъ Пушкинъ соединилъ другую сильную историческую личность, Мазепу, образъ котораго также задолго до этого возникалъ въ его фантазіи. Мы уже видѣли, какъ онъ интересовался имъ, живя въ Бессарабіи и напрасно отыскивая въ Бендерахъ его могилу, выпытывая въ то же время у стариковъ, не сохранилось ли какихъ преданій о немъ и о товарищѣ его бѣгства съ Полтавскаго поля, Карлѣ XII. Первую мысль о поэмѣ далъ Пушкину разсказъ Рылѣева „Войнаровскій", сколько можно догадаться по слѣдующей его замѣткѣ: „Прочитавъ въ первый разъ стихи:

Жену страдальца Кочубея
И обольщенную имъ дочь [1]),

[1]) Рѣчь идетъ о Мазепѣ:
То трепеща и цѣпенѣя,

я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страннаго обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами историческіе характеры и не мудрено, и не великодушно. Клевета и въ поэмахъ всегда казалась мнѣ непохвальною. Но въ описаніи Мазепы пропустить столь разительную черту было непростительно". Этимъ описаніемъ и увлеклась фантазія поэта, создавъ нѣсколько живыхъ и драматическихъ сценъ, представляющихъ исключительныя отношенія между старикомъ Мазепою, Маріею, ея отцомъ и матерью. Но творческая его фантазія создала при этомъ такой образъ Мазепы, который уже не могъ вполнѣ выразиться въ этихъ сценахъ: онъ, какъ образъ историческій, потребовалъ уже широкаго изображенія своего характера, согласно съ исторіей. „Мазепа дѣйствуетъ въ моей поэмѣ точь въ точь, какъ и въ исторіи, замѣчаетъ Пушкинъ: рѣчи объясняютъ его историческій характеръ". Такимъ образомъ Пушкинъ долженъ былъ выйти изъ тѣсныхъ рамокъ эпизода, взятаго изъ жизни исторической личности, и ввести ее въ ту широкую историческую сферу, которая и даетъ ей все значеніе. Эта же сфера должна

Онъ часто зрѣлъ въ глухую ночь
Жену страдальца Кочубея
И обольщенную имъ дочь,
Въ страданьяхъ ихъ изнемогая,
Молитву громко онъ читалъ,
То громко плакалъ и рыдалъ,
То дикій взглядъ на всѣхъ бросая,
Онъ, какъ безумный, хохоталъ.

была выставить на сцену и самыхъ главныхъ историческихъ дѣятелей того времени, Петра и военнаго его противника, Карла XII. Они также идеализировались въ фантазіи поэта на основаніи историческихъ данныхъ, но естественно связать ихъ съ тѣмъ же самымъ эпизодомъ было уже невозможно. Отсюда и является кажущаяся двойственность плана всей поэмы, въ чемъ критики упрекали Пушкина. И дѣйствительно, безъ эпилога поэмы трудно было бы видѣть одну общую ея идею. А въ немъ-то и выражается взглядъ Пушкина на давно отжившія лица. Онъ хочетъ связать свое время съ прошедшимъ нравственною связью, спрашивая: что же черезъ сто лѣтъ осталось

Отъ сильныхъ гордыхъ сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?

И оказывается, что завидные слѣды оставляютъ тѣ дѣятели, которые умѣли направлять свои страсти къ общему благу; отъ тѣхъ же, которые отдавались только своимъ личнымъ интересамъ, какъ бы ни шумна была ихъ дѣятельность, остаются самые жалкіе слѣды. При такой идеѣ для поэта всѣ выставленныя личности имѣли одинаковое значеніе, и каждою онъ долженъ былъ заняться съ одинакимъ вниманіемъ. Мы указываемъ только идею, которою поэтъ думалъ соединить въ одно лицо и сцены, созданныя его фантазіею, и которая была въ тѣсной связи съ его взглядомъ на историческую жизнь; но не беремся оправдывать этой идеи, какъ идеи творческой въ художественномъ произведеніи.

Прибавимъ ко всему этому замѣтку Пушкина, которая знакомитъ насъ съ характеромъ его творческаго духа. Говоря о Мазепѣ, онъ замѣчаетъ: „Однакоже, какой отвратительный предметъ! Ни одного добраго, благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость!.. Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ эти ужасы — вотъ что̀ увлекло меня. Полтаву написалъ я въ нѣсколько дней [1]), долѣе не могъ бы ею заниматься и бросилъ бы все".

Въ началѣ марта 1829 года Пушкинъ, послѣ двухмѣсячнаго пребыванія въ Петербургѣ, снова почувствовалъ томительное состояніе духа „въ городѣ чопорномъ, уныломъ, гдѣ рѣчи — ледъ, сердца—гранитъ". Неожиданно и не сказавшись никому, онъ уѣхалъ въ свою деревню, оттуда въ Москву и потомъ на Кавказъ. Цѣлью его поѣздки, по собственнымъ его словамъ, были минеральныя воды, гдѣ онъ думалъ лечиться. Но скорѣе всего этимъ онъ только оффиціально прикрывалъ свою поѣздку, которая совпадала съ началомъ военныхъ дѣйствій Паскевича въ Азіатской Турціи. Желаніе сильныхъ впечатлѣній, которыя бы могли подавить тоску его души, давало ему надежду какънибудь пробраться съ русскимъ войскомъ въ мѣста военныхъ дѣйствій, не испрашивая предваритель-

[1]) Она была написана въ Петербургѣ въ октябрѣ 1828 года; первая пѣснь кончена 3 октября, вторая — 9, третья — 16. (См. «Матеріалы», Анненкова).

наго позволенія въ Петербургѣ, гдѣ навѣрно онъ получилъ бы отказъ, а можетъ быть, даже и строгое замѣчаніе. Въ Тифлисѣ же Пушкинъ надѣялся свидѣться съ нѣкоторыми своими пріятелями и съ братомъ, служившимъ тогда въ Нижегородскомъ драгунскомъ полку. Но армія выступила въ походъ до его пріѣзда, и въ Тифлисѣ онъ уже никого не нашелъ. „Желаніе видѣть войну и сторону малоизвѣстную, объясняетъ въ своихъ запискахъ Пушкинъ, побудило меня просить позволенія пріѣхать въ армію“. Но это прошеніе было послано не къ петербургскому опекуну Пушкина, а въ дѣйствующую армію, къ главнокомандующему. Паскевичъ, нисколько не затрудняясь, разрѣшилъ ему прибыть въ свой лагерь. „Такимъ образомъ видѣлъ я блестящую войну, пишетъ Пушкинъ, конченную въ нѣсколько недѣль и увѣнчанную переходомъ черезъ Саганлуэ и взятіемъ Арзрума“. Между тѣмъ Бенкендорфъ, узнавъ, что Пушкинъ явился на Кавказъ безъ его вѣдома, сильно встревожился. Благопріятели успокаивали его, злорадно набрасывая тѣнь на нравственность поэта, ручались, что это путешествіе устроено картежными игроками, у которыхъ онъ въ тискахъ, что они вѣрно обѣщали ему золотыя горы на Кавказѣ, и что потомъ сами обыграютъ его [1]). Но Бенкендорфъ не успокоился,

[1]) Каждый отъѣздъ Пушкина изъ Петербурга возбуждалъ догадки и толки. Такъ, 3 декабря 1828 г. Дельвигъ писалъ ему: Несмотря на мое краснорѣчіе, городъ Петербургъ полагаетъ отсутствіе твое не безцѣльнымъ. Первый голосъ сомнѣвается, точно ли ты безъ нужды уѣхалъ, не проигрышъ ли какой былъ

считая Пушкина способнымъ на всякую агитацію. По его распоряженію учрежденъ былъ особенный надзоръ за нимъ. Но вотъ получается извѣстіе, что онъ уже въ Арзерумѣ. Еще болѣе встревожился подозрительный шефъ жандармовъ съ своими помощниками. Былъ тотчасъ же посланъ запросъ о цѣли его путешествія. Пушкинъ отвѣчалъ, что на Кавказъ онъ попалъ для свиданія съ братомъ, а въ армію съ дозволенія фельдмаршала Паскевича, такъ какъ ему любопытно было взглянуть на театръ войны и на мѣста, которыя могутъ подать ему матеріалъ для сочиненій [1]).

Уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ въ Петербургѣ досказали Пушкину все, чего не дописали въ Грузію.

причиною; второй увѣряетъ, что ты для матеріаловъ 7-й пѣсни Онѣгина отправился; третій утверждаетъ, что ты остепенился и въ Парижѣ думаешь жениться; четвертый догадывается, что ты составляешь авангардъ Олениныхъ, которые собираются въ Москву...

[1]) «Русская Старина» 1874 г. Августъ. Въ іюльской книжкѣ «Русской Старины» 1880 г. разсказывается, что Пушкинъ былъ принятъ очень радушно Паскевичемъ, который приказалъ поставить ему палатку возлѣ своей ставки, но требовалъ, чтобъ онъ всегда находился при немъ, тогда какъ Пушкинъ любилъ рыскать по лагерю, а при всякой перестрѣлкѣ скакать впередъ подъ выстрѣлы. Все это не нравилось Паскевичу, особенно, когда онъ узналъ о частыхъ свиданіяхъ Пушкина съ нѣкоторыми изъ декабристовъ, находившимися въ арміи рядовыми. Произошла открытая ссора поэта съ Паскевичемъ, который наконецъ объявилъ ему: «Господинъ Пушкинъ, мнѣ васъ жаль, жизнь ваша дорога для Россіи; вамъ здѣсь дѣлать нечего, а потому я совѣтую немедленно уѣхать изъ арміи обратно, и я уже велѣлъ приготовить для васъ благонадежный конвой». Пушкинъ въ тотъ же день уѣхалъ.

Плодомъ этого странствія были извѣстныя записки „Путешествіе въ Арзерумъ“ и нѣсколько небольшихъ стихотвореній, сложившихся подъ впечатлѣніемъ отъ кавказской природы. Въ стихотвореніи „Калмычкѣ“, ставя калмычку въ параллель съ свѣтскими барынями, поэтъ показываетъ въ нихъ много внѣшнихъ отличій и иронически дѣлаетъ такое заключеніе:

Друзья, не все-ль одно и то же:
Забыться праздною душой
Въ блестящей залѣ, въ модной ложѣ,
Или въ кибиткѣ кочевой?

Вотъ какія мысли наводилъ на него модный свѣтъ, среди котораго приходилось ему вращаться въ столицѣ. Но вообще кавказскій воздухъ подѣйствовалъ на его духъ живительно, хотя и не могъ совершенно подавить его унынія:

Мнѣ грустно и легко; печаль моя свѣтла...
Унынья моего
Ничто не мучитъ, не тревожитъ,
И сердце вновь горитъ и любитъ—отъ того,
Что не любить оно не можетъ.

Въ описаніи Терека въ стихотвореніи „Кавказъ“ видится изображеніе собственной его души:

Играетъ и воетъ, какъ звѣрь молодой,
Завидѣвши пищу изъ клѣтки желѣзной,
И бьется о берегъ въ враждѣ безполезной,
И лижетъ утесы голодной волной...
Вотще!.. Нѣтъ ни пищи ему, ни отрады,
Тѣснятъ его грозно нѣмыя громады...

Другая картина „Монастырь на Казбекѣ“ вызываетъ изъ сердца поэта такое желаніе:

Далекій, вожделѣнный брегъ!
Туда-бъ, сказавъ прости ущелью,
Подняться къ вольной вышинѣ!
Туда-бъ въ заоблачную келью
Въ сосѣдство Бога скрыться мнѣ.

Совсѣмъ другими звуками зазвучала лира поэта, когда онъ опять явился среди столичной жизни: „Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ“, глубоко элегическіе стансы „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ“, и другіе, говорящіе о тѣхъ скорбныхъ минутахъ, которыя овладѣвали душою поэта:

Мой путь унылъ. Сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о, други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать!

Теперь у поэта страданіе уже сдѣлалось какъ бы принадлежностью мыслящаго человѣка.

Кавказъ далъ Пушкину новый поэтическій образъ, который стала вынашивать его фантазія. Въ немъ мы видимъ родство съ тѣми образами, надъ которыми уже трудилось его творчество и въ которыхъ выражалась собственная его личность. Тазитъ явился какъ бы на смѣну Онѣгину, который въ это время уже вполнѣ выработался въ фантазіи поэта. Онѣгинъ, пришедшій въ разладъ съ своимъ обществомъ, вслѣдствіе того, что оно не могло дать ему никакой дѣятельности по душѣ, остался среди него существомъ пассивнымъ, способнымъ размы-

шлять и растравлять свое сердце размышленіями, скучающимъ и празднымъ, даже безъ всякаго Мефистофеля. Онъ долженъ былъ признать надъ собой силу этой массы людей, которая назвала себя обществомъ: она дала почувствовать себя не какъ сила разумная, но какъ сила стихійная, какъ слѣпая, но гнетущая судьба, отъ которой не уйти человѣку, вздумавшему, по несчастію, не поладить съ нею. Разладъ не принесетъ ему счастья, и, лишь только онъ отдѣлился отъ нея, участь его рѣшена; побѣдителемъ онъ не останется, а масса будетъ прозябать по-своему, признавая силу, а съ нею и право на своей сторонѣ. Не та же ли судьба тяготѣетъ и надъ несчастною Татьяною, правда, подчинившеюся массѣ, но противъ воли, противъ своего сердечнаго влеченія, и все же создавшею свой собственный міръ? Давленіе этой стоячей массы поэтъ, конечно, долженъ былъ чувствовать и на самомъ себѣ; онъ не могъ не сознавать, что ему пришлось дорого поплатиться за всѣ тѣ противорѣчія, въ которыя онъ ставилъ себя съ этою массою, не желая съ нею сливаться, не могъ не видѣть своего безсилія передъ нею, не могъ и примириться съ ея требованіями. Вотъ это-то впечатлѣніе отъ такой общественной силы выразилось и въ Онѣгинѣ, надъ которымъ съ такой любовью много лѣтъ работала фантазія Пушкина. Конечно, когда онъ начиналъ свой романъ, онъ еще не могъ чувствовать всего этого или, если чувствовалъ, то пока еще слишкомъ неопредѣленно и неясно; только дальнѣйшая жизнь, какую испыталъ онъ, должна

была дать ему болѣе ясныя впечатлѣнія. Поэтъ въ этомъ и признается, оканчивая романъ:

Даль свободнаго романа
Я сквозь магическій кристаллъ
Еще неясно различалъ.

Намъ пришлось бы исписать много страницъ, если бы мы вздумали указывать всѣ тѣ впечатлѣнія жизни поэта, которыя отразились въ его произведеніи. Не даромъ оно было спутникомъ многихъ лѣтъ его тревожной и скитальческой жизни. Мы только указали то главное и общее впечатлѣніе, какому невольно поддалась его фантазія, выразивъ его въ образѣ Онѣгина. Для Тазита, сколько можно судить по его недоконченному и невыношенному образу, среда, въ которой родился онъ, также составляетъ его судьбу. Онъ не можетъ удовлетвориться ея низменными идеалами, ея стоячею жизнью, такъ какъ его собственные идеалы говорятъ ему о другомъ долгѣ, вызываютъ другія стремленія, ставятъ другія задачи жизни. Разладъ между нимъ и его народомъ начался съ собственной семьи, является самъ собою. Слѣдствіе отсюда ясно: какимъ бы онъ ни явился передъ этой самоувѣренной и самонадѣянной средой — врагомъ ли, другомъ ли, онъ не найдетъ себѣ покоя и счастья,— судьба его рѣшена. Можетъ быть, его идеалъ одушевитъ и еще нѣсколько личностей и отторгнетъ ихъ отъ своей среды, но и ихъ ждетъ та же участь.

Несмотря на то, что Пушкинъ съ самаго начала

набросалъ въ общихъ чертахъ планъ [1]) своей поэмы, но, какъ видно, образъ Тазита вырабатывался у него медленно; въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ не разъ обращался къ своему труду, и поэма все же осталась неоконченной; не потому ли, что задуманный имъ образъ окончательно не выработался въ его фантазіи?

Съ 1830 г. Пушкина стали отвлекать отъ его поэтическаго призванія журнальные замыслы, которые, къ сожалѣнію, вызывало тогдашнее положеніе нашей журналистики. Какъ мы видѣли, Пушкинъ еще въ 1824 г. былъ недоволенъ русскими журналами за то, что имъ недоставало дѣльной критики, основанной на опредѣленныхъ разумныхъ принципахъ. По его взгляду, только такая критика могла способствовать развитію эстетическаго вкуса въ публикѣ и образовать здравое общественное мнѣніе. Вотъ почему онъ выказывалъ сочувствіе каждому новому журналу, въ которомъ видѣлось стремленіе разрабатывать какіе-либо философскіе принципы для критики. Такъ онъ отнесся къ существовавшему недолго журналу князя Одоевскаго и Кюхельбекера „Мнемозина“, въ 1824 г., затѣмъ, въ 1825 г., къ „Московскому Телеграфу“, съ которымъ выступилъ на литературное поприще Полевой, при дѣятельномъ сотрудничествѣ князя Вяземскаго. Въ 1827 г. молодой ученый Погодинъ сталъ издавать „Московскій Вѣстникъ“, на который лучшія литературныя силы возлагали большія надежды, ста-

[1]) См. «Матеріалы», Анненкова.

раясь вмѣстѣ съ Пушкинымъ поддерживать его [1]). Но всѣмъ новымъ журналамъ приходилось вступать въ сильную конкуренцію съ тою журналистикой, которая въ лучшихъ литературныхъ кружкахъ называлась продажною и представителями которой были два пріятеля-журналиста, Гречъ и Булгаринъ. Въ ихъ рукахъ были газета „Сѣверная Пчела“ и журналъ „Сынъ Отечества“ съ монополіей помѣщать политическія извѣстія, чего не разрѣшалось никакому другому частному періодическому изданію. Такая монополія привлекала значительное число подписчиковъ и давала значительные доходы. Отсюда естественно желаніе издателей употребить всѣ мѣры, чтобы удержать за собой монополію. Въ этомъ стремленіи не брезгали никакими мѣрами. Булгаринъ обратился въ литературнаго шпіона и умѣлъ снискать себѣ расположеніе Бенкендорфа, набрасывая тѣнь на разныя опасныя для него литературныя личности. Изъ редакціи „Сѣверной Пчелы“ и „Сына Отечества“ выходили тайные доносы въ Третье отдѣленіе на

[1]) Въ концѣ 1826 г. Веневитиновъ писалъ къ Соболевскому въ Москву: «Что дѣлаетъ нашъ журналъ (Москов Вѣстн.)? Я надѣюсь, что ты изъ дѣятельныхъ сотрудниковъ, а именно: понукаешь Погодина впередъ, ругаешь Полевого, выжимаешь изъ Шевырева статьи и выкидываешь терніи и зеліе недостойныя изъ нашего цвѣтущаго сада. Попугай Пушкина, надобно чтобъ въ каждомъ № было его имя, подписанное хоть подъ немногими строчками. Скажу тебѣ искренно, что здѣсь (въ Петербургѣ) отъ этого журнала много ожидаютъ; самъ Пушкинъ писалъ сюда о немъ. Скажи нашимъ, чтобъ они не щадили Булгарина, Воейкова и пр. Истинные литераторы за насъ...

тѣхъ, которые могли быть чѣмъ-нибудь опасны издателямъ. Такъ, ими былъ оклеветанъ князь Вяземскій въ злонамѣренномъ будто бы направленіи „Телеграфа“. Оправдываясь вообще въ либерализмѣ, который на него взводила тайная полиція, князь указываетъ на „гнусное безпокойство нѣкоторыхъ журналистовъ, коихъ позорная дѣятельность безчеститъ русскую литературу и русское общество; они помнятъ мои прежнія эпиграммы, боятся новыхъ, боятся независимости моего прямодушія, когда предстоитъ мнѣ случай вывесть на свѣжую воду ихъ тупость или безчестность, боятся нѣкоторыхъ правъ моихъ на вниманіе читающей публики, совмѣстничества моего, для нихъ опаснаго, и въ безсиліи своемъ состязаться со мною при свѣтѣ дня, на литературномъ поприщѣ, они подкапываются подъ меня во мракѣ, свойственномъ ихъ природнымъ дарованіямъ и нажитому ремеслу“ [1]).

Въ этомъ взглядѣ князя Вяземскаго выразился и взглядъ всѣхъ сколько-нибудь независимыхъ писателей того времени. Но Булгаринъ не унывалъ, а Бенкендорфъ, найдя добровольнаго себѣ помощника, самъ помогалъ ему, сгибая въ бараній рогъ каждое изданіе, осмѣлившееся высказать какую-либо живую мысль. Кромѣ этой скрытой силы, у монополистовъ была и сила явная. Своими шарлатанскими критиками они дѣйствовали развращающимъ образомъ на начинающіе литературные та-

[1]) «Моя исповѣдь». Соч. Вяземскаго, часть II.

ланты, извращали вкусъ читающей публики. Имъ ничего не стоило плыть по теченію и устраивать свои дѣла съ цензурою. А между тѣмъ силы равной и противодѣйствующей имъ не оказывалось. „Московскій Телеграфъ“, тѣснимый цензурою, не выдержалъ, сталъ дѣлать уступки, пѣть въ тонъ подкупной петербургской самонадѣянной журналистики и отвратилъ отъ себя лучшихъ писателей. „Московскій Вѣстникъ“ не былъ поддержанъ неразвитой публикой и долженъ былъ прекратиться [1]). Писателямъ, которые дорожили своими именами и не хотѣли имѣть дѣла съ людьми, торговавшими своею совѣстью, негдѣ было печатать своихъ произведеній. Имъ настояла крайняя необходимость начать новое изданіе, чтобы имѣть свой органъ и въ то же время сколько возможно противодѣйствовать „Сѣверной Пчелѣ“, „Сыну Отечества“ и подобн. Соединились лучшія и наиболѣе уважаемыя имена—Пушкинъ, Жуковскій, князь Вяземскій, Крыловъ, Баратынскій, Дельвигъ, и положили издавать въ 1830 г. „Литературную Газету“. Послѣдній былъ выбранъ редакторомъ. Пушкинъ,

[1]) Въ неуспѣхѣ Погодинъ отчасти винитъ самого себя: «Я не хотѣлъ пускать болѣе четырехъ листковъ книжку, говоритъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Телеграфъ» выдавалъ въ 10 и 11 листовъ; я не хотѣлъ прилагать картинокъ модъ, которыя, по общимъ тогдашнимъ понятіямъ, служили первою поддержкою «Телеграфа»; я не употребилъ старанія, чтобъ привлечь и обезпечить участіе князя Вяземскаго, который перешелъ окончательво къ «Телеграфу» и на первыхъ порахъ своими остроумными статьями и любопытными матеріалами содѣйствовалъ больше всѣхъ его успѣху.

какъ нервный и страстный человѣкъ, ревностно взялся за дѣло и явился усерднымъ помощникомъ своего друга. Отличаясь рѣзкимъ и сжатымъ слогомъ, онъ мѣтко клеймилъ Булгарина, какъ нравственную личность, и показалъ свою силу. Перо Пушкина узнавалось безъ подписи. Онъ воспользовался именемъ французскаго шпіона Видока, который передъ этимъ издалъ въ Парижѣ свои сочиненія, и, характеризуя по нимъ автора, рисовалъ въ то же время непривлекательный портретъ своего противника [1]). Это же имя переходитъ и въ злыя эпиграммы Пушкина на того же журналиста [2]).

---

[1]) См. V часть сочиненій Пушкина, изданіе Исакова.

[2]) Вотъ что́ писалъ Дельвигъ Пушкину: «Булгаринъ поглупѣлъ до того отъ Видока, что уѣхалъ ранѣе обыкновеннаго въ деревню, но подлъ попрежнему. Онъ написалъ твою эпиграмму на Видока Фиглярина съ своимъ именемъ не по глупости, какъ читатели думаютъ, а дабы тебя замарать. Онъ представилъ ее правительству (т.-е. III отдѣленію), какъ пасквиль, и просилъ въ удовлетвореніе свое позволенія ее напечатать. Ему позволили, какъ мнѣ объявилъ цензоръ, похваля его благородный поступокъ, разумѣется, не зная, что эпиграмма писана не съ его именемъ и что онъ поставилъ оное только изъ боязни, чтобы читатели сами не нашли ее эпиграммою на него. Не желая, чтобы тебя считали пасквилянтомъ, человѣкомъ, дѣлающимъ противозаконное, я подалъ въ высшую цензуру просьбу, чтобы позволили это стихотвореніе напечатать безъ ошибокъ, а тебя прошу оправдаться передъ его величествомъ. Государю, тебя ласкающему, пріятно будетъ найти тебя правымъ. Вотъ какъ искательные подлецы часто могутъ марать добрыхъ людей, безпечныхъ по незнанію ихъ мерзостей и увѣренныхъ въ чистотѣ своихъ намѣреній и дѣйствій»... (Русск. Арх., 1880, II).

Но полемика не успѣла развиться въ подробности, соединившись тотчасъ же съ неблаговидными доносами [1]). Она не понравилась Бенкендорфу, показавшись опасною, и, къ счастью Булгарина, была прекращена, а вскорѣ затѣмъ придрались къ пустому промаху редакціи и совсѣмъ запретили газету.

Самымъ чувствительнымъ ударомъ для Пушкина было послѣдствіе этого запрещенія—смерть Дельвига [2]), на котораго такъ подѣйствовали незаслуженныя угрозы и оскорбленія отъ шефа жандармовъ, что его организмъ не выдержалъ такого нравственнаго потрясенія. Всѣ порядочные люди негодовали на такія беззаконныя дѣйствія всесильнаго царедворца, но негодовали, конечно, втихомолку. „А каково вамъ кажется запрещеніе „Литературной Газеты“, писалъ князь Вяземскій къ старцу Дмитріеву. По журнальному достоинству она подлежала выговору, но въ политическомъ отношеніи была совершенно невинна. И какая несо-

---

[1]) См. статью Анненкова въ Вѣстникѣ Европы 1880 г. Іюнь. «Общественные идеалы Пушкина».

[2]) «Ужасное извѣстіе получилъ я въ воскресенье, писалъ Пушкинъ Плетневу, и на другой день оно подтвердилось... Грустно, тоска. Вотъ первая смерть, мною оплаканная. Карамзинъ подъ конецъ былъ мнѣ чуждъ, я глубоко сожалѣлъ о немъ какъ русскій, но никто на свѣтѣ не былъ мнѣ ближе Дельвига. Изъ всѣхъ связей дѣтства онъ одинъ оставался на виду; около него собиралась наша бѣдная кучка. Безъ него мы точно осиротѣли. Баратынскій боленъ съ огорченія. Меня не такъ-то легко съ ногъ свалить. Будь здоровъ и постараемся быть живы».

образность! Имѣть цензуру и вмѣстѣ съ нею налагать отвѣтственность на авторовъ. То вдругъ отрѣшить цензора, то отрѣшить газету! Есть ли послѣ того возможность писать, не имѣвъ духа быть Булгаринымъ, который рѣшительно казнитъ и милуетъ кого угодно? И какая польза отъ того, что цензурный уставъ писанъ не Шихматовымъ, а Дашковымъ, что товарищъ министра народнаго просвѣщенія Блудовъ, а не какой-нибудь Фотій, когда ни тотъ, ни другой не могутъ отстаивать существующаго закона или писателей, лишаемыхъ законныхъ правъ своихъ! Нѣтъ сомнѣнія, что государь уважилъ бы истину, если бы кто раскрылъ ее предъ нимъ. Но всѣ молчатъ“ [1]). Въ этомъ общемъ безмолвіи, конечно, торжествовали люди, которымъ нипочемъ былъ всякій публичный позоръ. Торжествующимъ, повидимому, остался и Булгаринъ. Но Пушкинъ, разгоряченный его безстыдствомъ и считая его участникомъ въ пораженіи Дельвига, не могъ оставить его безъ новыхъ позорныхъ ударовъ. Въ 1831 г. въ новомъ журналѣ Надеждина „Телескопъ“ онъ продолжалъ нападать на Булгарина, какъ на литературнаго торгаша, шарлатана и шпіона [2]). „Я не принадлежу къ числу тѣхъ незлопамятныхъ литераторовъ, пишетъ онъ, которые, публично другъ друга обругавъ, обнимаются потомъ всенародно, говоря въ

---

[1]) «Русскій Архивъ» 1868, № 4.

[2]) Подъ этими статьями Пушкинъ подписался псевдонимомъ Косичкинъ.

похвальбу себѣ и въ утѣшеніе: „вѣдь, кажется, у насъ по полной оплеухѣ“. Нѣтъ, разсердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, какъ истощивъ весь запасъ оскорбительныхъ примѣчаній, обиняковъ, заграничныхъ анекдотовъ и т. п.“.

Нужда заставила Пушкина вести такую полемику съ развратными журналистами: нужно было раскрыть глаза публикѣ и выставить въ настоящемъ свѣтѣ эти личности, которыя являлись ловить въ мутной водѣ рыбу. Въ этомъ отчасти Пушкинъ и успѣлъ, по крайней мѣрѣ въ кругу людей болѣе развитыхъ и образованныхъ. Но не весело было заниматься такимъ дѣломъ. Не могъ поэтъ не чувствовать себя одинокимъ не только въ свѣтской сферѣ, но и въ литературной. Друзья его молчали, можетъ быть, изъ разсчетовъ благоразумія, да не всѣ и понимали его стремленія [1]). Журналь-

[1]) Въ 1829 г. князь Вяземскій писалъ Дмитріеву: «По примѣру Карамзина увѣренъ, что привычка труда не только не уступаетъ при стеченіи непріятныхъ обстоятельствъ, но, напротивъ, служитъ подкрѣпительною союзницею для сохраненія бодрости и спасительнаго терпѣнія. Но не каждому готова служить эта союзница: надобно умѣть ее заслужить, а въ этомъ-то и затрудненіе. Надобно быть сложенія плотнаго, а мы свойства тщедушнаго и нервическаго, какъ наша эпоха. Мы всегда и вездѣ подъ вліяніемъ минуты: нѣтъ на жизни нашей отраженія единства дѣйствія полнаго и безпрерывнаго. Однимъ словомъ, мы—натуры романтической, [а не классической: въ насъ нѣтъ запаса на Иліаду, сотканную цѣлымъ кускомъ; мы вытыкаемъ поэмы полотнищами, въ строфахъ, и то еще съ точками, съ умолчаніями и бѣлыми промежутками въ основѣ»... Здѣсь видится намекъ на Пушкина.

ная критика судила о немъ и вкривь и вкось, съ намѣреніемъ досадить ему и уколоть его [1]). Къ этому времени относится его стихотвореніе „Поэтъ, не дорожи любовію народной“, гдѣ прорывается это тяжелое чувство одиночества поэта, который видитъ передъ собою только одну холодную толпу, не находя никакой связи съ нею. Подъ этими впечатлѣніями и создался у него образъ поэта, не признающаго надъ собою суда толпы, которая не можетъ понимать его.

Но Пушкинъ ошибся въ одномъ: онъ принялъ за народный голосъ журнальную брань и свѣтское равнодушіе къ его поэзіи. Ему была чувствительна и обидна такая перемѣна послѣ того, какъ онъ былъ пріученъ къ громкимъ хваламъ за все, что ни выходило изъ-подъ его пера; а между тѣмъ онъ понималъ, что геній его мужаетъ, крѣпнетъ, что его поэтическіе труды съ каждымъ годомъ все совершенствуются. Но Пушкинъ не замѣтилъ, что духъ той публики, которая недавно цѣнила его, былъ подавленъ, если не задушенъ; что теперь со своимъ голосомъ явилась другая публика, въ руководители которой поставленъ Булгаринъ съ братіей, а на смѣну первой только подростала другая цѣнительница его поэзіи; у нея еще не было го-

[1]) «Что касается до критическихъ статей, писалъ Пушкинъ, написанныхъ съ одною цѣлью оскорбить меня какимъ бы то ни было образомъ, скажу только, что онѣ очень сердили меня, по крайней мѣрѣ въ первыя минуты, и что, слѣдовательно, сочинители оныхъ могутъ быть довольны, удостовѣрясь, что труды ихъ не пропали».

лоса; но она воспитывала себя „сладкими звуками и молитвами“ поэта, среди казарменной атмосферы. Это были юноши, оканчивающіе курсъ въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, даровитыя натуры, которыхъ не успѣли подавить тупые педагоги; они тайкомъ учили наизусть лучшія произведенія нашего поэта, иные терпѣли за это наказаніе, но зато, благодаря его поэзіи, сохраняли въ душѣ высшія человѣческія стремленія, выносили въ себѣ тотъ свѣтъ, который въ другихъ одолѣвался мракомъ. Этой публики Пушкинъ еще не зналъ, а въ ней-то и хранилась народная любовь. Узнай онъ о ней, и навѣрно изъ его измученной души не вырвался бы этотъ стихъ: не дорожи любовію народной. И какъ бы онъ своей любящей душой отозвался на эту молодую любовь, которая пряталась въ разныхъ студенческихъ кельяхъ и въ ученическихъ камерахъ, если уже одинъ анонимный задушевный, привѣтливый голосъ извлекъ изъ его страдающей души такіе сердечные звуки:

Вниманья слабаго предметъ уединенный,
Къ доброжелательству досель я не привыкъ
И страненъ мнѣ его привѣтливый языкъ.
Смѣшонъ, участія кто требуетъ у свѣта!
Холодная толпа взираетъ на поэта,
Какъ на заѣзжаго фигляра: если онъ
Глубоко выразитъ сердечный тяжкій стонъ,
И выстраданный стихъ, пронзительно-унылый,
Ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой—
Она въ ладони бьетъ и хвалитъ, иль порой
Неблагосклонною киваетъ головой.
Постигнетъ ли пѣвца незапное волненье,

Утрата скорбная, изгнанье, заточенье—
«Тѣмъ лучше», говорятъ любители искусствъ:
«Тѣмъ лучше! наберетъ онъ новыхъ думъ и чувствъ
«И намъ ихъ передастъ». Но счастіе поэта
Межъ ними не найдетъ сердечнаго привѣта,
Когда боязненно безмолвствуетъ оно...

•

Душно и мрачно было поэту въ этой полицейской атмосферѣ. Точно левъ, запертый въ клѣткѣ, томился онъ. Душа его рвалась куда-нибудь подальше отъ всѣхъ этихъ впечатлѣній. Къ тому же присоединилось одно сердечное, еще не опредѣлившееся дѣло, о которомъ сейчасъ будемъ говорить. Не прошло и двухъ мѣсяцевъ по возвращеніи его въ столицу послѣ закавказскаго путешествія, и онъ уже просится у Бенкендорфа во Францію и Италію; если же на это не будетъ разрѣшенія, то хоть въ Китай, куда въ это время отправлялась наша миссія. На это онъ получилъ только упрекъ, что противорѣчитъ волѣ того, кто осыпалъ его столькими благодѣяніями. Пришлось извиняться и замолчать. Но въ мартѣ того же года Пушкинъ внезапно уѣхалъ въ Москву. Вслѣдъ за нимъ посланъ былъ запросъ отъ шефа жандармовъ, почему онъ не предувѣдомилъ его о своемъ отъѣздѣ, и при этомъ ему выставлено было на видъ, что всѣ непріятности, которымъ можетъ онъ подвергнуться за свои своевольные поступки, онъ долженъ будетъ отнести къ своему собственному поведенію. Тутъ поэту уже пришлось убѣдиться, что онъ находится дѣйствительно подъ надзоромъ полиціи. Если передъ этимъ

онъ выслушалъ непріятное замѣчаніе за свою кавказскую поѣздку, то потому, что онъ безъ вѣдома государя, не будучи военнымъ человѣкомъ, слѣдовалъ за нашими войсками въ Турціи. Теперь же ясно было, что онъ лишенъ свободы перемѣщенія, какъ послѣдній крестьянинъ. Пушкина крайне огорчило такое стѣсненіе. Онъ отвѣчалъ, что до этого времени онъ никогда не спрашивалъ предварительнаго разрѣшенія и не получалъ замѣчаній. При томъ онъ выразилъ горесть, какую приносятъ ему незаслуженные выговоры, жалуясь на гоненія, какія онъ безвинно терпитъ. Но смягчая свои жалобы, онъ прибавляетъ, что другіе еще болѣе зложелательствуютъ ему, и что въ Бенкендорфѣ онъ все-таки видитъ своего единственнаго защитника. „Если завтра вы не будете министромъ, замѣтилъ онъ, то послѣзавтра меня посадятъ въ тюрьму“ [1]). Особенно же онъ жаловался на Булгарина, который хвалился своей близостью къ Бенкендорфу.

Въ Москву Пушкинъ ѣздилъ свататься за дѣвицу Гончарову, которой красота поразила его за годъ до этого, когда онъ направлялся къ Кавказу. У насъ есть интересное письмо Пушкина, писанное по-французски къ будущей его тещѣ, весною 1830 г.: „Когда я увидалъ ее въ первый разъ, писалъ онъ, красоту ея только-что начинали замѣчать въ обществѣ; я ее полюбилъ, голова моя помутилась; я просилъ руки ея. Отвѣтъ вашъ, при всей его неопредѣленности, едва не свелъ меня съ

[1]) «Русская Старина», 1874 г. Августъ.

ума. Въ ту же ночь я уѣхалъ въ армію. Спросите: зачѣмъ? Клянусь, самъ не умѣю сказать; но тоска непроизвольная гнала меня изъ Москвы. я бы не могъ въ ней вынести присутствія вашего и ея. Я къ вамъ писалъ, надѣялся, ждалъ отвѣта. Отвѣта не приходило. Заблужденія первоначальной моей юности представлялись моему воображенію. Они были слишкомъ рѣзки; клевета придала имъ еще болѣе широкіе размѣры; по несчастію, молва о нихъ сдѣлалась всеобщею. Вы могли ей повѣрить; я не смѣлъ жаловаться на то, но я былъ въ отчаяніи. Какія муки ожидали меня по моемъ возвращеніи? Ваше молчаніе, вашъ холодный видъ, пріемъ Натали столь легкій, столь невнимательный. У меня недостало духу объясниться. Я уѣхалъ въ Петербургъ съ адомъ въ душѣ. Я чувствовалъ всю неловкость моего положенія: я былъ робокъ въ первый разъ въ жизни, а робость въ человѣкѣ моихъ лѣтъ, конечно, не можетъ понравиться молодой особѣ"...

Такимъ образомъ и здѣсь, въ этомъ сердечномъ вопросѣ, касающемся выбора жены, поперекъ дороги Пушкина стала все та же упорная молва о дурно-проведенной юности, о безнравственномъ направленіи, о политической неблагонадежности. Здѣсь даже теряла свою силу всѣмъ извѣстная русская пословица, которую обыкновенно у насъ произносятъ для оправданія буйной молодости жениха: быль молодцу не укоръ. И это злопамятство держалось въ томъ обществѣ, которое само не стояло на высотѣ нравственнаго развитія. Молва подтверждалась другою молвою: разглашали, что

Пушкинъ подъ надзоромъ тайной полиціи, такъ какъ государь недоволенъ имъ. Тогда Пушкинъ рѣшается просить Бенкендорфа извѣстить государя о своемъ намѣреніи жениться; но при этомъ случаѣ жалуется на свое тягостное положеніе. „Мать невѣсты, пишетъ онъ, страшится выдать дочь свою за человѣка, который имѣетъ несчастіе быть подъ гнѣвомъ государя". Въ отвѣтъ на это Бенкендорфъ отвѣчалъ, что Пушкинъ „находится не подъ гнѣвомъ, но подъ отеческимъ попеченіемъ его величества", что онъ довѣренъ Бенкендорфу не какъ шефу жандармовъ, но какъ „человѣку, въ которомъ найдетъ себѣ друга и покровителя, который оберегаетъ его своими совѣтами и руководитъ имъ только къ его пользѣ".

Какой ироніей звучатъ эти слова въ письмѣ Бенкендорфа въ виду его недавнихъ отношеній къ поэту! Нѣтъ сомнѣнія, что онъ передавалъ на этотъ разъ слова государя и не замѣтилъ, что они несогласны съ собственными его поступками, обличая, какъ онъ самъ злоупотреблялъ порученіемъ императора.

Подѣйствовало ли это письмо или и безъ него, но предложеніе Пушкина наконецъ было принято. Онъ не измѣнилъ своей артистической натурѣ и въ вопросѣ о женитьбѣ. Онъ увлекся красотою юной Гончаровой, которою восхищались всѣ при первомъ ея появленіи въ свѣтѣ:

Все въ ней гармонія, все диво,
Все выше міра и страстей:
Она покоится стыдливо
Въ красѣ торжественной своей...

Этого достаточно было для артиста. Онъ не предлагалъ себѣ никакихъ другихъ вопросовъ, имѣющихъ значеніе въ соображеніяхъ о женатой жизни нравственнаго человѣка. Онъ даже не убѣдился, можетъ ли она полюбить его. Въ пылу страсти онъ дѣлаетъ предложеніе. „Привычка и продолжительное сближеніе одни могли бы доставить мнѣ расположеніе вашей дочери, писалъ онъ къ матери своей невѣсты. Я могу надѣяться, что современемъ она ко мнѣ привяжется, но во мнѣ нѣтъ ничего, что̀ могло бы ей нравиться. Если она будетъ согласна отдать мнѣ свою руку, я увижу въ этомъ лишь доказательство того, что сердце ея остается въ спокойномъ равнодушіи. Но это спокойствіе долго ли продлится среди восхищеній, поклоненій, соблазновъ? Ей станутъ говорить, что лишь несчастная судьба помѣшала ей заключить другой союзъ, болѣе соотвѣтствующій, болѣе блистательный, болѣе достойный ея. Такія внушенія, если бы они даже и были не искренни, ей навѣрно покажутся искренними. Не станетъ ли она раскаяваться? Не будетъ ли она смотрѣть на меня, какъ на помѣху, какъ на обманщика и похитителя? Не почувствуетъ ли она ко мнѣ отвращенія? Богъ мнѣ свидѣтель, что я готовъ умереть за нее; но умереть, чтобы оставить ее блистательною вдовою, свободною въ выборѣ на завтра же другого мужа, мысль эта—адъ“... [1]).

Страстная натура Пушкина сказывается въ

[1]) «Русскій Архивъ» 1873 г. № 5.

этихъ словахъ. Онъ говоритъ о желанномъ законномъ обладаніи любимою женщиною, и въ то же время волнуется сомнѣніями, опасеніями, ревнивыми думами. Онъ такъ привыкъ къ недоброжелательству свѣта, что боится и тутъ, какъ бы свѣтъ не вмѣшался въ его сердечныя отношенія къ женѣ, не нарушилъ бы покоя и счастья семейной его жизни. Зная дальнѣйшую судьбу Пушкина, связанную съ его женитьбой, мы слышимъ какое-то роковое предчувствіе въ этихъ словахъ поэта. — Согласіе со стороны невѣсты получено; свадьба отложена на нѣсколько мѣсяцевъ. Пушкинъ имѣлъ возможность успокоиться, обдумать свое положеніе и спокойнѣе смотрѣть на предстоящую ему новую жизнь. За недѣлю до свадьбы (10 февраля 1831 г.) онъ писалъ къ другу своей юности Кривцову: „Я почти женатъ. Все, что̀ бы ты могъ сказать мнѣ въ пользу холостой жизни и противъ женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвѣсилъ выгоды и невыгоды состоянія, мною избираемаго. Молодость моя прошла шумно и безплодно. До сихъ поръ я жилъ иначе, какъ обыкновенно живутъ. Счастья мнѣ не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes (внѣ обычной колеи нѣтъ счастья). Мнѣ за 30 лѣтъ. Въ тридцать лѣтъ люди обыкновенно женятся. Я поступаю, какъ люди, и, вѣроятно, не буду въ томъ раскаиваться. Къ тому же я женюсь безъ упоенія, безъ ребяческаго очарованія. Будущность является мнѣ не въ розахъ, но въ строгой наготѣ своей. Горести не удивятъ меня: онѣ входятъ въ мои домашніе

разсчеты. Всякая радость будетъ мнѣ неожиданностью“ [1]).

Прежде всего Пушкину нужно было обдумать и устроить свое матеріальное положеніе. Онъ зналъ, что женится на дѣвушкѣ, воспитанной для свѣтской жизни, слѣдовательно, эту жизнь и долженъ былъ имѣть въ своихъ соображеніяхъ. „Я ни за что на свѣтѣ не допущу, писалъ онъ, чтобъ жена моя терпѣла лишенія, чтобъ она не являлась тамъ, гдѣ ей предназначено блистать, веселиться. Она въ правѣ требовать этого. Чтобы сдѣлать ей угодное, я готовъ пожертвовать всѣми вкусами, всею моею жизнью, вполнѣ свободною и обильною случайностями“. Для всего этого нужно было имѣть значительные доходы. Пушкинъ не могъ много разсчитывать на отца, у котораго всѣ дѣла были крайне запутаны; не могъ разсчитывать и на большое приданое; оставалось положиться на собственные литературные труды. Онъ справедливо понадѣялся на свои силы и въ ту же осень доказалъ себѣ, какъ производительно можетъ онъ употреблять свое время. Но чтобы имѣть вѣрные доходы, теперь необходимо было сообразоваться съ цензурными требованіями и подчинить имъ свое творчество,—вотъ что̀ болѣе всего могло тяготить Пушкина. На виду у него былъ „Борисъ Годуновъ“, который до сихъ поръ былъ извѣстенъ публикѣ только въ небольшихъ отрывочныхъ сценахъ. Мы видѣли, что еще въ 1826 году Бенкен-

[1]) «Русскій Архивъ» 1864 г. № 10.

дорфъ потребовалъ это произведеніе къ себѣ для передачи его государю. Черезъ нѣсколько времени Пушкинъ получилъ его обратно съ припискою, что „государь замѣтилъ въ драмѣ лишь нѣкоторыя мѣста, требующія очищенія, и то, что цѣль была бы болѣе выполнена, если бы сочинитель передѣлалъ ее въ историческій романъ на подобіе Вальтеръ-Скотта“. На это Пушкинъ отвѣчалъ: „жалѣю, что я не въ силахъ уже передѣлать мною однажды написанное“. Но печатать свой трудъ онъ не рѣшился изъ опасенія, что и публика не пойметъ красоты его, а ему было бы очень тяжело перенести равнодушный пріемъ произведенія, которымъ онъ такъ дорожилъ, соединивъ съ нимъ вопросъ о народной драмѣ. И только въ 1829 году онъ представилъ его во вторичную цензуру государя, съ перемѣною нѣкоторыхъ выраженій. Драма была снова возвращена съ тѣмъ, чтобы перемѣнить еще нѣкоторыя мѣста, показавшіяся тривіальными. Отправляясь въ закавказскую поѣздку, Пушкинъ поручилъ Жуковскому заняться ея печатаніемъ. Но и тутъ произошла помѣха. По возвращеніи въ Петербургъ, питая мечту о новомъ далекомъ путешествіи на западъ или на востокъ, Пушкинъ писалъ къ Бенкендорфу: „Въ мое отсутствіе г. Жуковскій хотѣлъ напечатать мою трагедію, но не получилъ на то прямого разрѣшенія. Такъ какъ я человѣкъ небогатый, то мнѣ чувствительно лишеніе суммы тысячъ въ 15 руб., которыя могла бы доставить моя трагедія, и мнѣ было бы горько отказаться отъ обнародованія труда,

который я долго обдумывалъ и которымъ наибольше доволенъ". Только въ октябрѣ мѣсяцѣ 1830 г. высочайше разрѣшено печатаніе „Бориса Годунова", подъ собственною отвѣтственностью поэта. Но въ это время Пушкинъ былъ далеко отъ столицы; драма печаталась безъ него и вышла въ свѣтъ 1-го января 1831 года.

Пушкинъ получилъ отъ отца часть его нижегородскихъ помѣстій, село Болдино, куда онъ и отправился изъ Москвы на осень, чтобы выправить тамъ бумаги, необходимыя для залога имѣнія въ опекунскомъ совѣтѣ, такъ какъ ему нужны были деньги для свадьбы. Но тамъ захватила его холера, быстро шедшая съ юга на сѣверъ. Не имѣя возможности пробраться черезъ устроенные карантины, поэтъ поневолѣ засѣлъ въ одиночествѣ. Осень и тихая уединенная жизнь всегда приносили вдохновеніе нашему поэту. Въ Болдинѣ онъ приготовилъ къ печати двѣ послѣднія главы „Евгенія Онѣгина", написалъ драматическія сцены „Скупой рыцарь", „Моцартъ и Сальери", „Пиръ во время чумы", „Донъ-Жуанъ", шуточную повѣсть „Домикъ въ Коломнѣ", пять повѣстей Бѣлкина, около тридцати мелкихъ стихотвореній и началъ „Лѣтопись села Горохина". Замѣчательно, что всѣ драматическія сцены и нѣкоторыя мелкія стихотворенія [1]) вводятъ насъ въ кругъ европейской жизни, преимущественно средневѣковой, а нѣкоторыя даже навѣяны произведеніями европейскихъ поэтовъ.

[1]) «Пажъ», «Пью за здравіе Мери», «Романсъ».

Здѣсь Пушкинъ расширяетъ сферу своей поэзіи, показавъ, что ему одинаково доступна какъ русская, такъ и иноземная жизнь, что его фантазія проникается даже духомъ этой послѣдней по однимъ впечатлѣніямъ отъ чтенія иностранныхъ сочиненій. Онъ, какъ геніальный поэтъ, отразилъ въ себѣ черту новаго русскаго человѣка, воспитаннаго подъ сильнымъ вліяніемъ общеевропейскаго просвѣщенія. Эта способность усвоивать себѣ представленіе чужой жизни развивается у насъ съ дѣтства черезъ чтеніе чужеземныхъ сказокъ, разсказовъ, историческихъ сочиненій. Наше воображеніе на ряду съ образами, созданными русской фантазіей, наполняется и созданіями другихъ народовъ. Въ прежніе годы мы интересовались европейскою жизнью даже болѣе, чѣмъ своей, даже легко передѣлывались во французовъ, англичанъ, нѣмцевъ. И въ настоящее время исторія Европы со школы изучается нами во всей подробности. Отсюда ясно, что мы нисколько не затрудняемся понимать европейскую жизнь во всемъ ея историческомъ объемѣ и интересуемся ею какъ жизнью, намъ очень близкою, хотя историческое участіе принимаемъ въ ней еще недавно. Такое наше отношеніе къ чужой жизни сдѣлалось какъ бы національною чертою русскаго человѣка, сознающаго свою связь съ Европою, какъ природнаго европейца. Въ Пушкинѣ отразилась эта черта, какъ въ художникѣ, и его произведенія въ этомъ родѣ обогатили русскую поэзію. Съ другой стороны, чужая сфера жизни давала ему болѣе цензурнаго

матеріала для поэзіи, а о немъ онъ долженъ былъ теперь думать, такъ какъ разсчитывалъ на доходы отъ своихъ произведеній. Тѣми же соображеніями могли быть вызваны и повѣсти Бѣлкина, а можетъ быть и „Домикъ въ Коломнѣ“; „Лѣтопись же села Горохина“ была брошена на половинѣ, такъ какъ она видимо должна была коснуться такихъ порядковъ русской помѣщичьей жизни, которые тщательно оберегались цензурою.

Изъ мелкихъ стихотвореній большая часть представляетъ впечатлѣнія и думы поэта, которыя занимали его въ уединеніи. Въ нихъ преобладаетъ элегическій тонъ, который поддерживался самою окружающею природою и жизнью. Ими поэтъ хочетъ объяснить, отчего русская поэзія вообще склонна болѣе къ элегіи. Въ самомъ дѣлѣ, откуда взять веселья, если вамъ представляются такія картины:

Избушекъ рядъ убогій,
За ними черноземъ, равнинный садъ отлогій;
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
На дворѣ у низкаго забора
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,
Два только деревца, и то изъ нихъ одно
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея,
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичекъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ.
Безъ шапки, онъ несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
И кличетъ издали лѣниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворилъ:
Скорѣй: ждать некогда... давно-бъ ужъ схоронилъ...

Но отъ этихъ некрасивыхъ картинъ нашъ поэтъ тѣмъ охотнѣе углублялся въ свой внутренній міръ и тѣмъ страстнѣе предавался своему творчеству:

Въ камелькѣ забытомъ
Огонь опять горитъ, то яркій свѣтъ лѣтъ,
То тлѣетъ медленно, а я надъ нимъ читаю
Иль думы долгія въ душѣ моей питаю.
И забываю міръ, и въ сладкой тишинѣ
Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ,
И пробуждается поэзія во мнѣ:
Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,
Трепещетъ и звучитъ, и ищетъ какъ во снѣ
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ —
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.
И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И риѳмы легкія на встрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,
Минуту... и стихи свободно потекутъ...

Но для такого свободнаго проявленія души поэту нужно быть вдали отъ шумной свѣтской жизни и разныхъ гнетущихъ заботъ. Женатая жизнь должна будетъ измѣнить условія его жизни. Что-то она принесетъ ему?

Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья бѣготня—
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепотъ?..
Отъ меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?

Такіе тревожные вопросы являлись поэту въ безсонныя ночи...

VIII.

Женатая жизнь.

Женившись, Пушкинъ поспѣшилъ переселиться въ Петербургъ, съ мыслью ввести молодую жену въ кругъ свѣтской жизни и дать ей возможность принимать участіе во всѣхъ свѣтскихъ удовольствіяхъ. Но онъ хорошо понималъ, что теперь ему, какъ человѣку семейному, неловко быть въ высшемъ обществѣ безъ опредѣленнаго оффиціальнаго положенія. Тамъ у всѣхъ есть какіе-нибудь служебные титулы, а онъ между ними только сочинитель. Но это званіе ни въ оффиціальномъ мірѣ, ни въ высшемъ свѣтскомъ обществѣ не пользовалось особеннымъ почетомъ. Оно иногда произносилось тамъ съ ужимками и съ сомнительными улыбками. Самому Пушкину было всегда крайне непріятно, если къ его имени прибавляли это слово, когда хотѣли отличить его отъ другихъ Пушкиныхъ. Его пріятели и люди доброжелательные къ нему, во главѣ которыхъ стоялъ Жуковскій, стали убѣждать его выбрать себѣ какое-нибудь опредѣленное положеніе. Вступить въ службу чиновникомъ, съ его маленькимъ чиномъ, для него, конечно, было немыслимо, не потому, чтобъ не быть подвластнымъ человѣкомъ: онъ и безъ того хуже всякаго мелкаго чиновника чувствовалъ на себѣ тяжесть власти своего полицейскаго опекуна

и покровителя. Пушкинъ дорожилъ свободою труда, которую онъ хотѣлъ отдать литературнымъ работамъ. Но пріятели нашли возможность устроить его къ ихъ общему удовольствію. Положили выхлопотать ему позволеніе издавать политическую газету, которая отчасти бы замѣнила недавно запрещенную „Литературную газету“ Дельвига, и добиваться званія историіографа, упраздненнаго со смертью Карамзина. Эти планы пришлись Пушкину по душѣ. Съ ними какъ нельзя лучше согласовались его гражданскія и патріотическія стремленія. Въ это время Пушкинъ жилъ на дачѣ въ Царскомъ Селѣ, куда переселился и дворъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ. Въ Петербургѣ свирѣпствовала холера, а въ Польшѣ—возстаніе въ полномъ разгарѣ; въ Европѣ разжигалась ненависть противъ Россіи. Эти обстоятельства и вызвали въ бесѣдѣ друзей мысль о необходимости дѣльной политической газеты. Г. Анненковъ такимъ образомъ излагаетъ все это дѣло [1]):

„Втихомолку передавались печальныя новости съ театра войны: нерѣшительность дѣйствій русской арміи, возрастающія надежды инсуррекціи, сочувствіе къ ней со стороны народовъ Европы; за междоусобной войной проглядывала возможность большой европейской войны въ близкомъ будущемъ. Нравственная сторона польскаго вопроса особенно обращала вниманіе друзей въ Цар-

[1]) «Вѣстникъ Европы» 1880 г. Іюнь: «Общественные идеалы Пушкина».

скомъ Селѣ, такъ какъ въ ней-то и заключалось все дѣло. Пока большинство русскаго общества негодовало просто на медленность вооруженной расправы съ непріятелемъ, Жуковскій и Пушкинъ всего болѣе думали о принципѣ, который возстаніе положило въ свою основу и которымъ себя оправдывало... Подъ знаменемъ нарушеннаго принципа народной воли и національности Франція, только-что провозгласившая этотъ принципъ у себя, стала почти цѣликомъ въ ряды самыхъ ожесточенныхъ враговъ Россіи. Начавшаяся борьба двухъ славянскихъ племенъ вызвала тамъ въ печати и на трибунѣ бурю ненависти, угрозъ и всевозможныхъ обвиненій противъ русскаго народа и правительства, бурю, которая сообщилась и ближайшимъ сосѣдямъ Россіи. По секрету передавались слухи объ опасномъ положеніи правительствъ конституціонныхъ и абсолютныхъ, одинаково истощавшихся въ усиліяхъ сдерживать порывы своихъ народовъ, которые требовали почти въ одинъ голосъ передѣлки европейской исторіи и трактатовъ во всемъ, что они сказали въ пользу и въ интересѣ Россіи. Не одинъ Пушкинъ приходилъ въ негодованіе отъ этого непомѣрнаго озлобленія умовъ, не одинъ онъ думалъ, что, какъ бы ни велики были успѣхи нашей секретной дипломатической борьбы съ направленіемъ, одной этой борьбы еще не было достаточно, и слѣдовало бы вызвать на борьбу съ нимъ голосъ самаго общества. Какъ ни совѣтовали еще послѣднему покрывать всѣ яростные нападки его враговъ однимъ горделивымъ молчаніемъ,

но многимъ, вмѣстѣ съ Пушкинымъ и Жуковскимъ, казалось, что вмѣшательство общества въ полемику было еще нужнѣе ему самому, для разрѣшенія болѣзненныхъ тревогъ его собственной совѣсти и сознанія, чѣмъ даже для отраженія несправедливыхъ обвиненій со стороны. Конечно, выразительныхъ словъ „бунтъ“, „мятежъ“ достаточно было для успокоенія чувства законности у большинства тогдашней русской публики, но вопросъ о нравственномъ правѣ употребить силу оружія противъ идеи о политической независимости у народа, котораго много лѣтъ пріучали къ ней оффиціально—этотъ вопросъ оставался и затѣмъ смутнымъ для значительной части русской интеллигенціи“...

Вотъ при такихъ условіяхъ и явилась мысль основать печатный органъ: „пускай позволятъ намъ, русскимъ писателямъ, отражать безстыдные и невѣжественные нападки иностранныхъ газетъ“. Эта мысль Пушкина вытекала прямо изъ чувства патріотическаго негодованія. Съ этимъ вмѣстѣ у него соединилась и мысль служить посредникомъ между правительствомъ и публикой, разъясняя послѣдней политическія идеи въ духѣ тѣхъ принциповъ, которые исторически развивались въ русскомъ народѣ. Увлекала его и мысль заняться исторіей Петра Великаго въ качествѣ исторіографа. Съ этимъ вмѣстѣ завязывался и вопросъ о чинѣ, о которомъ до сихъ поръ не приходилось задумываться поэту. Но теперь его нельзя было избѣжать, лишь только зашла рѣчь объ оффиціальномъ положеніи, которое

прежде всего опредѣлялось чиномъ. И вотъ, не долго думая, въ іюнѣ того же года Пушкинъ подалъ прошеніе Бенкендорфу. Здѣсь онъ заявляетъ, что ему всегда было тягостно его бездѣйствіе и что теперь онъ готовъ служить, по мѣрѣ своихъ способностей. „Мой настоящій чинъ, къ несчастію, будетъ мнѣ препятствіемъ на поприщѣ службы. Я считался въ иностранной коллегіи отъ 1817 до 1824 года. Мнѣ слѣдовало за выслугу лѣтъ еще два чина, т.-е. титулярнаго совѣтника и коллежскаго ассессора. Бывшіе мои начальники забывали о моемъ представленіи, а я имъ о томъ не припоминалъ. Не знаю, можно ли мнѣ будетъ получить то, что̀ мнѣ слѣдовало“. Далѣе онъ предлагалъ свое перо для политическихъ статей, обѣщая съ точностью и усердіемъ исполнять волю государя. „Съ радостью взялся бы я за редакцію политическаго и литературнаго журнала, т.-е. такого, въ которомъ печатались бы политическія и заграничныя новости, около котораго соединилъ бы писателей съ дарованіями и такимъ бы образомъ приблизилъ бы къ правительству людей полезныхъ, которые все еще дичатся, напрасно полагая его непріязненнымъ къ просвѣщенію“. Наконецъ, Пушкинъ просилъ дозволенія заняться историческими изысканіями въ архивахъ и библіотекахъ, съ цѣлью исполнить свое давнишнее желаніе—написать исторію Петра Великаго и его наслѣдниковъ до Петра III.

Съ помощью связей и пріятельскихъ просьбъ Пушкинъ ни въ чемъ не получилъ отказа. Право

посѣщать государственные архивы (впрочемъ, подъ руководствомъ статсъ-секретаря Блудова) было дано ему тогда же, а прочее обѣщано.

Въ своемъ прошеніи, сознательно или нѣтъ, Пушкинъ произнесъ справедливое и вѣское слово: онъ выразилъ, что у людей съ дарованіемъ и, слѣдовательно, полезныхъ таится вражда къ правительству, и указалъ причины ея — непріязненное его отношеніе къ просвѣщенію, и затѣмъ средство какъ оно можетъ доказать противное и приблизить къ себѣ всѣхъ этихъ людей: просвѣщеніе требуетъ работы мысли въ вопросахъ жизни. Вызвавъ на эту работу умственныя силы просвѣщенныхъ людей, правительство тѣмъ самымъ доказало бы, что оно стоитъ на сторонѣ просвѣщенія. Обѣщаніе разрѣшить изданіе просимой газеты могло навести на мысль, что предложеніе услугъ со стороны лучшихъ литературныхъ силъ принято въ настоящемъ значеніи. Оставалось только съ пріятными надеждами и разсчетами ждать исполненія обѣщанія. Но Пушкинъ - поэтъ предупредилъ Пушкина - журналиста. Поэтъ не ждетъ позволенія, а высказывается въ минуту, когда созрѣла его творческая дума. Въ августѣ мѣсяцѣ онъ написалъ одно за другимъ два политическія стихотворенія, „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинская годовщина“ [1]), на одну и ту же тему, какъ отвѣтъ на клевету, брань и оскорбленія, вызванныя противъ Россіи стремле-

[1]) Оба эти стихотворенія, вмѣстѣ со стихами Жуковскаго на ту же тему, были напечатаны тогда же въ одной брошюрѣ, озаглавленной «На взятіе Варшавы». 1831 г.

ніями, возбужденными за границею польскимъ возстаніемъ. Все это произносилось въ парламентахъ и палатахъ, печаталось въ иностранныхъ газетахъ. Патріотическое чувство русскаго поэта было сильно оскорблено; но, несмотря на страстность своей рѣчи, онъ не смѣшиваетъ двухъ вопросовъ: вопроса о польской самостоятельности и вопроса о правѣ западныхъ народовъ подчинить Россію своей волѣ и своимъ требованіямъ. Въ вопросѣ о Польшѣ онъ противополагаетъ теоретическому принципу національности, во имя котораго на Западѣ такъ горячо вступались за Польшу, принципъ чисто историческій. По его взгляду, въ этой польско-русской борьбѣ вопросъ идетъ не о раздѣленіи національностей, а о сліяніи ихъ въ одно славянское тѣло, слѣдственно, разрѣшается вопросъ славянскій и вопросъ не новый; цѣлые вѣка считаются кровью эти два близкія родственныя племени, и семейная, а не національная, вражда ихъ можетъ разрѣшиться только исторически, въ будущемъ. Что же касается второго вопроса, то онъ легко можетъ разрѣшиться только силою оружія. Здѣсь поэтъ, съ гордостью указывая на испытанную русскую силу и на недавнее значеніе русскаго народа въ дѣлѣ освобожденія Европы, вызываетъ грозныхъ оскорбителей рѣшить поднятый вопросъ въ открытомъ, честномъ бою. Въ „Бородинской годовщинѣ“, написанной послѣ взятія Варшавы, торжествующій голосъ поэта относится все къ тѣмъ же „легкоязычнымъ витіямъ“, а не къ падшему народу:

Въ бореньи падшій невредимъ,
Враговъ мы въ прахѣ не топтали...
И не услышатъ пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Вотъ одно изъ добрыхъ чувствъ, которыя поэтъ пробуждалъ въ народѣ своей лирой.

При томъ пробужденномъ состояніи, въ которомъ находилось русское общество, стихотворенія Пушкина произвели сильное впечатлѣніе: они удовлетворяли оскорбленному патріотизму общества и въ то же время облегчали его, выясняя ему настоящее политическое отношеніе Россіи къ Польшѣ и западнымъ государствамъ. Не могли не понравиться они и правительству, которое, какъ они выставляли, исполняло историческую задачу русскаго народа. Можетъ быть, это обстоятельство ускорило исполненіе просьбы Пушкина о чинѣ. Онъ былъ причисленъ къ тому же министерству, при которомъ состоялъ и прежде, несмотря на то, что начальственныя лица въ этомъ вѣдомствѣ, вѣроятно по злой памяти, отписывались неимѣніемъ вакансій. Опредѣленный сверхъ штата, онъ получилъ особенную милость—пять тысячъ рублей ежегоднаго жалованья, что̀ уже было для него совершенно неожиданно и очень кстати при ограниченныхъ и невѣрныхъ его средствахъ.

Такимъ образомъ, вступая понемногу въ общую колею, внѣ которой, по собственному сознанію Пушкина, нѣтъ счастія, и предлагая свой талантъ на службу правительству, онъ все же не столько измѣнился, сколько это могло казаться другимъ.

Онъ только сдѣлался практичнѣе, убѣдившись, что одинъ въ полѣ не воинъ; онъ сталъ болѣе на историческую почву, отказавшись отъ прежнихъ теоретическихъ воззрѣній на жизнь. Но онъ остался при своихъ честныхъ гражданскихъ убѣжденіяхъ, которыя вызывали его служить дѣлу общенародному; а оно отождествлялось въ то время съ дѣломъ государственнымъ. Служить же узкимъ полицейскимъ выгодамъ, которыя тогда рѣзко выдавались впередъ передъ всѣмъ народно-государственными интересами, Пушкину никогда не могло придти въ голову. У насъ есть интересная статья его о Радищевѣ, написанная съ видимымъ намѣреніемъ высказать, въ какія отношенія онъ, какъ журналистъ, станетъ къ правительству. Въ ней онъ осуждаетъ не убѣжденія Радищева, а его поступокъ (безцензурное изданіе книги „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву"), который называетъ ничѣмъ не извиняемымъ преступленіемъ. Въ то же время онъ удивляется его необыкновенному духу, его самоотверженію и какой-то рыцарской совѣстливости. Здѣсь же Пушкинъ отрекается отъ тѣхъ идей, которыя въ ранней юности увлекали его самого. Такъ, коснувшись книги французскаго философа XVIII столѣтія Гельвеція „О разумѣ", которую изучалъ Радищевъ съ товарищами въ Лейпцигѣ, онъ прибавляетъ: „Теперь было бы для насъ непонятно, какимъ образомъ холодный и сухой Гельвецій могъ сдѣлаться любимцемъ молодыхъ людей, пылкихъ и чувствительныхъ, если бы мы, по несчастію, не знали, какъ соблазнитель-

ны для развивающихся умовъ мысли и правила новыя, отвергаемыя закономъ и преданіями. Намъ уже слишкомъ извѣстна французская философія XVIII столѣтія; она разсмотрѣна со всѣхъ сторонъ и оцѣнена. То, что̀ нѣкогда слыло скрытнымъ ученіемъ гіерофантовъ, было потомъ обнародовано, проповѣдано на площадяхъ и на вѣкъ утратило прелесть таинственности и новизны. Другія мысли, столь же дѣтскія, другія мечты, столь же несбыточныя, замѣнили мысли и мечты учениковъ Дидерота и Руссо... въ свою очередь, онѣ замѣнятся другими". Здѣсь же мы видимъ, что историческій взглядъ на прошедшее, усвоенный Пушкинымъ, измѣнилъ и взглядъ его на царствованіе Александра I. Заслугу его онъ видитъ въ томъ, что онъ умѣлъ уважать человѣчество, благодаря чему двадцатипятилѣтнимъ его царствованіемъ смягчилась прежняя строгость законовъ.

Но вотъ тѣ строки, по поводу которыхъ мы и обратились къ статьѣ о Радищевѣ: „Радищевъ, говоритъ Пушкинъ, какъ будто старается раздражить верховную власть своимъ горькимъ злорѣчіемъ: не лучше ли было бы указать на благо, которое она въ состояніи сотворить? Онъ поноситъ власть господъ, какъ явное беззаконіе: не лучше ли было представить правительству и умнымъ помѣщикамъ способы къ постепенному улучшенію состоянія крестьянъ? Онъ злится на цензуру: не лучше ли было бы потолковать о правилахъ, коими долженъ руководствоваться законодатель, дабы, съ одной стороны,

сословіе писателей не было притѣснено, и мысль, священный даръ Божій, не была бы рабой и жертвою безсмысленной и своенравной управы, а съ другой—чтобъ писатель не употреблялъ сего божественнаго орудія къ достиженію цѣли низкой или преступной. Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо правительство не только не пренебрегало писателями и ихъ не притѣсняло, но еще требовало ихъ соучастія, вызывало на дѣятельность, вслушивалось въ ихъ сужденія, принимало ихъ совѣты, чувствовало нужду въ содѣйствіи людей просвѣщенныхъ и мыслящихъ, не пугаясь ихъ смѣлости и не оскорбляясь ихъ искренностью“ [1]).

Нельзя не видѣть настоящей цѣли, съ какой написаны эти строки. Изъ нихъ само собою вытекало слѣдующее заключеніе: правительство, которое поступаетъ иначе, даетъ оправданіе Радищевымъ въ ихъ противозаконныхъ поступкахъ. Изъ всего этого мы убѣждаемся, что Пушкинъ, отрекаясь отъ нѣкоторыхъ своихъ прежнихъ взглядовъ, не отрекался отъ своей личности, т.-е. отъ свободы своей мысли. Какъ бы въ отвѣтъ людямъ, которые упрекали его въ измѣнѣ убѣжденіямъ, онъ говоритъ въ защиту Радищева, устраняя отъ

[1]) «Нѣсколько благоразумныхъ мыслей, прибавляетъ Пушкинъ, нѣсколько благонамѣренныхъ предположеній Радищева принесли бы истинную пользу, будучи представлены съ большей искренностью и благословленіемъ; ибо нѣтъ убѣдительности въ поношеніяхъ и нѣтъ истины, гдѣ нѣтъ любви».

него укоръ въ слабости и непостоянствѣ характера: „Время измѣняетъ человѣка какъ въ физическомъ, такъ и въ духовномъ отношеніи. Мужъ со вздохомъ иль съ улыбкою отвергаетъ мечты, волновавшія юношу. Моложавыя мысли, какъ и моложавое лицо, всегда имѣютъ что-то странное и смѣшное. Глупецъ одинъ не измѣняется, ибо время не приноситъ ему развитія, а опыты для него не существуютъ".

Такимъ образомъ Пушкинъ выяснялъ себѣ свое гражданское положеніе, не дѣлая никакихъ сдѣлокъ съ своей совѣстью. Въ этомъ случаѣ онъ чистъ отъ всякихъ упрековъ, которыми разные завистники и недоброжелатели хотѣли уронить его.

Съ помощью пріятелей онъ получилъ, наконецъ, опредѣленное общественное положеніе: его привязывали къ дѣлу, прикрѣпляли къ мѣсту. Другой вопросъ: выигралъ ли отъ этого поэтъ? Всѣ думали, не исключая и самого Пушкина, что онъ остался въ своей сферѣ, какъ литераторъ: онъ будетъ заниматься журналомъ, будетъ писать исторію; никакая посторонняя служба не будетъ отвлекать его. Но дѣло въ томъ, что всѣ ошибались на словѣ, подводя поэзію вмѣстѣ съ исторіей и публицистикой подъ одно слово „литература". Дѣлаясь присяжнымъ журналистомъ и историкомъ, Пушкинъ отвлекался отъ своего настоящаго призванія поэта-художника, хотя ему и казалось, что онъ остается себѣ вѣренъ. Друзья радовались за него и за русскую литературу, ко-

торой недоставало честнаго политическаго и критическаго журнала. Они возлагали на его будущій журналъ большую надежду [1]). Но они считали Бенкендорфа лучше, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Они представляли его государственнымъ человѣкомъ, способнымъ понимать истинныя нужды тогдашняго общества, тогда какъ онъ оказался не выше обыкновеннаго, склоннаго къ подозрѣніямъ жандарма, которому казалось опаснымъ соединять людей съ дарованіями, да еще во имя вреднаго просвѣщенія; гораздо спокойнѣе для него было держать ихъ съ зажатыми ртами и въ подозрѣніи. Онъ наконецъ разрѣшилъ Пушкину газету, вѣроятно, уступая давленію или просьбамъ разныхъ уважаемыхъ лицъ, но тотчасъ же далъ ему замѣтить, что онъ остается все въ тѣхъ же полицейскихъ тискахъ. Онъ придрался къ альманаху „Сѣверные Цвѣты“ [2]) на 1832 годъ, изданному

[1]) Князь Вяземскій писалъ въ Москву къ Дмитріеву: «Молодой или будущій газетчикъ занятъ своею беременностью. Тяжелый подвигъ, особенно при недостаткѣ сотрудниковъ. Пришлите что-нибудь новорожденному на зубокъ... Благословите его на новое поприще. Авось съ легкой руки вашей одержитъ онъ побѣду надъ врагами ада, т.-е. «Телеграфа», зажметъ ротъ «Пчелѣ» и прочиститъ стекла «Телескопу». Новостей политическихъ и литературныхъ сообщать вамъ нечего, если и есть онѣ... Царь и Пушкинъ у васъ (въ сентябрѣ 1832 г.)—политика и литература воцаренныя».

Князь Одоевскій также думалъ принять дѣятельное участіе въ журнальныхъ трудахъ Пушкина.

[2]) Дельвигъ нѣсколько лѣтъ издавалъ этотъ альманахъ, въ которомъ и Пушкинъ принималъ дѣятельное участіе.

Пушкинымъ въ пользу семейства покойнаго Дельвига. Тамъ между прочимъ было напечатано стихотвореніе Пушкина „Древо яда“ [1]) (Анчаръ). О немъ-то и былъ сдѣланъ строгій запросъ отъ шефа жандармовъ—почему оно явилось въ печати безъ предварительнаго разрѣшенія государя, при чемъ поэта грубо и несправедливо упрекали въ томъ, что онъ измѣнилъ принятымъ на себя обязательствамъ, нарушилъ честное слово, обманулъ. Крайне оскорбило Пушкина такое жандармское обращеніе, и онъ рѣшился объяснить, во что полицейская власть для него обращаетъ милость государя. „Я всегда твердо былъ увѣренъ, писалъ онъ въ отвѣтъ, что высочайшая милость, коей нежданно я былъ удостоенъ, не лишаетъ меня и права, даннаго государемъ всѣмъ его подданнымъ, печатать съ дозволенія цензуры. Въ теченіе послѣднихъ шести лѣтъ во всѣхъ журналахъ и альманахахъ печатались съ вѣдома моего и безъ вѣдома мои стихотворенія безпрепятственно, и никогда не было о томъ ни малѣйшаго замѣчанія ни мнѣ, ни цензурѣ“.

Послѣ того Пушкинъ упалъ духомъ. Онъ хорошо понялъ, что ему данъ косвенный намекъ,

---

[1]) Въ этой книжкѣ напечатаны слѣдующія произведенія Пушкина: «Моцартъ и Сальери», антологическія эпиграммы («Царскосельская статуя», «Отрокъ», «Риѳма», «Трудъ»), «Эхо», «Делибашъ», «Анчаръ», «Бѣсы», «Дорожныя жалобы». Въ книжкѣ на 1831 годъ, изданной Дельвигомъ: «Поэту», «Отвѣтъ анониму», «Монастырь на Казбекѣ», «На холмахъ Грузіи», «Обвалъ».

хотя и въ грубой формѣ, на неудовольствіе его полицейскаго начальства за мысль стихотворенія Анчаръ. Но въ такомъ случаѣ какихъ же современныхъ политическихъ вопросовъ можно было касаться въ газетѣ, безъ риска натолкнуться на оскорбленія, еще болѣе чувствительныя, а, можетъ быть, и на запрещеніе газеты по первымъ же нумерамъ? Передъ глазами былъ примѣръ очень наглядный: въ этомъ же году былъ запрещенъ на второмъ нумерѣ новый ежемѣсячный журналъ „Европеецъ“, который началъ издавать въ Москвѣ возвратившійся изъ-за границы молодой ученый, Кирѣевскій старшій. Бенкендорфу не понравилось нѣсколько строкъ противъ нѣмцевъ, которыхъ онъ былъ, конечно, естественнымъ защитникомъ. Не помогли и всѣ хлопоты Жуковскаго [1]). Въ виду всего этого Пушкину оставалось уступить безъ

[1]) По этому поводу князь Вяземскій иронически писалъ въ Москву къ Дмитріеву: «Извѣстно, что въ числѣ коренныхъ государственныхъ узаконеній нашихъ есть и то, хотя не объявленное правительствующимъ сенатомъ, что никто не можетъ въ Россіи издавать политическую газету, кромѣ Греча и Булгарина. Они одни—люди надежные и достойные довѣренности правительства; всѣ прочіе, кромѣ единаго Полевого, злоумышленники. Вы вѣрно пожалѣли о прекращеніи «Европейца», послѣдовавшемъ, вѣроятно, также въ силу вышеупомянутаго узаконенія. Всѣ усилія благонамѣренныхъ и здравомыслящихъ людей, желавшихъ доказать, что въ книжкѣ «Европейца» нѣтъ ничего революціоннаго, остались безуспѣшны. Въ напечатанномъ, конечно, нѣтъ ничего возмутительнаго, говорили въ отвѣтъ, но тутъ надобно читать то, что́ не напечатано, и вы тогда ясно увидите злые умыслы и революцію какъ на ладони». Противъ такой логики спорить нечего».

боя Булгарину и компаніи и отказаться отъ изданія, къ общему огорченію своихъ пріятелей.

Переживъ холеру въ Царскомъ Селѣ, Пушкинъ на зиму переселился въ Петербургъ. Здѣсь ему предстояла задача ввести свою молодую жену въ большой свѣтъ, сдѣлать ее участницею всѣхъ великосвѣтскихъ развлеченій и устроить свою жизнь согласно съ обычаями и тономъ этого свѣта.

Наталья Николаевна, воспитанная по-московски, исключительно для свѣтской жизни, веселая, склонная къ развлеченіямъ, была замѣчена при дворѣ, какъ красавица, и вошла, по выраженію ея мужа, въ большую моду. Пушкинъ долженъ былъ ей сопутствовать на балы, рауты, собранія, вечера, спектакли и скучать среди шумнаго или чопорнаго многолюдства. Но онъ безропотно жертвовалъ собою для жены. Онъ тщеславился ея красотою, какъ артистъ, и былъ доволенъ, видя ее веселою, танцующею посреди толпы обожателей, возбуждающею зависть въ аристократическихъ дамахъ. Иногда онъ слегка упрекалъ ее въ кокетствѣ, но самъ же и поддерживалъ его, разсказывая ей о славѣ отъ ея красоты въ Москвѣ и въ провинціи. Онъ поощрялъ ея страсть къ свѣтскимъ удовольствіямъ, говоря: „будь молода, потому что ты молода, и царствуй, потому что ты прекрасна“.

Но Пушкинъ не могъ не чувствовать, что положеніе его въ свѣтскомъ обществѣ было двусмысленно. Его ласкали государь и всѣ члены царской семьи, при всякомъ случаѣ выказывали ему особенное

вниманіе, — ему, не отличенному никакими знаками внѣшнихъ отличій, въ обыкновенномъ дворянскомъ мундирѣ или въ штатскомъ фракѣ. А между тѣмъ такихъ вниманій не удостоивались лица, украшенныя лентами, изъ блестящей толпы. Они не понимали заслугъ поэта и ставили свою службу выше какого бы ни было стихотворства. Зависть, злоба, недоброжелательство шипѣли вокругъ поэта. Все это онъ понималъ очень хорошо, видѣлъ, какъ зорко слѣдятъ за нимъ, чтобы уловить каждую его неосторожность, каждую неловкость или легкомысліе его жены, чтобы сдѣлать ихъ предметомъ сплетенъ. Приходилось поэту стать на стражѣ своего добраго имени, семейной чести, покоя, и мысль его напрягается въ этомъ направленіи и постоянно тревожитъ его нервы. Изъ его писемъ къ женѣ мы видимъ, въ какомъ тревожномъ настроеніи онъ находился, когда оставлялъ ее одну въ этомъ обществѣ, склонномъ ко всякимъ сплетнямъ, какъ онъ дорожилъ своимъ семейнымъ покоемъ, въ которомъ только и думалъ найти себѣ счастіе, какъ боялся, чтобы молодая женщина своею неопытностью и незнаніемъ людей не подала поводъ къ различнымъ свѣтскимъ пересудамъ. Иногда онъ строго и съ досадой относится къ ней, но вмѣстѣ съ тѣмъ сколько любви высказывается въ его совѣтахъ и предостереженіяхъ. „Хоть я въ тебѣ и увѣренъ, писалъ онъ въ первую свою отлучку, но не должно свѣту подавать поводъ къ сплетнямъ“... „Кокетничать я тебѣ не мѣшаю, но требую отъ тебя холодности, благопристойности,

важности, не говорю уже о безпорочности поведенія, которое относится не къ тому, а къ чему-то уже важнѣйшему"... „Кокетство не въ модѣ и почитается признаками дурного тона. Въ немъ толку мало... Я не ревнивъ, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, какъ я не люблю все, что́ пахнетъ московской барышнею, все, что́ не comme il faut, vulgar... Если при моемъ возвращеніи я найду, что твой милый, простой аристократическій тонъ измѣнился, разведусь, вотъ те Христосъ, и пойду въ солдаты съ горя... Кокетство ни къ чему доброму не ведетъ, и хоть оно имѣетъ свои пріятности, но ни что такъ скоро не лишаетъ молодой женщины того, безъ чего нѣтъ ни семейственнаго благополучія, ни спокойствія въ отношеніяхъ къ свѣту: уваженія.

„Женка, женка! я ѣзжу по большимъ дорогамъ, живу по 3 мѣсяца въ степной глуши [1]), останавливаюсь въ пакостной Москвѣ, которую ненавижу—для чего? Для тебя, женка, чтобъ ты была спокойна и блистала себѣ на здоровье, какъ прилично въ твои лѣта и съ твоею красотою. Побереги же и ты меня! Къ хлопотамъ, неразлучнымъ съ жизнью мужчины, не прибавляй безпокойствъ семейственныхъ, ревности etc."...

Всѣ эти увѣщанія и предостереженія вызывались откровенными письмами его жены, которая

---

[1]) 1833 г. осенью Пушкинъ ѣздилъ въ Оренбургъ, съ цѣлью дополнить матеріалы для Исторіи Пугачевскаго бунта и Капитанской дочки.

описывала свои выѣзды въ свѣтъ и свои встрѣчи съ разными лицами и которая, какъ видно, любила трунить надъ мужемъ, выставляя свое кокетство. Но не ревность, какъ иные хотятъ видѣть, а боязнь свѣтскихъ сплетенъ вызывала съ его стороны эти рѣчи. Зато какъ болѣзненно отозвалось въ его сердцѣ, когда онъ въ 1834 г. узналъ, что тайна семейной его переписки нарушается почтою, которая распечатывала его письма, разумѣется, по распоряженію заботливаго опекуна его [1]). Почта „распечатала письмо мужа къ женѣ, писалъ онъ, тайна семейственныхъ сношеній проникнута скверным и безчестнымъ образомъ... Никто не дол-

[1]) Въ сентябрьской и октябрьской книжкахъ «Русской Старины» 1880 г. разсказывается фактъ, относящійся къ этому времени. Письмо Пушкина къ женѣ, приведенное далѣе, гдѣ онъ рѣзко выражается о трехъ царяхъ, было перехвачено въ Москвѣ почтъ-директоромъ Булгаковымъ и въ копіи отправлено въ III отдѣленіе, къ графу Бенкендорфу. Шефъ жандармовъ передалъ его своему секретарю Миллеру, бывшему лицеисту, приказывая положить въ ящикъ, въ тотъ отдѣлъ бумагъ, съ которыми онъ отправлялся съ докладомъ къ государю. Но Миллеръ, узнавъ о бѣдѣ, грозящей Пушкину, переложилъ письмо изъ одного отдѣла въ другой, въ надеждѣ на забывчивость Бенкендорфа. Эта надежда оправдалась. Пушкину также сообщили о томъ, чтобы онъ принялъ свои мѣры. Но никакихъ дурныхъ послѣдствій ему не пришлось испытать. Только въ слѣдующемъ письмѣ къ женѣ онъ выбранилъ Булгакова свойственными ему сильными выраженіями, предполагая, что почтъ-директоръ полюбопытствуетъ прочитать и это письмо. Онъ не обманулся: оказалось, что письмо не дошло по выписанному адресу, значитъ, достигло цѣли; но въ III отдѣленіе не было переслано.

женъ знать, что̀ можетъ происходить между нами; никто не долженъ быть принятъ въ нашу спальню. Безъ тайны нѣтъ семейственной жизни"... „Я не писалъ тебѣ, замѣчаетъ онъ въ другомъ письмѣ, потому что свинство почты такъ меня охолодило, что я пера въ руки взять былъ не въ силѣ. Мысль, что кто-нибудь насъ съ тобой подслушиваетъ, приводитъ меня въ бѣшенство à la lettre. Безъ политической свободы жить очень можно; безъ семейственной неприкосновенности невозможно. Каторга не въ примѣръ лучше"... „Будь осторожна, вѣроятно, и твои письма распечатываютъ: этого требуетъ государственная безопасность".

Не всякому легко переживать мысль, что люди нахально вторгаются въ его семейную бесѣду и насильно дѣлаются нежеланными свидѣтелями объясненій мужа съ женою. И все это нужно было молча переносить и только про себя проклинать жизнь при такихъ условіяхъ.

Одною изъ большихъ непріятностей для Пушкина было производство его въ камеръ-юнкера на новый 1834 годъ. Мы не знаемъ, врагу или другу пришла мысль связать его оффиціально съ дворомъ и, сдѣлавъ обыкновеннымъ придворнымъ чиновникомъ, вывести его изъ этого исключительнаго, но почетнаго положенія, въ какомъ онъ до того являлся между царедворцами. По свидѣтельству графа Соллогуба [1]), кому-то нужно было, чтобы жена его приглашалась на придворные балы. Какъ бы

[1]) «Русскій Архивъ» 1865 г.

то ни было, но Пушкинъ видѣлъ въ этомъ униженіе, хотя и долженъ былъ скрыть свое чувство. „Конечно, сдѣлавъ меня камеръ-юнкеромъ, — писалъ онъ Нащокину [1]),—государь думалъ о моемъ чинѣ, а не моихъ лѣтахъ, и вѣрно не думалъ ужъ меня кольнуть". А по словамъ князя Вяземскаго; ему казалось неприличнымъ, что въ его лѣта, посреди его поприща дѣлали его камеръ-юнкеромъ, словно какого-то юношу и новичка въ общественномъ кругу. Когда великій князь Михаилъ Павловичъ поздравлялъ Пушкина, онъ отвѣтилъ: „вы, ваше высочество, одни меня поздравляете, а всѣ надо мной смѣются". Понятно, какъ поэтъ долженъ былъ относиться къ своей камеръ-юнкерской службѣ. „Третьяго дня, — писалъ онъ въ тотъ же годъ на Святой недѣлѣ къ женѣ [2]), — возвратился я изъ Царскаго Села, нашелъ на своемъ столѣ приглашеніе явиться на другой день къ Литтѣ; я догадался, что онъ собирается мыть мнѣ голову за то, что я не былъ у обѣдни. Въ самомъ дѣлѣ, въ тотъ же вечеръ узнаю отъ забѣжавшаго ко мнѣ Жуковскаго, что государь былъ недоволенъ отсутствіемъ многихъ камерге-

---

[1]) Москвичъ Павелъ Воиновичъ Нащокинъ былъ въ большой дружбѣ съ Пушкинымъ, который всегда останавливался въ его квартирѣ, когда пріѣзжалъ въ Москву, и часто пользовался его совѣтами въ устройствѣ своихъ денежныхъ дѣлъ. Изъ ихъ переписки мы узнаемъ разныя подробности о петербургской жизни Пушкина.

[2]) Онъ отправилъ на весну и на лѣто свое семейство къ роднымъ въ деревню, въ Калужскую губернію.

ровъ и камеръ-юнкеровъ и что онъ велѣлъ намъ это объявить... Я извинился письменно [1]). Говорятъ, что мы будемъ ходить попарно, какъ институтки. Вообрази, что мнѣ съ моей сѣдой бородкой придется выступать съ Безобразовымъ"... [2]). Въ слѣдующемъ письмѣ Пушкинъ пишетъ: „репортуюсь больнымъ: боюсь царя встрѣтить. Къ наслѣднику являться съ поздравленіями и привѣтствіями не буду: царство его впереди, и мнѣ, вѣроятно, его не видать. Видѣлъ я трехъ царей: первый велѣлъ снять съ меня картузъ [3]) и пожурилъ за меня мою няньку; второй меня не жаловалъ; третій хоть и упекъ меня въ камеръ-пажи подъ старость лѣтъ, но промѣнять его на четвертаго не желаю: отъ добра добра не ищутъ. Посмотримъ, какъ-то нашъ Сашка (сынъ) будетъ ладить съ... [4]), съ моимъ тезкой я не ладилъ. Не дай Богъ

---

[1]) Изъ записной книжки Пушкина видно, что онъ ѣздилъ провожать жену до Ижоры черезъ Царское Село. «Я догадался, читаемъ тамъ, что дѣло идетъ о томъ, что я не явился въ придворную церковь ни къ вечернѣ въ субботу, ни къ обѣднѣ въ Вербное воскресенье»... Государь сказалъ: «если имъ тяжело выполнять свои обязанности, то я найду средство ихъ избавить». (Русск. Арх. 1880 г. № 2).

[2]) Здѣсь Пушкинъ намекаетъ на тѣхъ юношей камеръ-юнкеровъ, которыхъ онъ долженъ былъ считать своими товарищами.

[3]) Императоръ Павелъ встрѣтилъ младенца Пушкина въ Юсуповомъ саду. Пушкинъ впослѣдствіи говорилъ въ шутку, что сношенія его съ дворомъ начались при императорѣ Павлѣ.

[4]) Пропускъ въ печати въ «Вѣст. Европы» 1878 г.

ему идти по моимъ слѣдамъ—писать стихи да ссориться съ царями. Въ стихахъ онъ отца не перещеголяетъ, а плетью обуха не перешибетъ"... Въ насмѣшку Пушкинъ называлъ и свою жену камеръ-пажихой, а когда приходилось надѣвать ему камеръ-юнкерскій мундиръ, онъ чувствовалъ себя въ дурномъ расположеніи духа и всегда старался найти предлогъ уѣхать изъ Петербурга за нѣсколько дней до всякой придворной церемоніи, гдѣ предполагалось участіе камеръ-юнкеровъ. Все это показываетъ, какъ несправедливы были къ нему нѣкоторые изъ его прежнихъ критиковъ и біографовъ, которые ставили ему въ укоръ, будто бы онъ изъ мелкаго честолюбія самъ добивался камеръ-юнкерства.

Чтобъ поддерживать достойнымъ образомъ придворную и великосвѣтскую жизнь, нужно было очень много денегъ, иначе приходилось бы выносить униженія и насмѣшки, чего не могъ допустить Пушкинъ. „Женясь, я думалъ издерживать втрое противъ прежняго -- вышло вдесятеро", — писалъ онъ Нащокину, еще въ первый годъ своей женатой жизни, изъ Царскаго Села, гдѣ онъ хотѣлъ жить „потихоньку, безъ тещи, безъ экипажа, слѣдственно безъ большихъ расходовъ и безъ сплетенъ". Но петербургская жизнь потребовала еще бо̀льшаго. „Кружусь въ свѣтѣ, — писалъ онъ изъ Петербурга тому же лицу; — жена моя въ большой модѣ; все это требуетъ денегъ, деньги достаются мнѣ черезъ труды, а труды требуютъ уединенія". Вотъ этого-то уединенія и недоставало

нашему поэту. „Нѣтъ у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя!“ — восклицалъ онъ въ заботахъ о добываніи денегъ. Все, что̀ онъ получилъ отъ изданія своихъ прежнихъ трудовъ — Бориса Годунова, повѣстей Бѣлкина, собранія мелкихъ стихотвореній, Евгенія Онѣгина — суммы не маленькія, все это пошло на прожитіе, и приходилось дѣлать долги десятками тысячъ. Понятно, что при такихъ заботахъ трудно было поэту отдаться свободному творчеству, невозможно было задумать какой-нибудь большой поэтическій трудъ, хотя геній его крѣпъ все болѣе и болѣе, что̀ мы ясно видимъ въ его мелкихъ произведеніяхъ. Но, перебирая и эти послѣднія за пять лѣтъ, находимъ очень немного близкихъ къ жизни поэта или къ жизни русской; большая же часть — переводъ или подражаніе иностраннымъ поэтамъ, и древнимъ и новымъ. И между ними какъ болѣзненно звучитъ стихотвореніе „Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума“, свидѣтельствующее, какія тяжкія минуты переживалъ поэтъ и какой матеріалъ жизнь давала его фантазіи. Не служитъ ли это доказательствомъ, какъ стѣснялась поэтическая его сфера и какой гнетъ чувствовалъ онъ отъ всякихъ надзоровъ и полицейскихъ подозрѣній? На эту мысль наводитъ и множество начатыхъ и тотчасъ же брошенныхъ повѣстей, разсказовъ, романовъ, изъ которыхъ иные должны были глубоко затрогивать жизнь русскаго общества. Пушкина съ первыхъ же страницъ не могла не охлаждать мысль, что не стоитъ тратить времени на трудъ,

который не допустятъ къ печати и который не дастъ ему ничего въ заботахъ объ удовлетвореніи матеріальныхъ потребностей жизни. Какъ было предаться свободному творчеству безъ разсчета на производительность труда, когда мысль о большихъ текущихъ расходахъ, о долгахъ, объ уплатѣ процентовъ не давала ему покоя. Правда, большой историческій трудъ, взятый имъ на себя, какъ исторія Петра Великаго, могъ ему обѣщать большіе доходы, но это не былъ трудъ поэтическій, не работа фантазіи, которая была потребностью творческой его души, и притомъ конецъ его былъ въ далекомъ будущемъ; а между тѣмъ настоящее представляло столько житейскихъ нуждъ, которыя необходимо было удовлетворять. Прилежно Пушкинъ посѣщалъ архивы, разбиралъ историческіе матеріалы, дѣлалъ выписки; это былъ по крайней мѣрѣ трудъ, который можно было вести во всякомъ настроеніи духа. Но долго онъ не выдерживалъ такой работы. Онъ думалъ о вольной, независимой жизни вдали отъ столицы и пользовался всякимъ случаемъ, чтобы хоть на короткое время оставить Петербургъ и отдаться творчеству. „Путешествіе нужно мнѣ нравственно и физически“,—писалъ онъ Нащокину. „Нѣтъ ничего благоразумнѣе,— читаемъ въ его письмѣ къ Осиповой,— какъ жить въ своей деревнѣ и поливать свою капусту, это старая истина, которую я ежедневно повторяю среди свѣтской и безпорядочной жизни... Петербургъ не по мнѣ: ни мои наклонности, ни мое состояніе не соотвѣтствуютъ петербургской жизни“.

Въ своихъ архивныхъ разысканіяхъ Пушкинъ напалъ на матеріалы, относящіеся къ пугачевщинѣ. Обработка ихъ не требовала многаго времени, а интересъ эпохи обѣщалъ хорошія деньги за трудъ. Съ этимъ вмѣстѣ его фантазія находитъ матеріалъ для историческаго романа, которому не могла грозить опасность остаться подъ запрещеніемъ. Но обрабатывать все это при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ приходилось вести жизнь въ Петербургѣ, онъ не находилъ возможности. И вотъ, въ августѣ 1833 года, онъ проситъ дозволенія съѣздить въ свое нижегородское имѣніе и посѣтить Оренбургъ и Казань, гдѣ, онъ надѣялся, еще сохранились въ народѣ преданія о пугачевщинѣ. „Въ продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ,— писалъ онъ въ своемъ прошеніи, — занимался я одними историческими разысканіями. не написавъ ни одной строчки чисто литературной. Мнѣ необходимо мѣсяца два провести въ совершенномъ уединеніи, дабы отдохнуть отъ важнѣйшихъ занятій и кончить книгу, давно мною начатую и которая доставитъ мнѣ деньги, въ коихъ имѣю нужду. Мнѣ самому совѣстно тратить время на суетныя занятія, но они доставляютъ мнѣ способъ жить въ Петербургѣ, гдѣ труды мои, благодаря начальству, имѣютъ цѣль болѣе важную и полезную“. Такимъ языкомъ вынужденъ былъ изъясняться поэтъ съ тѣми, отъ кого зависѣла его судьба и кому не было никакого интереса въ литературѣ. Но и въ путешествіи заботы о житейскихъ нуждахъ смущали усталый духъ Пуш-

кина. „Какъ я глупо сдѣлалъ,—писалъ онъ женѣ изъ Нижняго-Новгорода, — что оставилъ тебя и началъ опять кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя теребятъ за долги: Параша, поваръ, извозчикъ, аптекарь, m-me Sichler [1]) etc., у тебя не хватаетъ денегъ; Смирдинъ [2]) передъ тобой извиняется; ты безпокоишься, сердишься на меня, и по-дѣломъ. А это еще хорошая сторона картины—что, если у тебя опять нарывы, что, если Машка (дочь) больна? А другіе непредвидѣнные случаи? Пугачевъ не стоитъ этого: того и гляди, я на него плюну и явлюсь къ тебѣ". Въ путешествіи по Россіи Пушкинъ могъ убѣдиться, что въ ней есть еще другая публика, кромѣ большого свѣта и завистливыхъ, своекорыстныхъ журналистовъ, публика, которая умѣетъ цѣнить его и гордиться имъ. Побывавъ въ Казани, Симбирскѣ, Оренбургѣ, гдѣ его принимали какъ отечественную славу, онъ пріѣхалъ въ Болдино съ цѣлью заняться обработкою накопившихся матеріаловъ; но и здѣсь ужъ такъ не работалось, какъ прежде. „Не стращай меня,—писалъ онъ женѣ,—не говори, что ты искокетничалась; я пріѣду къ тебѣ, ничего не успѣвъ написать, а безъ денегъ сядемъ на мель. Ты лучше оставь ужъ меня въ покоѣ, а я буду работать и спѣшить. Вотъ ужъ недѣлю, какъ я въ Болдинѣ, привожу въ порядокъ мои

---

[1]) Извѣстная модистка въ Петербургѣ.

[2]) Книгопродавецъ, который купилъ у Пушкина право изданія его стихотвореній.

записки о Пугачевѣ, а стихи пока еще спятъ. Коли царь позволитъ мнѣ записки [1]), то у насъ будетъ тысячъ тридцать чистыхъ денегъ. Заплатимъ половину долговъ и заживемъ припѣваючи". Черезъ двѣ недѣли Пушкинъ снова извѣщалъ жену: „О себѣ тебѣ скажу, что я работаю лѣниво, черезъ пень колоду валю. Всѣ эти дни голова болѣла, хандра грызла меня. Нынче легче. Началъ много, но ни къ чему нѣтъ охоты. Богъ знаетъ, что со мною дѣлается... Но не жди меня прежде конца ноября; не хочу къ тебѣ съ пустыми руками явиться; взялся за гужъ, не скажу, что не дюжъ. А ты не брани меня".

Изъ Болдина Пушкинъ возвратился съ оконченной Исторіей Пугачевскаго бунта. Государь разрѣшилъ печатать ее въ казенной типографіи и далъ на изданіе двадцать тысячъ рублей. Авторъ ея не обманулся въ своемъ разсчетѣ и въ самомъ дѣлѣ получилъ большія деньги съ этого изданія. „Каково время? — писалъ онъ Нащокину: — Пугачевъ сдѣлался добрымъ исправнымъ плательщикомъ оброка, Емелька Пугачевъ оброчный мой мужикъ! Денегъ онъ мнѣ принесъ довольно, но какъ около двухъ лѣтъ жилъ я въ долгъ, то и ничего не остается у меня за пазухой, и все идетъ на расплату". Такимъ образомъ мысль Пушкина все же не освободилась отъ заботы о деньгахъ. „Мѣдный всадникъ", привезенный Пушкинымъ также изъ Болдина не былъ дозволенъ для пе-

[1]) Записки о Пугачевѣ.

чати. „Убытки и непріятности“, — замѣтилъ онъ по этому случаю въ письмѣ къ Нащокину. Была у него наготовѣ еще повѣсть о Дубровскомъ и Троекуровѣ, гдѣ ярко представлялось помѣщичье самовластіе; но ее онъ и не пытался отдавать въ цензуру, предвидя, что и ее постигнетъ та же участь. Что́ же оставалось дѣлать поэту, какъ не обратиться опять къ тѣмъ же архивамъ для важнѣйшихъ занятій? Но эти занятія, по словамъ г. Анненкова, начинали вносить большое разстройство въ сознаніе Пушкина соображеніемъ, что не вся правда цѣликомъ и при всякомъ случаѣ стояла на сторонѣ грознаго реформатора, а между тѣмъ мѣры, какія онъ принималъ для доставленія торжества своимъ ошибкамъ и погрѣшностямъ, ничуть не уступали въ энергіи и безпощадности мѣрамъ, съ помощью которыхъ онъ осуществлялъ свои великія предначертанія: люди гибли, положенія уничтожались, общество колебалось уже въ пользу явной исторической невозможности... Сквозь призму своего установившагося воззрѣнія на Петра Пушкинъ видѣлъ или думалъ, что видитъ, двойное лицо — геніальнаго созидателя государства и старый восточный типъ бича Божія. Рука Пушкина дрогнула... Онъ искалъ способа изобразить великаго государя, согласно со своимъ собственнымъ пониманіемъ его и не оскорбляя оффиціальнаго міра, ожидавшаго безусловной апоѳеозы преобразователя, для чего собственно и были ему открыты государственные архивы... Большинство публики и весь оффиціальный міръ

ждали отъ поэта просто лучезарнаго лика Петра и, конечно, возмутились бы всякимъ яркимъ пятномъ, которое бы на немъ примѣтили Съ другой стороны, даже и позволеніе на самый осторожный и необходимый, по существу дѣла, вводъ тѣней въ образъ монарха Пушкинъ принужденъ былъ бы покупать цѣною едва внятныхъ намековъ, полуоткровеній, недоговоренныхъ мыслей, что̀ лишило бы его трудъ всякаго наукообразнаго значенія въ глазахъ свѣдущихъ и компетентныхъ судей [1])...

Такимъ образомъ Пушкинъ оказался въ положеніи того бѣднаго захудалаго потомка знаменитыхъ предковъ, Евгенія въ „Мѣдномъ всадникѣ“, который вздумалъ съ укоромъ поднять свой перстъ на образъ народнаго героя. Ему грозило общественное преслѣдованіе, если бы онъ рѣшился не оправдать того идеальнаго образа, передъ которымъ почти набожно преклонялось большинство русскаго общества,—преслѣдованіе, поэтически выразившееся въ повѣсти въ образѣ грознаго „Мѣднаго всадника“.

Въ такомъ тяжеломъ положеніи находился не только поэтъ, но и историкъ, посреди общества, которое въ сознаніи своей стихійной силы не допускало терпимости даже въ научной сферѣ: оно готово было раздавить дерзкаго, который вздумалъ бы не преклониться передъ его кумирами. Отсюда понятно, что охота къ труду не могла находить себѣ поддержки даже въ ожиданіи денежныхъ выгодъ.

---

[1]) «Вѣстникъ Европы». 1880 г. Іюнь.

Ко всѣмъ заботамъ о своихъ собственныхъ дѣлахъ прибавились еще заботы о разстроенномъ состояніи его отца. „Обстоятельства мои затруднились еще вотъ по какому случаю, писалъ Пушкинъ къ Нащокину въ 1834 г.: на дняхъ отецъ мой посылаетъ за мною. Прихожу—нахожу его въ слезахъ, мать въ постели, весь домъ въ ужасномъ безпокойствѣ. Что такое?—Имѣніе описываютъ.—Надо скорѣе заплатить долгъ.—Ужъ долгъ заплаченъ. Вотъ и письмо управителя.—Поѣзжайте въ деревню.—Не съ чѣмъ! Что дѣлать? Надо взять имѣніе въ руки, а отцу назначить содержаніе. Новые долги; новыя хлопоты. А надобно. Я желалъ бы и успокоить старость отца, и устроить дѣла брата Льва, который въ своемъ родѣ художникъ“... Эти слова обнаруживаютъ еще одну прекрасную черту въ характерѣ Пушкина. Любовь къ собственной семьѣ не развила въ немъ эгоизма и не охладила родственнаго чувства къ роднымъ. Несмотря на совѣты жены, Пушкинъ взялъ на свое попеченіе семью своего отца, хотя и не совсѣмъ былъ ею доволенъ. „Ужъ какъ меня теребили, писалъ онъ къ женѣ въ Калугу, вспомнилъ я тебя, мой ангелъ. А дѣлать нечего. Если не взяться за имѣніе, то оно пропадетъ же даромъ. Ольга Сергѣевна и Левъ Сергѣевичъ останутся на подножномъ корму, а придется взять ихъ мнѣ же на руки; тогда-то наплачусь и наплачусь, а имъ горя мало. Меня же будутъ цыганить. Охъ, семья, семья!“

Приходилось Пушкину переносить непріятности

и отъ тещи, которая оскорбляла его еще женихомъ и потомъ старалась очернить его передъ женою и распространяла о немъ разныя сплетни по Москвѣ, называя презрѣннымъ ростовщикомъ и разными оскорбительными именами, и все изъ-за денежныхъ счетовъ, которые она не хотѣла кончить миролюбиво. Можетъ быть, вслѣдствіе всѣхъ ея сплетенъ Нащокинъ, вращавшійся въ большомъ московскомъ свѣтѣ, писалъ Пушкину: „друзей у тебя въ Москвѣ нѣтъ, ибо любятъ тебя бранить". При такихъ отношеніяхъ къ людямъ близкимъ Пушкинъ болѣе всего боялся нарушенія семейнаго покоя, и когда онъ узналъ, что жена его хочетъ привезти изъ Калуги въ Петербургъ своихъ сестеръ, писалъ ей: „мое мнѣніе—семья должна быть одна подъ одной кровлей: мужъ, жена, дѣти, покамѣстъ малы; родители, когда уже престарѣлы; а то хлопотъ не оберешься и семейственнаго спокойствія не будетъ" [1]). Понятно, въ какомъ постоянномъ напряженіи были нервы этой страстной натуры. Муче-

---

[1]) Въ другомъ письмѣ Пушкинъ писалъ: «Охота тебѣ думать о помѣщеніи сестеръ во дворецъ. Во-первыхъ, вѣроятно, откажутъ, а во-вторыхъ, коли и возьмутъ, то подумай, что за скверные толки пойдутъ по свинскому Петербургу. Ты слишкомъ хороша, мой ангелъ, чтобъ пускаться въ просительницы. Погоди, овдовѣешь, постарѣешь—тогда, пожалуй, будь салопницей и титулярной совѣтницей. Мой совѣтъ—тебѣ и сестрамъ быть подалѣ отъ двора. Вы же небогаты... Вы, бабы, не понимаете счастія независимости и готовы закабалить себя навѣки, чтобы только сказали про васъ: hier madame une telle était decidement la plus belle et la mieux mise du bal»...

никомъ представляется онъ намъ въ своей жизни. Въ 1834 году онъ проводилъ весну и лѣто въ Петербургѣ одинъ, безъ семьи, въ которой еще находилъ нѣкоторое успокоеніе. Теперь ему негдѣ было отдыхать и успокаиваться отъ разныхъ волненій и раздражающихъ впечатлѣній. Чувство зависимости и затрудненіе зарабатывать себѣ свободно честнымъ трудомъ необходимыя для жизни деньги приводили его въ сильное волненіе, и у него стала развиваться мысль просить себѣ отставки, бросить Петербургъ и гдѣ-нибудь въ тишинѣ и на свободѣ отдаться труду и творчеству. Въ письмахъ къ женѣ онъ подготовлялъ ее къ этому факту. Мы воспользуемся его выраженіями, чтобы живѣе и ярче представить состояніе его духа: „Дай Богъ тебя мнѣ увидѣть здоровою, дѣтей цѣлыхъ и живыхъ, да плюнуть на Петербургъ, да подать въ отставку, да удрать въ Болдино, да жить бариномъ. Непріятна зависимость, особенно когда лѣтъ двадцать человѣкъ былъ независимъ. Это не упрекъ тебѣ, а ропотъ на самого себя... Хлопоты по имѣнію (отцовскому) меня бѣсятъ: съ твоего позволенія, надобно будетъ, кажется, выйти мнѣ въ отставку и со вздохомъ сложить камеръ-юнкерскій мундиръ, который такъ пріятно льстилъ моему честолюбію и въ которомъ, къ сожалѣнію, не успѣлъ я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я увѣренъ, что тебѣ не труднѣе будетъ исполнить долгъ доброй матери, какъ исполняешь ты долгъ честной и доброй жены. Зависимость и разстройство въ хозяйствѣ ужасны въ се-

мействѣ, и никакіе успѣхи тщеславія не могутъ вознаградить спокойствія и довольства. Ты развѣ думаешь, что свинскій Петербургъ не гадокъ мнѣ, что мнѣ весело въ немъ жить между пасквилями и доносами... Желчь меня такъ и волнуетъ, да отъ желчи здѣсь не убережешься... У меня рѣшительно сплинъ. Скучно жить безъ тебя и не смѣть даже писать тебѣ все, что̀ придетъ на сердце. Ты говоришь о Болдинѣ. Хорошо бы туда засѣсть, да мудрено. Не сердись, жена, и не толкуй моихъ жалобъ въ худую сторону. Никогда не думалъ упрекать тебя въ своей зависимости. Я долженъ былъ на тебѣ жениться потому, что всю жизнь былъ бы безъ тебя несчастливъ; но я не долженъ былъ вступать въ службу и, что́ еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной дѣлаетъ человѣка болѣе нравственнымъ [1]). Зависимость, которую налагаемъ на себя изъ честолюбія или изъ нужды, унижаетъ насъ. Теперь они смотрятъ на меня какъ на холопа, съ которымъ можно имъ поступать, какъ имъ угодно. Опала лучше презрѣнія. Я, какъ Ломоносовъ, не хочу быть шутомъ, ниже у Господа Бога. Но ты

[1]) Къ этому присоединимъ выписку изъ письма Пушкина къ Нащокину, писаннаго уже въ 1835 г. «Мое семейство умножается, растетъ, шумитъ около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать и старости нечего бояться. Холостяку въ свѣтѣ скучно; ему досадно видѣть новыя молодыя поколѣнія; одинъ отецъ семейства смотритъ безъ зависти на молодость его окружающую. Изъ этого слѣдуетъ, что мы хорошо сдѣлали, что женились».

во всемъ не виновата; а виноватъ я изъ добродушія, коимъ я преисполненъ до глупости, несмотря на опыты жизни"... „Здѣсь меня теребятъ и бѣсятъ безъ милости. И мои долги, и чужіе мнѣ покоя не даютъ. Имѣніе разстроено и надобно его поправить, уменьшая расходы, а они обрадовались и на меня насѣли; то то, то другое... Я крѣпко думаю объ отставкѣ. Должно подумать о судьбѣ нашихъ дѣтей. Имѣніе отца, какъ я въ томъ удостовѣрился, разстроено до невозможности, и только строгой экономіей можетъ еще поправиться. Я могу имѣть большія суммы, но мы много и проживаемъ. Умри я сегодня, что съ вами будетъ! Мало утѣшенія въ томъ, что меня похоронятъ въ полосатомъ кафтанѣ и еще на тѣсномъ петербургскомъ кладбищѣ, а не въ церкви на просторѣ, какъ прилично порядочному человѣку. Ты баба умная и добрая. Ты понимаешь необходимость: дай сдѣлаться мнѣ богатымъ—а тамъ, пожалуй, и путать можемъ въ свою голову. ...Я деньги мало люблю, но уважаю въ нихъ единственный способъ благопристойной независимости"...

Въ нѣкоторыхъ письмахъ Пушкинъ пишетъ намеками, конечно изъ опасенія почтовой нескромности: „На того [1]) я пересталъ сердиться, потому что, toute reflexion faite, не онъ виноватъ въ свинствѣ, его окружающемъ... Ухъ, кабы мнѣ удрать на чистый воздухъ. Я передъ тобой кругомъ ви-

[1]) Ясно, что подъ этимъ мѣстоименіемъ разумѣетъ онъ государя.

новать въ отношеніи денежномъ. Были деньги и проигралъ ихъ. Но что дѣлать? Я такъ былъ желченъ, что надобно было развлечься чѣмъ-нибудь. Все тотъ виноватъ; но Богъ съ нимъ; отпустилъ бы меня восвояси!.. Пожалуйста, не требуй отъ меня нѣжныхъ, любовныхъ писемъ. Мысль, что мои письма распечатываются и прочитываются на почтѣ, въ полиціи и такъ далѣе, охлаждаетъ меня, и я поневолѣ сухъ и скученъ. Погоди, въ отставку выйду, тогда переписка нужна не будетъ"...

Когда Пушкинъ писалъ это письмо, мысль оставить службу у него уже приводилась въ исполненіе. Въ концѣ іюня онъ дѣйствительно подалъ прошеніе объ отставкѣ, высказавъ желаніе удержать за собою право посѣщать архивы. Ему сухо отвѣчали, что его величество не желаетъ никого удерживать противъ воли, но что на посѣщеніе архивовъ не изъявляетъ согласія, такъ какъ это право можетъ принадлежать только людямъ, пользующимся особенною довѣренностью начальства. Поступокъ Пушкина при этомъ названъ безумною неблагодарностью къ тому, кто былъ его благодѣтелемъ, что́ крайне опечалило поэта. Онъ поспѣшилъ взять назадъ свое прошеніе и извинялся тѣмъ, что, испрашивая отставку, онъ думалъ лишь о своихъ семейныхъ дѣлахъ, тягостныхъ и затрудненныхъ, имѣя въ виду единственно неудобство часто отлучаться въ отпуски, состоя на службѣ. „Императоръ осыпалъ меня милостями съ первой же минуты, въ которую царская его мысль низошла на меня, писалъ онъ Бенкендорфу: онъ всегда

былъ для меня провидѣніемъ, и если въ теченіе послѣднихъ восьми лѣтъ мнѣ случалось роптать, то никогда, клянусь вамъ, чувство горечи не примѣшивалось къ тѣмъ, которыя я посвятилъ ему"...

Но Пушкинъ не вдругъ объявилъ женѣ о своей неудачѣ. Въ первомъ письмѣ онъ только намекнулъ какъ бы мимоходомъ: „на дняхъ я чуть было бѣды не сдѣлалъ: съ тѣмъ чуть было не побранился, и трухнулъ-то я, да и грустно стало. Съ этимъ поссорюсь, другого не наживу. А долго на него сердиться не умѣю, хоть и онъ не правъ". Только въ слѣдующемъ письмѣ онъ высказался нѣсколько опредѣленнѣе: „На дняхъ хандра меня взяла; подалъ я въ отставку, но получилъ отъ Жуковскаго такой нагоняй, а отъ Бенкендорфа такой сухой абшидъ, что я вструхнулъ, и Христомъ и Богомъ прошу, чтобъ мнѣ отставку не давали. А ты и рада, не такъ ли? Хорошо, коли проживу я еще лѣтъ 25, а коли свернусь прежде десяти, такъ не знаю, что̀ ты будешь дѣлать, и что̀ скажутъ Машка, а въ особенности Сашка. Утѣшенія мало имъ будетъ въ томъ, что ихъ папеньку схоронили какъ шута и что ихъ маменька ужасъ какъ мила была на аничковскихъ балахъ... Главное то, что я не хочу, чтобы могли меня подозрѣвать въ неблагодарности. Это хуже либерализма"...

Такимъ образомъ всѣ порывы поэта къ вольной независимой жизни оставались безъ успѣха. Онъ мечталъ поправить свое состояніе и обезпечить семью своими трудами, сознавалъ въ себѣ много силъ, но въ то же время чувствовалъ себя

въ сѣтяхъ и напрасно ждалъ вдохновенія. Даже въ деревнѣ, въ уединеніи, осенью, въ ту пору, когда въ прежніе годы оно не оставляло его, теперь другія мысли съ другими заботами тревожили его душу. Такъ онъ писалъ къ женѣ изъ Болдина: „Вотъ уже скоро двѣ недѣли, какъ я въ деревнѣ... Скучно, мой ангелъ, и стихи въ голову нейдутъ, и романъ не переписываю; читаю Вальтеръ-Скотта и Библію, а все объ васъ думаю... Много вещей, о которыхъ безпокоюсь... Подожду еще немножко, не распишусь ли; коли нѣтъ, такъ съ Богомъ и въ путь".

Зиму, часть весны и лѣто 1835 г. Пушкинъ провелъ въ Петербургѣ все съ тѣми же заботами о своихъ дѣлахъ. Наконецъ, чувствуя, что онъ все болѣе и болѣе запутывается и что однѣми своими силами ничего не сдѣлаетъ, онъ рѣшается предоставить свою судьбу на волю императора. Въ письмѣ къ Бенкендорфу онъ признается, что въ теченіе пятилѣтней петербургской жизни у него накопилось долгу шестьдесятъ тысячъ рублей и что теперь единственными способами къ водворенію порядка въ его дѣлахъ остаются: или удаленіе въ деревню, или заемъ значительной денежной суммы. „Послѣдній способъ почти невозможенъ въ Россіи, гдѣ законъ даетъ слишкомъ слабое ручательство заимодавцу, и займы почти всегда суть долги между друзьями и на слово"... [1]).

На это императоръ велѣлъ предложить Пуш-

[1]) «Русская Старина» 1879 г. Май.

кину десять тысячъ рублей и шестимѣсячный отпускъ, послѣ котораго онъ можетъ увидѣть, подать ему въ отставку или нѣтъ. Но такое пособіе, хотя и щедрое, не выводило изъ затруднительнаго положенія: онъ объявилъ, что половина его долговъ составляютъ долги чести, которые во что бы то ни стало нужно уплатить немедленно; поэтому онъ просилъ у императора заимообразно тридцать тысячъ съ тѣмъ, чтобы удерживать для погашенія этого долга его ежегодное жалованье—по пяти тысячъ. Прошеніе его было исполнено, и Пушкинъ отправился на осень въ свое любимое Михайловское и Тригорское; но и тамъ заботы о семьѣ смущали его уединеніе, и работа шла не попрежнему. „Я все безпокоюсь и ничего не пишу, а время идетъ, писалъ онъ женѣ. Ты не можешь вообразить, какъ живо работаетъ воображеніе, когда сидимъ одни между четырехъ стѣнъ или ходимъ по лѣсамъ, когда никто не мѣшаетъ намъ думать, думать до того, что голова закружится. А о чемъ я думаю? Вотъ о чемъ: чѣмъ намъ жить будетъ? Отецъ не оставитъ мнѣ имѣнія: онъ его уже съ половину промоталъ; ваше имѣніе на волоскѣ отъ погибели. Царь не позволяетъ мнѣ ни записаться въ помѣщики, ни въ журналисты. Писать книги для денегъ, видитъ Богъ, не могу. У насъ ни гроша вѣрнаго дохода, а вѣрнаго расхода тридцать тысячъ... Что изъ этого будетъ, Богъ знаетъ. Покамѣстъ грустно“...

Въ другомъ письмѣ: „Вообрази, что до сихъ поръ не написалъ я ни строчки, а все потому, что

не спокоенъ. Въ Михайловскомъ нашелъ я все по-старому, кромѣ того, что нѣтъ ужъ въ немъ няни моей и что около знакомыхъ старыхъ сосенъ поднялась во время моего отсутствія молодая сосновая семья [1]), на которую досадно мнѣ смотрѣть... Все кругомъ меня говоритъ, что я старѣю... Государь обѣщалъ мнѣ газету, а тамъ запретилъ; заставляетъ меня жить въ Петербургѣ, а не даетъ мнѣ способовъ жить моими трудами. Я теряю время и силы душевныя, бросаю за окошко деньги трудовыя и не вижу ничего въ будущемъ"... „Вечеромъ ѣзжу въ Тригорское, роюсь въ старыхъ книгахъ, да орѣхи грызу. А ни стиховъ, ни прозы писать и не думаю"...

На этотъ разъ Михайловское уединеніе внушило Пушкину дѣйствительно не много стихотвореній; но между ними кромѣ указаннаго есть одно, въ которомъ идеальный образъ Петра Великаго снова послужилъ къ тому, чтобы призывать милость къ падшимъ,—стихотвореніе „Пиръ Петра Перваго": Царь

Съ подданнымъ мирится,
Виноватому вину
Отпуская, веселится,
Чарку пѣнитъ съ нимъ одну;
И въ чело его цѣлуетъ,
Свѣтелъ сердцемъ и лицомъ,
И прощенье торжествуетъ,
Какъ побѣду надъ врагомъ.

---

[1]) Эту самую мысль на другой день Пушкинъ выразилъ въ извѣстномъ стихотвореніи «Опять на родинѣ».

А 26 декабря онъ писалъ Осиповой: „Государь даровалъ помилованіе большей части заговорщиковъ 1825 года—между прочимъ и моему бѣдному Кюхельбекеру [1]). По указу долженъ онъ быть поселенъ въ южной части Сибири. Край прекрасный, но мнѣ бы хотѣлось имѣть его поближе къ намъ: быть можетъ, ему позволятъ удалиться въ имѣніе его сестры — г-жи Глинки. Правительство всегда было къ нему милостиво и снисходительно. Когда я подумаю, что уже десять лѣтъ прошло со времени этихъ несчастныхъ смутъ, мнѣ кажется, что я видѣлъ сонъ. Сколько событій, сколько перемѣнъ во всемъ, начиная съ моихъ собственныхъ идей, моей обстановки и проч., и проч.". Мы уже видѣли, какія перемѣны въ идеяхъ произошли у Пушкина, но онѣ не касались тѣхъ нравственныхъ его убѣжденій, въ которыхъ онъ выросъ надъ толпою и отъ которыхъ глубоко страдалъ, встрѣчая безпрестанныя противорѣчія въ окружающей жизни. Они обращали его вниманіе даже на такія явленія, къ которымъ всѣ давно привыкли, но которыя, тѣмъ не менѣе, были безобразны, какъ, напримѣръ, въ стихотвореніи „Когда великое свершилось торже-

[1]) Пушкинъ неоднократно добивался разрѣшенія властей вступить въ переписку съ Кюхельбекеромъ, во время его заточенія и ссылки, желая, конечно, поддержать въ немъ бодрость духа. Цѣня въ немъ талантъ критика, онъ хотѣлъ доставлять ему новыя книги, съ тѣмъ, чтобы обсужденіе ихъ сдѣлать предметомъ ихъ переписки. Но ему всякій разъ въ этомъ отказывали. («Русск. Стар.» 1875 г. Іюнь).

ство". Тутъ слышится ѣдкая сатира въ связи съ глубокимъ религіознымъ чувствомъ:

Къ чему, скажите мнѣ, хранительная стража?
Или распятіе казенная поклажа,
И вы боитеся воровъ или мышей?
Иль опасаетесь, чтобъ чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь родъ адамовъ искупила?
Иль чтобъ не потѣснить гуляющихъ господъ,
Пускать не велѣно сюда простой народъ?

Обдумывая свое затруднительное положеніе, Пушкинъ остановился на мысли поправить свое состояніе изданіемъ литературнаго журнала. Передъ его глазами былъ соблазнительный примѣръ въ успѣхѣ новаго журнала книгопродавца Смирдина и профессора Сеньковскаго, „Библіотека для чтенія"; онъ издавался съ 1834 года, привлекая вниманіе публики остроумными статьями, хотя и предосудительными, а слѣдовательно и вредными въ нравственномъ отношеніи. Пушкинъ, не зная еще, какое направленіе приметъ объявленный журналъ, согласился на предложеніе Смирдина — получать по червонцу за каждый стихъ, напечатанный въ журналѣ. Для этого онъ просилъ дозволенія печатать тамъ свои сочиненія на общемъ цензурномъ основаніи, не представляя въ особую цензуру государя, какъ это продолжалось до сихъ поръ. Боязнь часто утруждать государя, писалъ Пушкинъ, заставляетъ его обратиться съ такой просьбой. Хотя позволеніе и было получено, но Пушкинъ не могъ воспользоваться многими червонцами Смирдина: во-первыхъ, новаго создавалось у него, какъ мы видѣли, очень

немного, да и изъ этого далеко не все могло благополучно пройти черезъ цензуру; во-вторыхъ, скоро оказалось невозможнымъ участвовать въ этомъ журналѣ писателю, который понималъ настоящее назначеніе литературы. Нѣкоторые даже находили, что Сеньковскій, равно какъ и Булгаринъ, оба поляки, намѣренно проводили въ своихъ изданіяхъ враждебное Россіи польское направленіе, на что особенно негодовалъ князь Одоевскій, нападая на невѣжественное и вредное польское диктаторство въ нашей литературѣ и журналистикѣ“ [1]). Въ 1834 г. былъ запрещенъ „Телеграфъ“ Полевого, который еще могъ нѣсколько соперничать съ Библіотекой. „Невообразимо, говорилъ князь Одоевскій, сколько было употреблено тонкости для уничтоженія „Телеграфа“. Одинъ глубокомысленный человѣкъ, и не безъ вѣса, громко говорилъ, что лучше монополія въ рукахъ людей, съ которыми нечего церемониться, чѣмъ распространеніе журналовъ“... Подобная мысль въ самомъ дѣлѣ могла быть въ головѣ Бенкендорфа.

Пушкинъ рѣшился противодѣйствовать такой журналистикѣ, отказавшись отъ политическаго от-

---

[1]) См. «Русскій Архивъ» 1864 г., выпуски 7 и 8. «Поляки, говоритъ онъ, съ хвастливой заносчивостью захватили тогда въ руки почти всѣ журналы и пользовались особымъ покровительствомъ, несмотря на всеобщее негодованіе. Въ одной статьѣ «Библіотеки для чтенія» прямо доказывалось, что казаки были не что иное, какъ холопье польской шляхты, и это, при неимовѣрной строгости во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, спокойно пропускалось».

дѣла и обративъ особенное вниманіе на критику. При своихъ связяхъ и при особенномъ вниманіи императора, ему не затрудняли разрѣшеніе журнала. Лишь только распространилась вѣсть объ этомъ предпріятіи Пушкина въ литературномъ мірѣ, какъ весь онъ заволновался, въ особенности же тѣ журналисты, которые имѣли причины опасаться такого сильнаго противника. „Денежныя мои обстоятельства плохи, писалъ Пушкинъ Нащокину: я принужденъ былъ приняться за журналъ. Не вѣдаю, какъ еще пойдетъ. Смирдинъ уже предлагаетъ мнѣ 15.000, чтобъ я отъ своего предпріятія отступился и сталъ бы снова сотрудникомъ его „Библіотеки". Но хотя это и было бы выгодно, но не могу на то согласиться. Сеньковскій такая бестія, а Смирдинъ такая дура, что съ ними связываться невозможно". Объявивъ объ изданіи „Современника", Пушкинъ не приложилъ никакой программы своего журнала, полагая, что слова литературный журналъ уже объясняютъ цѣль его. Редакція „Библіотеки для чтенія" вздумала приписывать ему другую, недостойную цѣль — уронить журналъ Смирдина, а Булгаринъ въ „Сѣверной пчелѣ" пошелъ еще дальше. Привычный къ доносамъ, онъ и тутъ не упустилъ случая набросить тѣнь на благонамѣренность новаго журнала. „Современникъ, объявилъ онъ, будетъ продолженіемъ Литературной газеты, издаваемой нѣкогда покойнымъ барономъ Дельвигомъ". Вспомнимъ, что эта газета, въ которой Пушкинъ принималъ дѣятельное участіе, была запрещена, потому что не нравился духъ

ея. Булгаринъ ловко дѣлалъ намекъ, что этотъ духъ перейдетъ и въ „Современникъ“. Пушкину пришлось отражать эти недостойныя выходки. Издатель „Современника“ принужденъ объявить, что онъ не имѣетъ чести быть въ сношеніи съ гг. журналистами, взявшими на себя трудъ составить за него программу, и что онъ никогда имъ того не поручалъ. Отклоняя, однакоже, отъ себя цѣль, недостойную литератора и несправедливо ему приписанную въ „Библіотекѣ для чтенія“, онъ вполнѣ признаетъ справедливость объявленія, напечатаннаго въ „Сѣверной пчелѣ“. „Современникъ“ по духу своей критики, по многимъ именамъ сотрудниковъ, въ немъ участвующихъ, по незмѣнному образу мнѣнія о предметахъ, подлежащихъ его суду, будетъ продолженіемъ Литературной газеты“. Лучшаго и болѣе благороднаго отвѣта нельзя было и придумать доносчикамъ, чтобы показать, что честнаго человѣка не могутъ запугать ихъ доносы.

Пушкинъ назначилъ издавать по четыре книжки въ годъ. Первая книжка вышла въ апрѣлѣ·[1]). Разумѣется, петербургскіе журналисты не отозвались о ней благосклонно. Въ „Сѣверной пчелѣ“ напечатана была даже такая замѣтка: „Мечты и вдохно-

[1]) Въ ней помѣщены слѣдующія произведенія Пушкина: «Пиръ Петра Великаго», «Скупой рыцарь». «Путешествіе въ Арзерумъ», «Изъ А. Шенье». Собраніе сочиненій Георгія Конисскаго. Жуковскій напечаталъ «Ночной смотръ», Гоголь «Коляску» и «Утро дѣлового человѣка». Тамъ же встрѣчаемъ имя князя Вяземскаго и друг.

венія свои Пушкинъ погасилъ срочными статьями и журнальною полемикою; князь мысли сталъ рабомъ толпы; орелъ спустился съ облаковъ для того, чтобы крыломъ своимъ ворочать тяжелыя колеса мельницы". Всѣ эти недоброжелательные нападки на Пушкина раздражили князя Одоевскаго, который написалъ горячую статью въ его защиту; но она осталась ненапечатанною, такъ какъ негдѣ было помѣстить ее: въ Современникѣ было неловко, по отношенію къ личности редактора, въ другихъ журналахъ невозможно, по враждебному къ нимъ отношенію самой статьи. Въ ней авторъ рѣзко изобразилъ положеніе поэта среди тогдашней продажной журналистики. Указавъ на періодъ юности поэта, когда всѣ литературные промышленники стояли на колѣняхъ передъ нимъ и когда онъ, беззаботный, безпечный, бросалъ свой драгоцѣнный бисеръ на всякомъ перекресткѣ, князь Одоевскій переходитъ къ зрѣлому его возрасту: „Пушкинъ возмужалъ, Пушкинъ понялъ свое значеніе въ русской литературѣ, понялъ вѣсъ, который имя его придавало изданіямъ; онъ посмотрѣлъ вокругъ себя и былъ пораженъ печальною картиною нашей литературной расправы—ея площадною бранью, ея коммерческимъ направленіемъ, и имя Пушкина исчезало на многихъ, многихъ изданіяхъ. Что было дѣлать тогда литературнымъ негоціантамъ? Нѣкоторое время они продолжали свои похвалы, думая своимъ фиміамомъ умилостивить поэта. Но все было тщетно. Пушкинъ не удостоивалъ ихъ ни крупицею съ роскошнаго стола своего, и негоціанты

зная, что въ ихъ рукахъ находится исключительное право литературной жизни и смерти, рѣшились испытать, нельзя ли имъ обойтись безъ Пушкина. И замолкли похвалы поэту. Замолкли — когда же? Когда Пушкинъ издалъ Полтаву и Бориса Годунова... О нихъ почти никто не сказалъ ни слова, и это одно молчаніе говоритъ больше, нежели всѣ наши такъ называемые разборы и критики... Тяжелъ гнѣвъ поэта! Тяжело признаться передъ подписчиками, что Пушкинъ не участвуетъ въ томъ или другомъ изданіи, что онъ даже явно обнаруживаетъ свое негодованіе противъ людей, захватившихъ въ свои руки литературную монополію. Придумано другое: нельзя ли доказать, что Пушкинъ началъ ослабѣвать, т.-е. именно съ той минуты, когда онъ пересталъ принимать участіе въ журналахъ этихъ господъ... Нельзя ли читателей пріучить къ этой мысли, намекая о ней стороною, съ видомъ участія, сожалѣнія? Надъ этимъ похвальнымъ дѣломъ трудились прилежно и долго... Знаете ли. отчего Пушкинъ пересталъ быть поэтомъ?... „Пушкинъ уже больше не поэтъ, потому что издаетъ журналъ!“... Но скажите откровенно, кто виноватъ въ этомъ? Кто виноватъ, если Пушкинъ принужденъ былъ издать особою книгою свое собраніе отдѣльныхъ статей о разныхъ предметахъ? Не кажется ли это вамъ горькимъ упрекомъ? Если кто-нибудь въ нашей литературѣ имѣетъ право на голосъ, то это, безъ сомнѣнія, Пушкинъ. Все даетъ ему это право: и его поэтическій талантъ, и проницательность его взгляда, и его на-

читанность, далеко превышающая лексиконныя познанія большей части изъ нашихъ журналистовъ, ибо Пушкинъ не останавливался на своемъ пути, господа, какъ то случается часто съ нашими литераторами; онъ, какъ Гёте и Шиллеръ, умѣетъ читать, трудиться и думать; онъ—поэтъ въ стихахъ и бенедиктинецъ въ своемъ кабинетѣ; ни одно изъ таинствъ науки имъ не забыто и, счастливецъ, онъ умѣетъ освѣщать обширную массу познаній своимъ поэтическимъ ясновидѣніемъ! Ему ли не имѣть голоса въ нашей литературѣ? Но гдѣ бы онъ нашелъ мѣсто для своего голоса? Укажите. Не тамъ ли, гдѣ каждая ошибка великаго человѣка принимается, какъ подарокъ, съ восхищеніемъ? Или тамъ, гдѣ посредственность, преклоняющаяся передъ литературными монополистами, возносится до небесъ, а имена Шеллинговъ, Шамполіоновъ и Гомеровъ произносятся лишь для насмѣшки... [1]). Или тамъ, гдѣ, кажется, существуетъ постоянный заговоръ противъ всякой безкорыстной мысли, противъ каждаго благодѣтельнаго открытія?... Или тамъ, гдѣ пышныя похвалы суть слѣдствія домашней сдѣлки для продажи собственныхъ произведеній?... Такое ли направленіе Пушкинъ долженъ поддерживать своимъ именемъ?... Ни одна строка Пушкина не освятитъ страницъ, на которыхъ печатается во всеуслышаніе то, что̀ противно его литературной и ученой совѣсти. Да что вамъ и нужды до этого...

---

[1]) Намекъ на неприличныя глумленія Сенковскаго въ «Библіотекѣ для чтенія».

Книга Пушкина не отобьетъ у васъ читателей; онъ не искусенъ въ книжной торговлѣ: это не его дѣло; его дѣло: показать хоть потомству изданіемъ своего—даже дурного—журнала, что онъ не участвовалъ въ этой гнусной монополіи, въ которой для многихъ заключается литература. Этотъ долгъ на него налагается его званіемъ поэта, его званіемъ перваго русскаго писателя"... [1]).

Такъ смотрѣли на Пушкина образованнѣйшіе и лучшіе русскіе люди; но, къ сожалѣнію, ихъ было немного въ томъ кругу, гдѣ вращался Пушкинъ, и ихъ голосъ заглушался множествомъ другихъ недоброжелательныхъ голосовъ. Нельзя не согласиться съ княземъ Одоевскимъ, что такимъ писателямъ, которые смотрятъ на литературу, какъ смотрѣлъ Пушкинъ, негдѣ въ то время было печатать свои произведенія, и что, слѣдственно, новый журналъ вызывался потребностью наиболѣе развитой публики, и если мы сказали, что Пушкинъ взялся за изданіе журнала изъ денежнаго разсчета, то это не значитъ, что онъ только и руководился такимъ разсчетомъ. Поднять литературу, возвысить ея нравственную силу, дать критикѣ надлежащее значеніе было его давнишнимъ стремленіемъ. Разсчеты на выгоды только толкнули его взяться самому за это дѣло, такъ какъ не находилось никого другого, кто бы рѣшился выступить впередъ. Къ сожалѣнію, 1836 годъ былъ самый тревожный и тяжелый для Пушкина, такъ

[1]) «Русскій Архивъ» 1864 г., вып. 7.

что онъ не могъ спокойно посвятить себя журнальному труду. Когда готовилась первая книжка журнала, внезапная болѣзнь матери озаботила Пушкина и отвлекла его вниманіе отъ дѣла. Къ этому же свѣтскіе толки, касавшіеся его жены, еще болѣе огорчали и раздражали его. „Моя бѣдная Nathalie, пишетъ онъ Осиповой, служитъ цѣлью злыхъ нападокъ свѣта. Всюду говорятъ: какъ это ужасно, что она такъ наряжается, тогда какъ свекру и свекрови нечего ѣсть и свекровь умираетъ у чужихъ людей. Конечно, нельзя сказать, что человѣкъ, имѣющій 1200 душъ крестьянъ, былъ бы въ нищетѣ. Мой отецъ все-таки имѣетъ что-нибудь, а я ничего. Во всякомъ случаѣ, это до Nathalie не касается; я бы долженъ за все отвѣчать. Если бы матушка поселилась у меня, Nathalie, конечно, приняла бы ее; но холодный, наполненный кучею дѣтей и осаждаемый гостями домъ не представляетъ удобствъ для больной... Батюшка въ очень жалкомъ положеніи; я же нахожусь въ желчномъ настроеніи духа и совершенно ошеломленъ“...

Старушка Пушкина умерла, и сынъ долженъ былъ сопровождать ея гробъ на кладбище Святогорскаго монастыря близъ села Михайловскаго. Первая книжка „Современника“ вышла уже въ его отсутствіе. Но не долго пришлось ему пробыть въ Петербургѣ по возвращеніи. Какія-то дѣла, а, можетъ быть, и крайне тревожное состояніе духа заставили его просить новаго отпуска въ Москву, подъ предлогомъ архивныхъ занятій. Въ концѣ мая онъ былъ снова въ Петербургѣ, откуда

послалъ Нащокину увѣдомленіе о своемъ благополучномъ пріѣздѣ съ интересной для насъ припиской: „Я оставилъ у тебя два порожнихъ экземпляра „Современника“. Одинъ отдай кн. Гагарину, а другой пошли отъ меня Бѣлинскому (тихонько отъ Наблюдателей) и вели сказать ему, что очень жалѣю, что съ нимъ не успѣлъ увидѣться. Во-вторыхъ, деньги, деньги! Нужно ихъ до зарѣза!“

Мы можемъ догадаться, отчего Пушкину нужно было выказать свое расположеніе къ Бѣлинскому тихонько отъ сотрудниковъ „Московскаго Наблюдателя“; между ними были его литературные пріятели, какъ Шевыревъ, Погодинъ [1]), которые не

---

[1]) Къ числу новыхъ литературныхъ пріятелей Пушкина нужно отнести и Гоголя, съ которымъ Пушкинъ познакомился еще до «Вечеровъ на хуторѣ». Намъ извѣстны письма его къ Пушкину съ лѣта 1831 г., когда Пушкинъ жилъ въ Царскомъ Селѣ, а Гоголь въ Павловскѣ. Въ одномъ изъ нихъ Гоголь разсказываетъ объ извѣстной сценѣ съ наборщиками при его появленіи въ типографіи, гдѣ печатались «Вечера на хуторѣ». По нимъ мы заключаемъ, какое значеніе Пушкинъ имѣлъ для Гоголя, который, избѣгая всякой лести, въ то же время не скрывалъ, какъ много онъ дорожилъ замѣчаніями, совѣтами и мнѣніями Пушкина.

Такъ, 7 октября 1835 г., извѣщая Пушкина, что имъ уже начаты Мертвыя души, «предлинный романъ», содержаніе котораго далъ ему Пушкинъ, какъ и содержаніе для Ревизора, Гоголь прибавляетъ: «сдѣлайте милость, дайте хоть какой-нибудь сюжетъ, хоть какой-нибудь смѣшной или несмѣшной, но русскій чисто анекдотъ. Рука дрожитъ написать тѣмъ временемъ (пока не созрѣетъ третья глава Мертвыхъ душъ) комедію. Если же сего не случится, то у меня пропадетъ

дружески относились къ трудамъ начинающаго писателя, обратившаго на себя вниманіе публики своими смѣлыми и горячими статьями; въ ихъ глазахъ онъ былъ не болѣе, какъ недоучка. Въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ иногда печаталъ и Пушкинъ свои стихи. Такъ, въ одной изъ послѣднихъ книжекъ за 1835 годъ всѣ прочитали его стихотвореніе „На выздоровленіе Лукулла“, чувствительно задѣвшее тогдашняго министра народнаго просвѣщенія Уварова [1]), который съ этого времени сдѣлался злымъ врагомъ Пушкина и старался дѣлать разныя ему оффиціальныя непріятности. Едва ли не тихонько и отъ своихъ петербургскихъ литературныхъ друзей, которыхъ Булгаринская партія называла аристократіею, нужно было Пушкину

даромъ время, и я не знаю что̀ дѣлать тогда съ моими обстоятельствами. Я кромѣ моего сквернаго жалованья университетскаго 600 руб. никакихъ не имѣю теперь мѣстъ. Сдѣлайте милость, дайте сюжетъ: духомъ будетъ комедія изъ пяти актовъ и, клянусь, куда смѣшнѣе чорта. Ради Бога: умъ и желудокъ мой голодаютъ».

[1]) Въ сентябрьской книжкѣ «Русской Старины» за 1880 г. разсказано, что Уваровъ вздумалъ дѣлать Пушкину выговоры съ угрозою за эпиграмму на вице-президента академіи наукъ, князя Дондукова-Корсакова, эпиграмму, которая повторялась въ Петербургѣ всѣми. Въ отвѣтъ на такую выходку министра Пушкинъ напечаталъ, не скрывъ своего имени, сказанное стихотвореніе, посвятивъ его молодому князю Юсупову (а по указанію г. Ефремова, Шереметеву), извѣстному богачу и родственнику Уварова, который ожидалъ получить послѣ него наслѣдство. Пушкинъ совѣтуетъ вельможѣ, возвращенному къ жизни, «ввести въ свои чертоги жену-красавицу, а боги

Вашъ бракъ благословятъ».

знакомиться съ Бѣлинскимъ. Рѣзкостью своего молодого пера, своими смѣлыми сужденіями о состарѣвшихся литературныхъ авторитетахъ Бѣлинскій не понравилея этимъ аристократамъ, въ то же время возбудивъ противъ себя негодованіе и петербургской журналистики. Тѣмъ выше въ нашихъ глазахъ становится Пушкинъ, умѣвшій сразу оцѣнить талантъ Бѣлинскаго, найдя много правды въ его критикѣ. Если мы припомнимъ взгляды самого Пушкина на старую русскую литературу и тѣ принципы, которыхъ держался онъ въ своихъ сужденіяхъ о поэзіи, то увидимъ, что иначе какъ съ сочувствіемъ Пушкинъ и не могъ встрѣтить статьи Бѣлинскаго. Въ замкнутомъ кругѣ критическихъ взглядовъ своихъ пріятелей ему было также тѣсно. Душа Пушкина лежала болѣе къ дѣятельности московскихъ литераторовъ. Въ нихъ онъ цѣнилъ то философское направленіе, которое выказывалось и въ московской журналистикѣ, начиная съ „Телеграфа“ Полевого и кончая „Телескопомъ“ Надеждина, за что на нихъ и налагался запретъ отъ Бенкендорфа, не любившаго никакой философіи. Въ 1836 году былъ запрещенъ и „Телескопъ“ за извѣстную статью Чаадаева по доносу Вигеля и митрополита Серафима. Въ пользу московской литературы Пушкинъ писалъ: „Московская словесность выше петербургской. Литераторы петербургскіе по большей части не литераторы, но предпріимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь къ искусству и таланты неоспоримо на сторонѣ Москвы. Московскій жур-

нализмъ убьетъ петербургскій... Московская критика съ честью отличается отъ петербургской... Петербургскіе журналы судятъ о литературѣ — какъ о музыкѣ, о музыкѣ—какъ о политической экономіи, т.-е. наобумъ и какъ-нибудь, иногда впопадъ и остроумно, но большею частью неосновательно и поверхностно. Философія нѣмецкая, которя нашла въ Москвѣ, можетъ быть, слишкомъ много молодыхъ послѣдователей, кажется, начинаетъ уступать духу болѣе практическому. Тѣмъ не менѣе вліяніе ея было благотворно: она спасла нашу молодежь отъ холоднаго скептицизма французской философіи и удалила ее отъ упоительныхъ и вредныхъ мечтаній, которыя имѣли столь ужасное вліяніе на лучшій цвѣтъ предшествовавшаго поколѣнія“ [1]). Изъ этого видно, что Пушкинъ зорко слѣдилъ за направленіемъ мысли въ обществѣ и съ сочувствіемъ относился къ молодому поколѣнію, которое искало себѣ твердой почвы для умственной дѣятельности.

Изъ письма Нащокина мы узнаемъ, что Пушкинъ черезъ него имѣлъ въ виду войти въ переговоры съ Бѣлинскимъ, чтобы привлечь его къ своему журналу. „Бѣлинскій получалъ отъ Надеждина, писалъ Нащокинъ, чей журналъ уже запрещенъ, 3 тысячи; „Наблюдатель“ предлагалъ ему 5. Теперь, коли хочешь, онъ къ твоимъ услу-

[1]) По взгляду тогдашней петербургской журналистики, московскіе журналы вносили въ русскую литературу духъ буйства и разврата.

гамъ; я его не видалъ, но его друзья, въ томъ числѣ и Щепкинъ, говорятъ, что онъ будетъ очень счастливъ, если придется ему на тебя работать. Ты мнѣ отпиши, и я его къ тебѣ пришлю".

По всей вѣроятности, Пушкинъ дружески сошелся бы съ Бѣлинскимъ, если бы не прервалась дѣятельность нашего поэта. Въ союзѣ между собою много бы они могли сдѣлать и имѣли бы другъ на друга благотворное вліяніе.

Вторая книжка „Современника" вышла въ іюнѣ. Пушкинъ былъ ею доволенъ, хотя она состояла преимущественно изъ критическихъ статей [1]). Правда, подписчиковъ было еще немного, но Пушкинъ не терялъ надежды на будущее, хотя и ожидалъ непріятностей отъ блюстителей полицейской нравственности. „Вижу, что непремѣнно нужно имѣть мнѣ 80.000 доходу, писалъ онъ женѣ изъ Москвы, и я ихъ буду имѣть. Не даромъ же пустился въ журнальную спекуляцію". Затѣмъ, не очень лестно отозвавшись о русской литературѣ, которую нужно было очищать и зависѣть отъ полиціи, онъ прибавляетъ: „Чортъ ихъ побери! у меня кровь въ желчь превращается". А послѣднее свое письмо онъ заключаетъ такимъ образомъ: „У меня душа въ пятки уходитъ, какъ вспомню,

[1]) Въ московскомъ журналѣ «Молва» напечатаны отзывы Бѣлинскаго о двухъ первыхъ книжкахъ «Современника». Весьма сочувственно отнесся онъ къ Пушкину и другимъ капитальнымъ статьямъ журнала; но въ то же время онъ опасался, что публика не поддержитъ этого изданія, что журналъ не будетъ имѣть на нее вліянія.

что я журналистъ. Будучи еще порядочнымъ человѣкомъ, я получалъ уже полицейскіе выговоры, и мнѣ говорили: vous avez trompé и тому подобное. Что же теперь со мною будетъ? Мордвиновъ [1]) будетъ на меня смотрѣть, какъ на Ѳаддея Булгарина и Николая Полевого, какъ на шпіона: чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ!"

Третій томъ журнала Пушкинъ печаталъ уже подъ своимъ надзоромъ, живя на дачѣ на Каменномъ островѣ. Но духъ его былъ неспокоенъ: онъ крайне тяготился своею зависимостью, искалъ уединенія и въ то же время не хотѣлъ лишать свою жену свѣтскихъ удовольствій, къ которымъ она была пристрастна. Долги снова копились, а между тѣмъ онъ не получалъ и тѣхъ пяти тысячъ, которыя назначались ему въ видѣ жалованья: онѣ зачитались въ уплату его долга казнѣ. Онъ понялъ, что самая дорогая свобода для человѣка— свобода личная, которой ему недоставало и безъ

---

[1]) Пушкинъ особенно уважалъ старца Мордвинова, извѣстнаго государственнаго человѣка, и посвятилъ ему одно изъ своихъ стихотвореній.

Сіяя доблестью, и славой, и наукой,
Въ совѣтахъ, недвижимъ, у мѣста своего
Стоишь ты, новый Долгорукій...
Одинъ, на ремена поднявши мощный трудъ,
Ты зорко бодрствуешь надъ царскою казною!
Вдовицы бѣдный лептъ, и дань сибирскихъ рудъ
Равно священны предъ тобою.

которой онъ задыхался въ атмосферѣ недоброжелательствъ, сплетенъ, подозрѣній и доносовъ. Эта жажда свободы личной и выразилась въ стихотвореніи, которое, конечно, въ то время нельзя было напечатать:

Я не ропщу о томъ, что отказали боги
Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги,
Или мѣшать царямъ другъ съ другомъ воевать!..
Иныя, лучшія мнѣ дороги права;
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода...
Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа—
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними! Никому
Отчета не давать, себѣ лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья!
Вотъ счастье! Вотъ права!

Артистическая натура рвалась на просторъ, искала своихъ правъ, но обстоятельства жизни давили ее. И никто не понималъ положенія поэта, и не могъ онъ ясно высказаться, чтобы по крайней мѣрѣ пощадили его отъ клеветъ и злословія, чтобы дали успокоиться его нервамъ. Они были сильно напряжены, и надо удивляться, какъ Пушкинъ, при своей страстной, неуимчивой натурѣ, еще умѣлъ себя сдерживать и подавлять въ себѣ волнующуюся желчь, которая, по его словамъ, постоянно кипѣла и разливалась въ немъ. Но наконецъ произошелъ сильный взрывъ, когда такъ нагло и явно

покусились на его честное имя. Мы уже видѣли, какъ ревниво онъ оберегалъ и охранялъ это имя, которое какъ бы хотѣлъ противопоставить всѣмъ злобнымъ нападкамъ на его давнія юношескія увлеченія и заблужденія: оно, безупречное, было для него высшимъ сокровищемъ. При своемъ постоянномъ нервномъ возбужденіи онъ доходилъ до болѣзненнаго состоянія въ отношеніи къ лицамъ, которыя, казалось ему, затрогивали его честь. Тогда онъ самъ поддавался сплетнямъ, и разсудокъ его помрачался. Такъ, въ началѣ 1836 г. онъ потребовалъ объясненія у князя Н. Г. Репнина, вслѣдствіе сплетни, что какой-то Боголюбовъ повторяетъ оскорбительныя для Пушкина слова, сказанныя гдѣ-то княземъ. „Будучи дворяниномъ и отцомъ семейства, писалъ онъ, я долженъ оберегать мою честь и то имя, которое перейдетъ къ моимъ дѣтямъ... Я лучше всего постигаю существующее между нами разстояніе; но вы не только большой баринъ, а еще и представитель нашего стариннаго и истиннаго дворянства, къ которому я также принадлежу“... Въ этихъ словахъ слышится намекъ на удовлетвореніе, какимъ кончаются вопросы объ оскорбленіи чести между благородными людьми. Князь Репнинъ очень спокойно и съ достоинствомъ отвѣчалъ Пушкину упрекомъ, что тотъ повѣрилъ разсказамъ на его счетъ; но при этомъ и тонко намекнулъ на стихи Пушкина противъ Уварова, у котораго князь встрѣчался съ упомянутымъ Боголюбовымъ. „Вамъ же самому, м. г., скажу, писалъ онъ, что я искренно желаю, дабы

вы геніальный талантъ вашъ употребляли на пользу и славу отечества, а не въ оскорбленіе частныхъ людей". Пушкинъ успокоился объясненіями князя и на совѣтъ его отвѣчалъ сознаніемъ своей вины, указывая, впрочемъ, на смягчающія обстоятельства: „Не могу не сознаться, что мнѣніе вашего сіятельства касательно сочиненій, оскорбительныхъ для чести частнаго лица, совершенно справедливо. Трудно ихъ извинить, даже когда они написаны въ минуту огорченія и слѣпой досады. Какъ забава суетнаго или развращеннаго ума, они были бы непростительны"...

Вскорѣ послѣ этой маленькой исторіи Пушкинъ снова взволновался невѣрно переданнымъ ему невиннымъ разговоромъ графа Соллогуба съ его женою, къ которой будто бы Соллогубъ показалъ неуваженіе. Этого обстоятельства Пушкинъ не могъ перенести хладнокровно. Всякое невниманіе и неуваженіе къ своей женѣ онъ принималъ за оскорбленіе своей чести [1]).

Сгоряча Пушкинъ написалъ Соллогубу вызовъ на дуэль: „Имя, вами носимое, и общество, вами посѣщаемое, вынуждаютъ меня требовать у васъ сатисфакціи за непристойность вашего поведенія". Эти слова показываютъ, какъ боязливо Пушкинъ относился къ толкамъ свѣтскаго обще-

[1]) «Я не хочу, чтобъ жена моя ѣздила туда, гдѣ хозяйка позволяетъ себѣ невниманіе и неуваженіе, писалъ Пушкинъ къ женѣ въ Москву еще въ 1834 году. Московскія дамы мнѣ не примѣръ. Онѣ пускай таскаются по переднимъ къ тѣмъ, которыя на нихъ и не смотрятъ. Туда имъ и дорога».

ства. Но онъ скоро самъ созналъ свою горячность и помирился съ графомъ Соллогубомъ на извинительномъ письмѣ, которое тотъ согласился написать къ его женѣ.

Наконецъ произошло роковое столкновеніе Пушкина съ Дантесомъ. Послѣдній прибылъ въ Петербургъ въ 1834 году изъ Франціи, выдавалъ себя за потомка знатной ирландской фамиліи и за сына наполеоновскаго барона. По словамъ лицейскаго товарища Пушкина, Данзаса [1]), онъ былъ довольно большого роста и пріятной наружности, человѣкъ не глупый и хотя весьма скудно образованный, но имѣвшій какую-то врожденную способность нравиться всѣмъ съ перваго взгляда. Съ помощью рекомендательныхъ писемъ онъ вошелъ въ аристократическій кругъ, обратилъ на себя вниманіе императрицы Александры Ѳеодоровны, а затѣмъ и самого императора, и безъ затрудненія вступилъ въ русскую службу въ кавалергардскій полкъ прямо офицеромъ; государь, во вниманіе къ его несостоятельности, назначилъ ему отъ себя даже негласное ежегодное пособіе. Вслѣдствіе какихъ-то неизвѣстныхъ намъ обстоятельствъ, голландскій посланникъ при петербургскомъ дворѣ, баронъ Гекеренъ, человѣкъ богатый и бездѣтный, усыновилъ его. Пушкинъ объяснялъ это тѣмъ, что Дантесъ былъ его незаконный сынъ.

Принятый во всѣхъ домахъ высшаго круга, отличаясь на всѣхъ балахъ, Дантесъ сблизился и

[1]) Послѣдніе дни жизни и кончина Пушкина. 1863 г.

съ семействомъ Пушкина, къ которому причислялись и двѣ его свояченицы, фрейлины Гончаровы. Одна изъ нихъ, Екатерина Николаевна, нравилась Дантесу. Такъ какъ жена Пушкина вездѣ являлась съ своими сестрами, то Дантесъ выказывалъ одинаковую любезность и ей, можетъ быть, болѣе, чѣмъ другимъ дамамъ, которыя восхищались имъ. Этого имъ было достаточно, чтобъ заговорить, будто Дантесъ неравнодушенъ къ Пушкиной и ухаживаетъ за ней. Такая сплетня довольно громко стала повторяться лѣтомъ, когда Пушкинъ жилъ на Каменномъ островѣ и вмѣстѣ съ женою и ея сестрами бывалъ на балахъ, которые давались на Минеральныхъ водахъ. Когда Пушкинъ узналъ объ этихъ неприличныхъ толкахъ, то почелъ за лучшее не принимать болѣе Дантеса; но въ своей женѣ онъ былъ вполнѣ увѣренъ, и отношенія его къ ней нисколько не перемѣнились. Обыкновенно указываютъ на африканскую ревность поэта, которая будто бы слѣпо повела его къ роковому концу. Но ревность связывается съ подозрѣніями, которыхъ не допускалъ Пушкинъ. Онъ видѣлъ только покушеніе недостойныхъ людей на честь его и жены, и вотъ что̀ могло возмущать его. Прервавъ всякое знакомство съ Дантесомъ, Пушкинъ былъ настолько спокоенъ, что могъ заняться составленіемъ четвертой книжки „Современника“ [1]),

[1]) Третья книжка вышла въ сентябрѣ. Изъ стихотвореній Пушкина въ ней напечатаны «Родословіе моего героя», «Полководецъ» и нѣсколько прозаическихъ статей. Четвертая книжка вышла въ первой половинѣ ноября.

печатая въ ней „Капитанскую дочь“ и стихотвореніе „19 октября 1836 года“, написанное на двадцать пятую лицейскую годовщину. Въ немъ звучитъ глубокое элегическое чувство:

Межъ нами рѣчь не такъ игриво льется;
Просторнѣе, грустнѣе мы сидимъ
И рѣже смѣхъ межъ пѣсенъ раздается,
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.

Но не успѣлъ онъ кончить своей срочной работы, какъ гнусная выходка какихъ-то развратныхъ господъ глубоко оскорбила поэта.

Возвратившись съ дачи въ Петербургъ въ началѣ октября, Пушкинъ съ своимъ семействомъ сталъ посѣщать свѣтскія собранія и балы, на которыхъ приходилось встрѣчаться съ Дантесомъ; но поэтъ относился къ нему колко, язвительно, а жена его избѣгала разговоровъ съ нимъ. Зато начиналъ разговоры съ нею самъ баронъ Гекеренъ, преимущественно о своемъ сынѣ, и тутъ по всей вѣроятности выходило недоразумѣніе; намеки, которые относились къ Гончаровой, принимались насчетъ Пушкиной, которая все передавала своему мужу. Онъ волновался; но, можетъ быть, дѣло объяснилось бы въ скоромъ времени, если бы оскорбительная шутка не подбавила горючаго матеріала. Въ это время во французскомъ посольствѣ показывали нѣсколько печатныхъ бланокъ съ разными шутовскими дипломами на разныя нелѣпыя званія. Они были присланы изъ Вѣны, гдѣ свѣтское общество цѣлую зиму забавлялось разсылкою подобныхъ мистификацій. Кому-то пришла жалкая

мысль пошутить такимъ же образомъ и въ петербургскомъ обществѣ. Такъ какъ въ гостиныхъ уже ходила сплетня о Пушкинѣ, то его онъ и выбралъ предметомъ своей шутки, тѣмъ болѣе, что между образцами вѣнскихъ дипломовъ одинъ былъ подходящій къ повторяемой сплетнѣ. И вотъ 4 ноября Пушкинъ получаетъ три экземпляра письма на французскомъ языкѣ, съ котораго мы представляемъ переводъ:

„Великіе кавалеры, командиры и рыцари свѣтлѣйшаго ордена Рогоносцевъ' (cocus), въ полномъ собраніи своемъ, подъ предсѣдательствомъ великаго магистра ордена, его превосходительства Д. А. Нарышкина, единогласно выбрали Александра Пушкина коадьюторомъ великаго магистра ордена Рогоносцевъ и исторіографомъ ордена.

„Непремѣнный секретарь графъ І. Борхъ [1]).

Въ тотъ же день Пушкинъ узналъ, что нѣсколько такихъ же экземпляровъ было разослано разнымъ лицамъ петербургскаго аристократическаго круга. Въ первое время онъ старался казаться спокойнымъ: „Безъименнымъ письмомъ я обижаться не могу, говорилъ онъ Соллогубу: если кто-нибудь сзади плюнетъ на мое платье, такъ это дѣло моего камердинера вычистить платье, а не мое; жена моя — ангелъ, никакое подозрѣніе коснуться ея не можетъ". Конечно, не такъ спокоенъ былъ Пушкинъ, какъ казался. Мы воспользуемся его

[1]) Въ лейпцигскомъ изданіи «Матеріаловъ для біографіи Пушкина» 1875 г.

письмомъ къ графу Бенкендорфу, отъ 21 ноября, которое знакомитъ насъ съ тѣмъ, что произошло въ этотъ промежутокъ времени. Объявивъ объ анонимномъ письмѣ, онъ продолжаетъ: „По бумагамъ, по слогу и по пріемамъ, я сейчасъ догадался, что оно было написано иностранцемъ, человѣкомъ высшаго общества—дипломатомъ. Я началъ поиски и узналъ, что въ тотъ же день семь или восемь лицъ также получили по экземпляру того же письма въ двойныхъ конвертахъ и адресованныя на мое имя. Почти всѣ, получившіе эти письма, подозрѣвая какой-нибудь пасквиль, не отослали ихъ ко мнѣ. Всѣ пришли въ негодованіе отъ этой неосновательной и низкой обиды; но всѣ, повторяя, что поведеніе моей жены было безупречно, говорили, что поводомъ къ этой клеветѣ было настойчивое волокитство за нею Дантеса. Въ этомъ случаѣ я не потерплю, чтобы имя моей жены было связано клеветою съ именемъ кого бы то ни было, и просилъ передать объ этомъ Дантесу. Баронъ Геккеренъ приходитъ ко мнѣ и за Дантеса принимаетъ вызовъ, прося отсрочки дуэли на 15 дней. Случилось, что въ продолженіе этого времени Дантесъ влюбился въ мою свояченицу Гончарову [1]) и про-

[1]) Такъ казалось Пушкину; но скорѣе можно полагать, что Дантесъ былъ влюбленъ въ нее еще прежде, и что изъ-за этой любви и вышло прискорбное недоразумѣніе, благодаря которому сложилась свѣтская сплетня.

Въ скоромъ времени на судѣ Дантесъ говорилъ, что онъ посылалъ довольно часто г-жѣ Пушкиной книги и театральные билеты при короткихъ запискахъ, и что въ нѣкоторыхъ изъ

силъ у нея руки. Молва меня предупредила и я просилъ передать г. Аршіаку [1]), секунданту Дантеса, что я отказываюсь отъ своего вызова. Я убѣдился наконецъ, что анонимное письмо было написано Гекереномъ, и я принимаю за долгъ объявить объ этомъ обществу и правительству. Будучи единственнымъ судьею и защитникомъ моей чести и моей жены, я не обращаюсь ни къ кому ни за справедливостью, ни за отомщеніемъ, не могу и не хочу приводить доказательствъ кому бы то ни было въ томъ, что я утверждаю"...

Помолвка Дантеса съ сестрою Пушкиной должна бы была прекратить всѣ сплетни и объяснить возникшія недоразумѣнія; по всей вѣроятности, такъ бы оно и было, если бы не пасквиль, въ составленіи котораго Пушкинъ подозрѣвалъ барона Гекерена. Онъ уже не вѣрилъ честности ни отца, ни сына даже и тогда, когда свадьба дѣйствительно состоялась. Дантесъ не разъ протягивалъ ему руку примиренія, даже при участіи общихъ ихъ знакомыхъ, но Пушкинъ каждый разъ грубо и оскорбительно его отталкивалъ. Такія же попытки дѣлалъ и баронъ Гекеренъ, но встрѣчалъ то же самое. Намъ кажется, что всѣ обвиненія, ко-

---

нихъ были выраженія, которыя онъ назвалъ дурачествами, они-то, полагалъ Дантесъ, и могли возбудить щекотливость Пушкина, какъ мужа. (См. «Русск. Стар.» 1880 г. Октябрь. Сообщеніе В. В. Никольскаго).

[1]) Секретарь французскаго посольства. Посредникомъ въ переговорахъ со стороны Пушкина былъ графъ Соллогубъ; впослѣдствіи извѣстный писатель.

торыя высказывались противъ голландскаго посланника, голословны и не выдерживаютъ безпристрастной критики. Пушкинъ былъ въ такомъ страстномъ настроеніи, до котораго его довело чувство оскорбленной чести, обратившееся въ упорную ненависть, что многое должно было ему представляться въ превратномъ видѣ. Очень можетъ быть, что Дантесъ и Гекеренъ, сами оскорбленные обращеніемъ Пушкина, позволяли себѣ разныя грубыя и насмѣшливыя выраженія, которыя Пушкинъ называлъ казарменными; но въ нихъ ему казались еще разные непристойные и оскорбительные намеки, которые должны были еще болѣе разжигать его страсть. Жена Пушкина хорошо понимала, что самое лучшее было уѣхать ей съ мужемъ куда-нибудь подальше отъ Петербурга, дать время успокоиться его страсти и выждать въ уединеніи, когда замолкнутъ всѣ свѣтскіе толки. Пушкинъ повидимому и самъ сознавалъ это, по крайней мѣрѣ онъ писалъ Нащокину, что ему надо достать пять тысячъ рублей, чтобы раздѣлаться съ Петербургомъ, увезти жену въ псковскую деревню и зажить тамъ. Но Нащокину неизвѣстны были причины такого рѣшенія поэта, и онъ не позаботился доставить ему эти деньги. Какъ бы то ни было, но Пушкинъ оставался въ Петербургѣ. Страстная его натура, долго сдерживаемая, стала наконецъ брать свое и проявляться во всей силѣ. Великосвѣтское петербургское общество раздѣлилось на двѣ партіи: одни держали сторону Пушина, другіе Дантеса и Гекерена. Къ послѣднимъ принадлежалъ и графъ

Бенкендорфъ, который радъ былъ сдѣлать поэту лишнюю непріятность. Все, что до сихъ поръ шипѣло противъ поэта завистью, злостью, недоброжелательствомъ, все пристало къ этой партіи, мужчины и дамы; но эти великосвѣтскія дамы, по словамъ Данзаса, не отличались блистательною репутаціею и не могли служить примѣромъ нравственности. Онѣ устраивали себѣ недостойное зрѣлище изъ неожиданныхъ встрѣчъ Пушкина съ явными его врагами, конечно, двусмысленно улыбались, переглядывались и ежедневно заставляли Пушкина чувствовать его неловкое положеніе. Онъ терпѣлъ весь этотъ скандалъ почти три мѣсяца. Наконецъ увидѣлъ, что нужно его покончить рѣзко и рѣшительно. Чтобъ удовлетворить общество, по его понятіямъ, нужна была чья-нибудь кровь, а съ нею, можетъ быть, и жизнь. Дуэль между противниками сдѣлалась неизбѣжна. Пушкинъ выбираетъ барона Гекерена, котораго подозрѣвалъ въ недостойныхъ покушеніяхъ противъ своей чести, и пишетъ ему самое оскорбительное письмо, съ видимымъ намѣреніемъ заставить его или его нареченнаго сына драться съ нимъ. Отвѣтъ не замедлилъ. Вызовъ на дуэль послѣдовалъ со стороны Дантеса съ согласія Гекерена. Для дальнѣйшихъ подробностей мы воспользуемся разсказомъ лицейскаго товарища и пріятеля Пушкина Константина Карловича Данзаса, со словъ котораго онъ былъ впослѣдствіи напечатанъ.

„27 января 1837 г. Данзасъ, проходя по Пантелеймонской улицѣ, встрѣтилъ Пушкина въ са-

няхъ: Пушкинъ остановилъ Данзаса и сказалъ: „я ѣхалъ къ тебѣ, садись со мной въ сани и поѣдемъ во французское посольство, гдѣ ты будешь свидѣтелемъ одного разговора". Данзасъ сѣлъ съ нимъ въ сани, и они поѣхали въ Большую Милліонную. Во время пути Пушкинъ говорилъ съ Данзасомъ, какъ будто ничего не бывало, совершенно о постороннихъ вещахъ. Такимъ образомъ доѣхали они до дома французскаго посольства, гдѣ жилъ д'Аршіакъ. Послѣ обыкновеннаго привѣтствія съ хозяиномъ, Пушкинъ сказалъ громко, обращаясь къ Данзасу: „Je vais vous mettre maintenant en fait de tout" (теперь я сообщу тебѣ все), и началъ разсказывать ему все, что происходило между нимъ, Дантесомъ и Гекереномъ. Пушкинъ окончилъ свое объясненіе слѣдующими словами: „maintenant la seule chose, que j'ai à vous dire c'est que si l'affaire ne se termine pas aujourd'hui même, la première fois que je rencontre Hekerenes, père ou fils, je leurs cracherai à la figure" (теперь я вамъ скажу одно: если сегодня же не кончится это дѣло, то при первой встрѣчѣ съ Гекеренами, отцомъ или сыномъ, я наплюю имъ въ лицо). Тутъ онъ указалъ на Данзаса и прибавилъ: „Voila mon témoin" (вотъ мой свидѣтель). Потомъ обратился къ Данзасу съ вопросомъ: „consentez vous?" (согласенъ?)

Послѣ утвердительнаго отвѣта Данзаса Пушкинъ уѣхалъ, предоставивъ ему, какъ своему секунданту, условиться съ д'Аршіакомъ о дуэли. Вотъ эти условія: драться Пушкинъ съ Дантесомъ

долженъ былъ въ тотъ же день 27 января въ пятомъ часу пополудни; мѣсто поединка было назначено секундантами за Черной рѣчкой возлѣ комендантской дачи; оружіемъ выбраны пистолеты; стрѣляться соперники должны были на разстояніи двадцати шаговъ съ тѣмъ, чтобы каждый могъ сдѣлать пять шаговъ и подойти къ барьеру; никому не было дано преимущества перваго выстрѣла; каждый долженъ былъ сдѣлать одинъ выстрѣлъ, когда будетъ ему угодно; но, въ случаѣ промаха съ обѣихъ сторонъ, дѣло должно было начаться снова на тѣхъ же условіяхъ. Личныхъ объясненій между противниками никакихъ допущено не было; въ случаѣ же надобности, за нихъ должны были объясняться секунданты. Условія поединка были сдѣланы на бумагѣ.

Съ этой роковой бумагой Данзасъ возвратился къ Пушкину. Онъ засталъ его дома одного. Не прочитавъ даже условій, Пушкинъ согласился на все. Въ разговорѣ о предстоящей дуэли Данзасъ замѣтилъ ему, что, по его мнѣнію, онъ бы долженъ былъ стрѣляться съ отцомъ, а не съ сыномъ, такъ какъ оскорбительное письмо онъ написалъ Гекерену, а не Дантесу. На это Пушкинъ ему отвѣчалъ, что Гекеренъ по оффиціальному своему положенію драться не можетъ.

Условясь съ Пушкинымъ сойтись въ кондитерской Вольфа (у Полицейскаго моста), Данзасъ отправился сдѣлать нужныя приготовленія. Нанявъ парныя сани, онъ заѣхалъ въ оружейный магазинъ Куракина за пистолетами, которые уже были

выбраны Пушкинымъ заранѣе; пистолеты эти были совершенно сходны съ пистолетами д'Аршіака. Уложивъ ихъ въ сани, Данзасъ пріѣхалъ къ Вольфу, гдѣ Пушкинъ уже ожидалъ его. Было около 4 часовъ. Выпивъ стаканъ лимонаду или воды, Пушкинъ вышелъ съ нимъ изъ кондитерской, сѣли въ сани и отправились по направленію къ Троицкому мосту. Богъ вѣсть, что̀ думалъ Пушкинъ. По наружности онъ былъ покоенъ.

На дворцовой набережной они встрѣтили жену Пушкина. Данзасъ узналъ ее; надежда въ немъ блеснула: встрѣча эта могла поправить все. Но Пушкина была близорука, а мужъ смотрѣлъ въ другую сторону. День былъ ясный. Петербургское великосвѣтское общество каталось на горахъ, и въ то время нѣкоторые уже оттуда возвращались. Много знакомыхъ и Пушкину и Данзасу встрѣчались, раскланивались съ ними, но никто, какъ нарочно, и не догадывался, куда они ѣхали... На Невѣ Пушкинъ спросилъ Данзаса шутя: „не въ крѣпость ли ты везешь меня?“ — „Нѣтъ, — отвѣчалъ Данзасъ,—черезъ крѣпость на Черную рѣчку самая близкая дорога“... Къ комендантской дачѣ они подъѣхали въ одно время съ Дантесомъ и д'Аршіакомъ; Данзасъ вышелъ изъ саней и, сговорясь съ д'Аршіакомъ, отправился съ нимъ отыскивать удобное для дуэли мѣсто. Они нашли такое саженяхъ въ полуторастахъ отъ комендантской дачи: болѣе крупный и густой кустарникъ окружалъ здѣсь площадку и могъ скрывать отъ глазъ оставленныхъ на дорогѣ извозчиковъ то, что̀ на ней

происходило. Избравъ это мѣсто, они утоптали ногами снѣгъ на томъ пространствѣ, которое нужно было для поединка, и потомъ позвали противниковъ.

Несмотря на ясную погоду, дулъ довольно сильный вѣтеръ. Мороза было градусовъ пятнадцать. Закутанный въ медвѣжью шубу, Пушкинъ молчалъ, повидимому, былъ столько же покоенъ, какъ и во все время пути, но въ немъ выражалось сильное нетерпѣніе приступить скорѣе къ дѣлу. Когда Данзасъ спросилъ его, находитъ ли онъ удобнымъ выбранное имъ мѣсто, Пушкинъ отвѣчалъ:

„Ça m'est fort égal, seulement tachez de faire tout cela plus vite“ (мнѣ совершенно все равно, только постарайтесь сдѣлать все это поскорѣе).

Отмѣривъ шаги, секунданты отмѣтили барьеръ своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этихъ приготовленій нетерпѣніе Пушкина обнаружилось словами къ своему секунданту: „Et bien! est-ce fini?“ (кончено ли?). Все было кончено. Противниковъ поставили, подали имъ пистолеты и по сигналу, который сдѣлалъ Данзасъ, махнувъ шляпой, они начали сходиться. Пушкинъ первый подошелъ къ барьеру и, остановясь, началъ наводить пистолетъ. Но въ это время Дантесъ, не дойдя до барьера одного шага, выстрѣлилъ и Пушкинъ, падая на шинель Данзаса, сказалъ: „Je crois que j'ai la cuisse fracassée“ (кажется, что у меня раздроблено бедро). Секунданты бросились къ нему, и когда Дантесъ намѣревался

сдѣлать то же, Пушкинъ удержалъ его словами: „Attendez! je me sens assez de force pour tirer mon coup“ (стойте, у меня еще есть силы для выстрѣла). Дантесъ остановился у барьера и ждалъ, прикрывъ грудь правою рукою. При паденіи Пушкина пистолетъ его попалъ въ снѣгъ, и потому Данзасъ подалъ ему другой. Приподнявшись нѣсколько и опершись на лѣвую руку, Пушкинъ выстрѣлилъ. Дантесъ упалъ. На вопросъ Пушкина у Дантеса, куда онъ раненъ, тотъ отвѣчалъ: „je crois que j'ai la balle dans la poitrine“ (кажется, у меня пуля въ груди). „Браво!“— вскрикнулъ Пушкинъ и бросилъ пистолетъ въ сторону.

Но Дантесъ ошибся; онъ стоялъ бокомъ и пуля, только контузивъ ему грудь, попала въ руку. Пушкинъ былъ раненъ въ правую сторону живота; пуля, раздробивъ кость верхней части ноги, у соединенія съ тазомъ, глубоко вошла въ животъ и тамъ остановилась. Данзасъ съ д'Аршіакомъ подозвали извозчиковъ и съ помощью ихъ разобрали находившійся тамъ изъ тонкихъ жердей заборъ, который мѣшалъ санямъ подъѣхать къ тому мѣсту, гдѣ лежалъ раненый Пушкинъ. Общими силами уложивъ его бережно въ сани, Данзасъ приказалъ извозчику ѣхать шагомъ, а самъ пошелъ пѣшкомъ подлѣ саней, вмѣстѣ съ д'Аршіакомъ. Раненый Дантесъ ѣхалъ въ своихъ саняхъ за ними. У комендантской дачи они нашли карету, присланную на всякій случай барономъ Гекереномъ. Дантесъ и д'Аршіакъ предложили Данзасу отвезти въ ней въ городъ раненаго поэта. Не ска-

завъ, что карета была барона Гекерена, Данзасъ посадилъ въ нее Пушкина и, сѣвъ съ нимъ рядомъ, поѣхалъ въ городъ. Во время дороги Пушкинъ держался довольно твердо, но, чувствуя по временамъ сильную боль, онъ началъ подозрѣвать опасность своей раны... Онъ въ особенности безпокоился о томъ, чтобы по пріѣздѣ домой не испугать жены, и давалъ наставленіе Данзасу, какъ поступить, чтобы этого не случилось.

Пушкинъ жилъ на Мойкѣ въ нижнемъ этажѣ дома Волконскаго [1]). У подъѣзда Пушкинъ просилъ Данзаса выйти впередъ, послать людей вынести его изъ кареты и, если жена его дома, то предупредить ее и сказать, что рана не опасна... Данзасъ сказалъ ей, сколько могъ спокойнѣе, что мужъ ея стрѣлялся съ Дантесомъ, что хотя раненъ, но очень легко. Она бросилась въ переднюю, куда въ это время люди вносили Пушкина на рукахъ. Увидя жену, Пушкинъ началъ ее успокоивать, говоря, что рана его вовсе не опасна, и попросилъ уйти, прибавивъ, что какъ только его уложатъ въ постель, онъ сейчасъ позоветъ ее. Она видимо была поражена и удалилась какъ-то безсознательно. Данзасъ отправился за докторомъ...

Пріѣхалъ Арндтъ (лейбъ-медикъ)... Пушкинъ просилъ его сказать ему откровенно, въ какомъ

---

[1]) Теперь на этомъ домѣ надпись: «здѣсь скончался Пушкинъ».

онъ его находитъ положеніи и прибавилъ, что какой бы отвѣтъ ни былъ, онъ его испугать не можетъ, но что ему необходимо знать навѣрное свое положеніе, чтобы успѣть сдѣлать нѣкоторыя нужныя распоряженія. „Если такъ,—отвѣчалъ ему Арндтъ, — то я долженъ вамъ сказать, что рана ваша очень опасна и что къ выздоровленію вашему я почти не имѣю надежды".

Пушкинъ благодарилъ Арндта за откровенность и просилъ только не говорить женѣ. Прощаясь, Арндтъ объявилъ Пушкину, что, по обязанности своей, онъ доложитъ обо всемъ государю; Пушкинъ ничего не возразилъ противъ этого, но поручилъ только Арндту просить отъ его имени государя не преслѣдовать его секунданта... По отъѣздѣ доктора Пушкинъ послалъ за священникомъ, исповѣдовался и пріобщился.

Въ это время одинъ за другимъ начали съѣзжаться къ Пушкину друзья его... Спустя часа два Арндтъ снова пріѣхалъ и привезъ отъ государя собственноручную записку карандашемъ слѣдующаго содержанія: „Любезный другъ, Александръ Сергѣевичъ, если не суждено намъ видѣться на этомъ свѣтѣ, прими мой послѣдній совѣтъ: старайся умереть христіаниномъ. О женѣ и дѣтяхъ не безпокойся: я беру ихъ на свое попеченіе". Арндтъ объявилъ Пушкину, что государь приказалъ ему узнать, есть ли у него долги, что онъ всѣ ихъ желаетъ заплатить...

Передъ вечеромъ Пушкинъ подозвалъ Данзаса,

просилъ его записывать и продиктовалъ ему всѣ свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемныхъ писемъ. Потомъ онъ снялъ съ руки кольцо и отдалъ Данзасу, прося принять его на память. При этомъ онъ сказалъ Данзасу, что не хочетъ, чтобъ кто-нибудь мстилъ за него, и что желаетъ умереть христіаниномъ.

Вечеромъ ему сдѣлалось хуже. Въ продолженіе ночи страданія его до того усилились, что онъ рѣшился застрѣлиться. Позвавъ человѣка, онъ велѣлъ подать ему одинъ изъ ящиковъ съ письменнаго стола. Человѣкъ исполнилъ его волю, но, вспомнивъ, что въ этомъ ящикѣ были пистолеты, предупредилъ Данзаса. Данзасъ подошелъ къ Пушкину и взялъ у него пистолеты, которые тотъ уже спряталъ подъ одѣяло. Отдавая ихъ, онъ признался, что хотѣлъ застрѣлиться, потому что страданія его были невыносимы.

По утру на другой день Пушкинъ пожелалъ видѣть жену, дѣтей и свояченицу, Александру Николаевну Гончарову, чтобы съ ними проститься...

Во все время болѣзни передняя постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми. Вопросы — что Пушкинъ? легче ли ему? поправится ли онъ? есть ли надежда? сыпались со всѣхъ сторонъ. Государь, наслѣдникъ, великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровьѣ Пушкина. У подъѣзда была давка. Онъ впускалъ къ себѣ только самыхъ короткихъ своихъ знакомыхъ, хотя всѣми интересовался; безпрестанно спрашивалъ, кто былъ у него въ домѣ, и гово-

рилъ: „мнѣ было бы пріятно видѣть ихъ всѣхъ, но у меня нѣтъ силы говорить съ ними“. Узнавъ о пріѣздѣ Екатерины Андреевны Карамзиной, вдовы историка, онъ пожелалъ съ нею проститься и, посылая за ней Данзаса, сказалъ: „я хочу, чтобъ она меня благословила“.

Къ полудню ему сдѣлалось легче; онъ нѣсколько развеселился и былъ въ духѣ. Около часу пріѣхалъ докторъ Даль (извѣстный казакъ Луганскій). Пушкинъ просилъ его войти и, встрѣчая, сказалъ: „мнѣ пріятно васъ видѣть не только какъ врача, но и какъ родного мнѣ человѣка, по общему нашему литературному ремеслу“. Онъ разговаривалъ съ Далемъ и шутилъ.

Доктора нашли полезнымъ поставить ему піявки. Пушкинъ самъ помогалъ ихъ ставить; смотрѣлъ, какъ онѣ принимались и приговаривалъ: „вотъ это хорошо, это прекрасно“. Черезъ нѣсколько минутъ потомъ, глубоко вздохнувъ, онъ сказалъ: „какъ жаль, что нѣтъ теперь здѣсь ни Пущина, ни Малиновскаго (лицейскихъ друзей): мнѣ бы легче было умирать“.

Весь слѣдующій день Пушкинъ былъ довольно покоенъ; онъ часто призывалъ къ себѣ жену, но разговаривать много не могъ: ему это было трудно. Онъ говорилъ, что чувствуетъ, какъ слабѣетъ. Ночью, обращаясь къ Далю, онъ жаловался на тоску и слабость и говорилъ: „скоро ли это кончится?“ По утру 29-го января онъ нѣсколько разъ призывалъ жену. Потомъ пожелалъ видѣть Жу-

ковскаго и говорилъ съ нимъ довольно долго наединѣ [1]).

Собравшіеся въ это утро доктора нашли Пушкина уже въ совершенно безнадежномъ положеніи, а пріѣхавшій затѣмъ Арндтъ объявилъ, что ему осталось жить не болѣе двухъ часовъ. Подъѣздъ съ утра былъ атакованъ публикой до такой степени, что Данзасъ долженъ былъ обратиться въ Преображенскій полкъ съ просьбою поставить у крыльца часовыхъ, чтобы возстановить какой-нибудь порядокъ.

Между тѣмъ Пушкинъ видимо слабѣлъ съ каждымъ мгновеніемъ. До послѣдняго вздоха онъ былъ въ совершенной памяти. Передъ самой смертью ему захотѣлось моченой морошки. Данзасъ сейчасъ же послалъ за нею и, когда принесли, Пушкинъ пожелалъ, чтобы жена покормила его изъ своихъ рукъ, ѣлъ морошку съ наслажденіемъ и послѣ каждой ложки, подаваемой женою, говорилъ: „ахъ, какъ это хорошо!“

Когда этотъ болѣзненный припадокъ аппетита

[1]) Въ своей запискѣ «Послѣднія минуты Пушкина» Жуковскій записалъ: «Я подошелъ, взялъ его похолодѣвшую руку, поцѣловалъ ее; сказать ему ничего я не могъ; онъ махнулъ рукою, я отошелъ. Но онъ опять подозвалъ меня: «скажи Государю,—промолвилъ онъ,—что мнѣ жаль умереть: былъ бы весь его; скажи, что я ему желаю долгаго, долгаго царствованія, что я ему желаю счастія въ его сынѣ, счастія въ его Россіи».—Эти слова говорилъ онъ слабо, отрывисто, но явственно.

былъ удовлетворенъ, жена умирающаго вышла изъ кабинета. Въ ея отсутствіе началась агонія; она была почти мгновенна: потухающимъ взоромъ обвелъ умирающій поэтъ шкафы своей библіотеки, чуть внятно прошепталъ „прощайте, прощайте“ и тихо уснулъ навсегда [1]).

Въ дополненіе къ этимъ подробностямъ указываемъ на извѣстное письмо Жуковскаго къ отцу Пушкина, писанное 15-го февраля 1837 г.

Молва объ умирающемъ и затѣмъ умершемъ Пушкинѣ быстро разнеслась по городу. Все грамотное, все учащееся населеніе заговорило и заволновалось, не скрывая негодованія противъ иностранца, поднявшаго руку на русскаго народнаго поэта. Бенкендорфъ увидѣлъ, что мыслящая и чувствующая сила въ русскомъ человѣкѣ еще не совсѣмъ подавлена, о чемъ онъ такъ прилежно старался въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ. Повсюду были разосланы шпіоны, которые тотчасъ же сочинили громадный заговоръ. Увѣряли, говоритъ князь Вяземскій [2]), будто въ толпѣ, приходившей поклониться тѣлу покойнаго поэта, разглашались намѣренія, противныя общественному порядку, будто въ день похоронъ предполагалось надѣлать шуму, устроить тріумфальное шествіе, кидать камни въ домъ барона Гекерена. Возникли

---

[1]) Послѣдніе дни жизни и кончина Пушкина. Изд. Исакова 1863 г.

[2]) «Русскій Архивъ» 1878 г. № 3. Письмо кн. Вяземскаго къ велик. князю Михаилу Павловичу. 1837 г.

ребяческія и неблагородныя обвиненія, имѣвшія цѣлью исказить и опозорить изъявленіе возвышенныхъ чувствованій. Прикинулись, будто вѣрятъ слуху о томъ, что нѣкоторые друзья Пушкина намѣревались воспользоваться его кончиною для произведенія какого-то заговорческаго дѣйствія и, по своей наклонности къ смутѣ, хотѣли устроить что-то въ родѣ похоронъ генерала Ламарка [1]). Говорили, что по случаю кончины Пушкина имѣлось въ виду возбудить народныя страсти, устроить ему нѣчто въ родѣ политической апотеозы, и съ этою цѣлью придать похоронамъ чрезвычайную пышность. Говорили, что въ лицѣ Пушкина оплакивается не поэтъ и не другъ, а человѣкъ политическій, либералъ, глава оппозиціи, какъ Бенкендорфъ всегда смотрѣлъ на Пушкина. Его друзьямъ приписывались отзывы, враждебные, возмутительные. Даже въ обыкновенныхъ похоронныхъ распоряженіяхъ видѣли особенныя цѣли. Похороны принялъ на себя графъ Григорій Александровичъ Строгановъ въ качествѣ родственника Пушкиной, и очень естественно, что не могъ допустить иначе, какъ пышныхъ похоронъ. Мѣстомъ для отпѣванія была назначена Исаакіевская церковь по той простой причинѣ, что Пушкинъ жилъ въ этомъ приходѣ; но и тутъ нашли поводъ къ какимъ-то подозрѣніямъ. Приглашенный на отпѣваніе митро-

[1]) Генералъ первой французской революціи умершій въ 1832 г.; его похороны послужили поводомъ къ политической смутѣ и уличнымъ безпорядкамъ въ Парижѣ.

политъ отказался. Пушкинъ положенъ въ гробъ во фракѣ, а не въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ, котораго онъ не любилъ. И въ этомъ хотѣли видѣть выраженіе какой-то задней мысли — политической и мятежной. Понятно, какую дѣятельность долженъ былъ выказать Бенкендорфъ съ помощниками, слушая полицейскія сочиненія или самъ дѣлая выводы изъ донесеній шпіоновъ. Тотчасъ же были приняты мѣры, чтобы оградить спокойствіе столицы. Вмѣсто Исаакіевской церкви была назначена Конюшенная. Перенесеніе тѣла было совершено ночью. Домъ покойника наполнила военная сила; на улицѣ разставлены солдатскіе пикеты. Всѣ близкіе къ покойному поэту были глубоко оскорблены подобными дѣйствіями сильнаго человѣка, который не могъ понимать, кого лишилась Россія, и который скорѣе былъ радъ, что избавился отъ хлопотъ въ надзорѣ за либераломъ. Говорятъ, что онъ даже зналъ о предстоящей дуэли и послалъ жандармовъ предупредить ее, но только не на Черную рѣчку, а въ Екатерингофъ, будто бы по ошибкѣ. Но эти разсказы требуютъ подтвержденія. Огромная толпа, собравшаяся утромъ 31 января на площади передъ Конюшенной церковью, не знала, конечно, о полицейскихъ мѣрахъ и опасеніяхъ, выражала глубокую скорбь и оставалась спокойною, безъ всякихъ порывовъ къ безпорядкамъ. Вѣроятно, это было приписано дѣятельности и бдительности полиціи, а, можетъ быть, иные ея агенты получили даже на-

грады [1]). Но никакая полиція не могла задержать плачевной молвы, которая быстро разнеслась по всей Россіи и горько отозвалась въ сердцахъ русскихъ людей. Ненавистники и зложелатели поэта тайно радовались несчастью русской земли, не воображая, что̀ изъ этого несчастія выростетъ для нихъ въ потомствѣ. Молодое поколѣніе назвало Пушкина народнымъ поэтомъ, потому что сознало въ его поэзіи тѣ высокія идеальныя стремленія, которыя онъ соединилъ съ русскою жизнью.

Народамъ милъ и дорогъ тотъ,
Кто спать ихъ мысли не даетъ.

И зато ненавистенъ тотъ, кто давитъ и мертвитъ эту мысль. Много еще лѣтъ произведенія Пушкина были запретными въ русской шко̀лѣ. Преподаватели, позволявшіе себѣ читать своимъ ученикамъ стихи Пушкина, рисковали прослыть опасными либералами и, слѣдовательно, неблагонадежными людьми. Но, несмотря на все это, юное поколѣніе воспиталось на произведеніяхъ Пушкина и доказало воспитательное его значеніе. Пушкинъ наконецъ былъ завоеванъ для школы.

---

[1]) Тѣло Пушкина было вывезено изъ Петербурга также ночью для погребенія въ Святогорскомъ монастырѣ, близъ села Михайловскаго. Его сопровождалъ А. И. Тургеневъ, тотъ самый, который привезъ его, еще ребенка, изъ Москвы въ лицей.

Въ заключеніе остановимся на предсмертныхъ словахъ Пушкина, сказанныхъ Жуковскому, въ порывѣ благодарности за милости, обѣщанныя государемъ его семейству: „Скажи государю, что мнѣ жаль умереть; былъ бы весь его“. Здѣсь невольно приходитъ вопросъ: какимъ бы образомъ Пушкинъ, какъ поэтъ, а не какъ придворный чиновникъ, могъ исполнить это обѣщаніе при тѣхъ стѣснительныхъ условіяхъ, въ которыхъ приходилось ему жить и работать? Что могъ еще сдѣлать геній-поэтъ подъ надзоромъ подозрительной полиціи? Для дѣятельности генія время было самое неблагопріятное, когда государственная жизнь выражалась только въ полицейской силѣ, которая со своими догматами господствовала надъ обществомъ и государствомъ. Мы уже видѣли, какъ было стѣснено творчество поэта, видѣли, какъ нѣсколько лѣтъ онъ задыхался въ той атмосферѣ, какъ желалъ вырваться изъ нея на волю; но слышалъ только несправедливые упреки въ неблагодарности, которые на него, какъ на честнаго человѣка, дѣйствовали сокрушительно, слышалъ угрозы отъ такой власти, которая въ самомъ дѣлѣ могла ихъ исполнить. Онъ не могъ выполнить своего пламеннаго желанія, не рѣшившись на разрывъ съ тѣмъ лицомъ, кто по его взгляду имѣлъ право на его благодарность. А сдѣлать это, кромѣ страха, ему не позволяла совѣсть. Онъ былъ опутанъ многими сѣтями. Намъ кажется, что въ будущемъ поэту не оставалось поприща для его вдохновенныхъ трудовъ. Стремясь вырваться изъ своихъ

сѣтей, онъ все равно нашелъ бы себѣ гибель. Не могъ пѣть соловей въ когтяхъ у кошки [1]).

[1]) При назначеніи суда надъ Гекереномъ императоръ Николай Павловичъ приказалъ, чтобъ судъ представилъ заключеніе и о томъ, какому наказанію подлежалъ бы камеръ-юнкеръ Пушкинъ, если бы остался живъ... Оба подсудимые были приговорены къ смертной казни, но нѣкоторые судьи-генералы предлагали различныя формы замѣны и смягченія этого наказанія. На основаніи ст. 139-й воинскихъ артикуловъ 1716 г. слѣдовало живыхъ просто повѣсить, а убитыхъ и по смерти за ноги повѣсить. По высочайшей конфирмаціи 18 марта Дантесъ-Гекеренъ былъ разжалованъ въ рядовые и высланъ за границу. (См. «Русск. Стар.» 1880 г. Октябрь, статья В. В. Никольскаго).

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00039865164